## АКАДЕМИЯ НАУК СССР отделение литературы и языка

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

журнал основан в январе 1952 года

выходит 6 раз в год

4 ИЮЛЬ — АВ**ГУСТ** 

## Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

## Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

БАНЕР В. (ФРГ)
БЕРНШТЕЙН С. Б.
БИРНБАУМ Х. (США)
БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ВАРДУЛЬ И. Ф.
ВАХЕК Й. (ЧСФР)
ВИНТЕР В. (ФРГ)
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
ДРЕССЛЕР В. (АВСТРИЯ)
ДУРИДАНОВ И. (БОЛГАРИЯ)
ЗИНДЕР Л. Р.
ИВИЧ П. (СФРЮ)
КЁРНЕР К. (Канада)
КОМРИ Б. (США)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)
ЈІЕМАН У. (США)

**АБАЕВ В. И.** 

МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
МАРТИНЕ А. (Франция)
МЕЛЬНИЧУК А. С.
НЕРОЗНАК В. П.
ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
ПОЛОМЕ Э. (США)
РАСТОРГУЕВА В. С.
РОБИНС Р. (ВЕЛНКОБРИТАНИЯ)
СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
УОТКИНС К. (США)
ФИШЬЯК Я. (ПОЛЬША)
ХАТТОРИ СИРО (ЯПОНИЯ)
ХЕМП Э. (США)
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМАЛЬСТИГ В. (США)
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЯРЦЕВА В. Н.

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**АЛПАТОВ В. М.** АПРЕСЯН Ю. Д. БАСКАКОВ А. Н. БОНДАРКО А. В. ВАРБОТ Ж. Ж. ВИНОГРАДОВА В. А. ГАДЖИЕВА Н. З. ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г. ГАК В. Г. дыбо в. а. ЖУРАВЛЕВ **В. К.** ЗАЛИЗНЯК А. А. ЗЕМСКАЯ Е. А. ИРАНОВ ВЯЧ. ВС. КАРАУЛОВ Ю. Н. КИБРИК А. Е. КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)

мажюлис в. п.

кодзасов с. в. ЛЕОНТЬЕВ А. А. маковский м. м. недялков в. п. николаева т. м. откупшиков ю. в. СОБОЛЕВА И. В. (зам. отв. секретаря) солнцев в. м. СТАРОСТИН С. А. ТОПОРОВ В. Н. УСПЕНСКИЙ Б. А. ХЕЛИМСКИЙ Е. А. храковский в. с. шарбатов г. ш. ШВЕЙЦЕР А. Д. широков о. с. ШЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского явы

## СОДЕРЖАНИЕ

Леман В. П. (Остин). Новое в недоевропенстических исследованиях Швейцер А. Д. (Москва). Проблемы комтрастивной стилистики (К сопоставительному анализу функциональных стилей)	5 31
Мельчук И. (Момреаль). Еще раз к вопросу об эргативной комструкции Гам к рел и дзе Т. В. (Тоилиси). К проблеме историко-этимологического	46
осмысления этношнини древней Колхиды	89
ретическая программа, исследовательские принципы, рабочие приемы	96
из истории науки	
Ж уравлев В. К. (Москва). Теория языковой эволюции Е. Д. Поливанова Поливанов Е. Д. Краткая фонетика японского языка. Выпуск I. Зву-	112
ковой состав япоиского языка	125
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Рецензии	
III мальстит В.Р. (Пенсильвания). Michelini G. Linguistica stratificazionale e morfologia del verbo: con applicazione alle lingue baltiche	138° 141 146° 152°
научна <b>я ж</b> изнь	
Хрожикальные заметки	155

#### CONTENTS

1 % N.A. 1 (1 % A 1 (3 (2) ) . . .

Lehmann W. P. (Austin). The current thrust of Indo-European studies; S veicer A. D. (Moscow). Problems of contrastive stylistics (Contribution to the comparative analysis of functional styles); Mel'čuk I.A. (Montreal). Once more on the problem of the ergative construction; G a m k r e l i d z e T. V. (Tbilisi). Historical and etymological investigation of ethnonymics of the ancient Colchis: X rak o vskij V. S., Ogloblin A. K. (Leningrad). Theoretical program, research principles and working methods of the Scientific Group for the study of language typology (Leningrad Branch of the Institute of linguistics of the Academy of Sciences of the USSR); From the history of linguistics: Zuravlev V. K. (Moscow). E. D. Polivanov's theory of language evolution; Polivanov E.D. A short phonetics of the Japanese language. Part I. The sound structure of the Japanese language; Reviews: S c h m a l s t i e g W. R. (Pennsylvania). Michelini G. Linguistica stratificazionale e morfologia del verbo: con applicazione alle lingue baltiche: Nasilov D. M. (Leningrad). Doerfer G. Grammatik des Chaladsch; Testelec Ya. G. (Moscow). Typology of resultative constructions; Vladimirova L. A. (Moscow). Agren 1. Paraenesis of Ephraim the Syrian. On the history of Slavonic translation; Scientific life.

#### ЛЕМАН В. П.

## новое в индоевропеистических исследованиях•

### 1. Текущие задачи.

Цель индоевропеистических исследований на современном этапе заключается в установлении основных характеристик тех человеческих сообществ, которые являлись носителями праиндоевропейского языка, а также в описании диалектных групп этого языка на этапе их ранней истории, равно как и их культур. Именно такая постановка вопроса находит поддержку в названии важного труда Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [1]. В отличие от своих знаменитых предшественников К. Бругмана [2] и Г. Хирта [3] авторы не включили в название своей книги слова «грамматика». Кроме того, и в более поздних работах, например, в книге Дж. Мэллори [4], основное внимание уделяется именно носителям языка, их обществу и культуре. Действительно, наблюдается столь резкое изменение акцента в направлении исследований, что язык оказался в некотором забвении. Дж. Мэллори и К. Ренфрю [5] избегают использовать диакритику, столь важную для описания многих языков (например, санскрита), на том основании, что это может доставить неудобство читателям. Кроме того, подобно многим археологам, они ограничивают свои лингвистические выводы, если не считать некоторых фонологических выкладок, исключительно лексическими свидетельствами. игнорируя важные факты морфологии и синтаксиса (а при этом исключаются те лексические данные, которые не являются очевилными). Повидимому, настало время исследовать праиндоевропейский язык в тесной связи с сообществом его носителей, подобно тому, как это делается в отношении языков, засвидетельствованных письменными памятниками (санскрит, гомеровский греческий и латинский).

Мы вовсе не призываем вернуться к практике ранних грамматик с их почти полной концентрацией на языке. Пожалуй, ближе всего к целям современных исследований стоит «Введение» А. Мейе, в котором настойчиво проводится мысль, что язык существует только благодаря использованию его определенной социальной группой [6, с. 18]. И тем не менее, большая часть книги Мейе посвящена структуре языка; информация о народах и их культуре содержится лишь в небольшой главе, где рассматривается скорее лексикон, а не общество и его культура [6, с. 378—417]. Гамкрелидзе и Иванов более всех близки к осуществлению современных целей компаративистики, поскольку почти половина их труда посвящена анализу словаря и тем выводам, которые, исходя из такого анализа, можно сделать в отношении ранних культур [1, с. 457—855]. Но даже и здесь рассмотрение связи общества и культуры дается во второй части работы, в результате чего создается впечатление, что в дополнение к фо-

<sup>• ©</sup> Lehmann W.P. The current thrust of Indo-European studies // General linguis-ics. 1990. V. 30. № 1.

нологии, морфологии и синтаксису специального анализа и объяснения требует и лексикон, сохраняющий сведения о культуре прошлого. Все это означает, что будущие стандартные руководства должны описывать прежде всего человеческие сообщества и их культуру, включая в систему анализа и языки.

Поскольку мы принимаем положение Мейе, согласно которому язык существует только благодаря его использованию определенным сообществом и сами человеческие сообщества не могут существовать без данного языка, можно утверждать, что те грамматики индоевропейского или любого иного праязыка, которые ограничены исключительно описанием языков, содержат всего лишь часть информации, необходимой для понимания этих языков [6, с. 18]. Следуя афоризму Мейе («Я з ы к существует только благодаря о б щ е с т в у, а человеческое общество не смогло бы существовать без речи»), парафразированному выше, можно утверждать, что будущие грамматики должны основываться на описании языка в рамках культур его носителей.

Описание древних языков в контексте культуры их носителей не является чем-либо абсолютно новым; такой подход возвращает нас к практике исследования языка в широком гуманитарном плане, который ранее связывали с понятием филологии. Такой подход был вполне обычным до эпохи специализации и фрагментации науки, начавшейся в 1870 г. Как показал К. Р. Янковский, основоположник младограмматизма Г. Курциус полагал, что «задача филологии ... состоит в изучении того, что есть человек, на основе исследования того, чем он когда-то был». Следовавшая этой же цели «История немецкого языка» Я. Гримма может удивить современных читателей широтой охвата проблем — от обсужления социальных институтов (сельское хозяйство, обычаи, племенные группировки) и литературы носителей языка до анализа их языков. Не приходится сомневаться, что Гримм делал свои выводы главным образом на основе изучения древних языков, поскольку эти данные о народах носителях этих языков - обеспечивали его более живыми свидетельствами (ein lebendigeres Zeugnis), чем кости, оружие или могилы [7, с. 4]; из древних могил даже Гримм мог извлечь лишь слабый шепот (schallt uns nur leises Getöse) [7, c. 553].

С конца XIX в. группа энергичных ученых занялась исследованием этого «шепота», что дало возможность получить обширную и детальную информацию, на основании которой были сформулированы многие обобщения и выводы в отношении древних культур [8—10]. Эти палеонтологические публикации в то же время ясно продемонстрировали ограниченность имеющихся на тот период данных. Для того, чтобы заполнить пробелы, некоторые ученые стали предлагать объяснения, которые являлись плодом их собственного воображения или, что еще хуже, их идеологии. Надежность лингвистической палеонтологии в связи с этим сильно пошатнулась.

В последние годы прогресс в технике археологических исследований, а также новые открытия позволили получить гораздо более полную информацию, чем та, которая была доступна в XIX в.; результаты, достигнутые в палеонауках — ботанике, биологии, металлоанализе и т. д., хлынули столь обильным потоком, что его стало довольно трудно координировать. В результате «слабый шепот» времен Гримма превратился в громкий гомон. Объем информации настолько возрос, что специалисты в области палеонаук и палеотехнологии вполне могут заниматься своими исследованиями и публиковать их результаты, не уделяя должного вны-

мания языковым данным. Тем не менее, в духе сформулированной Курциусом задачи необходимо возобновить сотрудничество разных наук с тем, чтобы выработать реалистические представления как о языках<sub>в</sub>. так и о пользующихся ими народах, их культурах и достижениях.

К счастью, работе в данном направлении уже положено начало, например, на конференции в Пеннсильванском университете в 1966 г. [11], а также в исследованиях, проводимых членами Индоевропейского общества (Indogermanische Gesellschaft) [12]. Сейчас явно наступило время обстоятельным образом суммировать наши представления о древних изыках и адекватно представить их в контексте сообществ и культур, в которых они функционировали.

Наиболее существенным с этой точки зрения является определение локализации или, вернее, локализации праязыка и установление хроно-логических рамок последнего, поскольку предполагаемые районы таких локализаций во многом соотносимы с особенностями культуры общественной жизни древних носителей языка.

Традиционным термином, использующимся для обозначения любой из определяемых таким образом локализаций, является «прародина». (англ. «homeland» или просто «home») индоевропейцев. Большой интерес. вызываемый проблемой определения подобных прародин, становится: очевилным в свете появившегося в последнее время значительного числа публикаций археологов - достаточно назвать филадельфийскую конференцию 1966 г. и последующие публикации таких видных археологов. как И. М. Дьяконов, М. Гимбутас, Дж. Мэллори, К. Ренфрю, Г. Томас и др. Значительная часть данной работы, отражая существующую литературу, будет посвящена рассмотрению гипотез, затрагивающих проблемы локализации прародин; в необходимых случаях мы будем обращаться к лингвистическим свидетельствам; при этом лексическим данным будет уделяться минимум внимания, поскольку они являлись объектом довольно интенсивного обсуждения. Кроме того, учитывая, что археологи ограничивают свои рассуждения главным образом анализом лексики, обсуждению проблемы прародины мы предпосылаем краткое изложение выводов, вытекающих из изучения других областей структуры языка.

2. Прогресс в понимании языковых данных.

Помимо более полной информации о носителях языка, полученной благодаря исследованиям археологов и дополняющей сведения, содержащиеся в текстах и словаре, мы имеем сейчас и более широкое представление о структуре языка по сравнению с тем, которым располагали лингвисты прошлого столетия.

2.1. Определение характеристических типов языка. Изучение большого числа языков в содержательном аспекте позволило прийти к выводуе что тот или иной язык может быть структурирован в соответствии с одним из трех основных типов: аккузативным, эргативным и стативным (существует возможность выделения и более мелких подтинов).

Как указывали Гамкрелидзе и Иванов, аккузативный и эргативный являются разновидностями одного типа, противопоставленного стативному. Подобно, к примеру, английскому языку, аккузативные языки имеют характерную форму объекта непереходного глагола, типа him в She sees him «Она его видит»; они используют ту же форму в роли субъекта переходного и непереходного глаголов, как в англ. She goes «Она идет». Эргативные языки обладают лишь небольшими отличиями, выражаемыми в том, что они имеют иную форму для субъекта переходного гла-

гола, одновременно используя форму объекта также в качестве субъекта непереходного глагола; на эргативном языке можно сказать She sees him; Her goes. В отличие от языков аккузативного/эргативного типов стативные языки строятся главным образом на выделении понятий, выражающих состояние (ср., например, существительные, обозначающие покой или счастье, и глаголы, обозначающие существование или благосостояние); с другой стороны, в этих языках выделяются существительные, обозначающие различные виды деятельности (например, течение, копание и т. п.), и глаголы типа бежать или обсуждать, причем многие из выделяемых в этих языках глаголов являются волитивными. Эти типы — аккузативно-эргативный vs. активный — различаются прежде всего в способе выражения содержания, особенно средствами морфологии, хотя с ними тесно связаны и некоторые синтаксические и лексические особенности.

Заслуживает внимания и другая важная черта языковой структуры — связь элементов в конструкциях. Характерная маркировка взаимных отношений (например, глаголов с существительными или же генитива с существительными) является заданной, так что имеется возможность различать языки с маркировкой главного члена (например, семитские языки, ср. др.-евр. pənē hā ?āretz «поверхность земли» с модификацией pānim «лицо; поверхность») и языки с маркировькой с зависимого члена (например, индоевропейские языки, ср. англ. Jane's son, son of Jane «сын Джейн»). Эти два типа отношений частично взаимосвязаны; Дж. Николс [13] даже делает вывод, что стативные языки должны быть причислены к числу языков с маркировкой главного члена, поскольку в этих языках глаголы в качестве такого члена предложения обладают гораздо большей флектированностью, чем существительные. Симптоматичным также является отсутствие в стативных языках генитивов.

Другую существенную основу для классификации можно найти в синтаксисе, особенно в порядке основных составляющих предложения, или, если следовать широко употребительному термину, в аранжировке. Под аранжировкой понимается прежде всего место глагола и его объекта в предложении; так, английский является языком с порядком «глаголобъект» (VO), тогда как в японском представлен порядок «объект-глагол» (OV). Например, япон. Hanako ga Saburoo o mimasu cooтветствует англ. Hanako sees Saburoo «Ханако видит Сабуроо». И здесь мы встречаемся с корреляциями, обусловленными упомянутыми выше различиями, хотя наибольший интереспредставляют те из них, которые обнаруживаются во внутрисинтаксических моделях управления и модификации, а также в способах аффиксации флексий. В качестве примера управления можно указать на то, что языки с порядком VO используют предлоги, тогда как OV-языки имеют послелоги; модификацию иллюстрирует следующий пример: в языках с порядком OV относительные конструкции предшествуют главным членам, но в языках с порядком VO следуют за ними. В языках с порядкам VSO флексия в большой мере носит префигированный характер. тогда как в языках с порядком OV — суффигированный. С точки эрения аранжировки эргативные языки являются типичными представителями языков с порядком OV.

Информация по всем трем указанным выше основаниям, используемым для типологической классификации, в последнее время в значительной степени расширена, в частности, благодаря работам Г. А. Климова [14, 15].

2.2. Выводы, основанные на исследовании специфических типов. Сведения о подобных системных моделях особенно полезны тогла, когда корпус данных о том или ином языке ограничен. Если в этом корпусе имеются примеры таких специфических конструкций, как компаративы неравенства, то мы можем высказывать предположения относительно других характеристик, таких, например, как использование префиксов или суффиксов в словоизменении или локализация «прилогов» (adpositions), либо позиция именных модификаторов, таких, как относительные конструкции. Сходным образом, если мы обнаружим именную фразу, в которой маркированным является главный член, то следует ожидать, что выявятся и такие характеристики, как бедность именных флексий по сравнению с богатством глагольных. И если мы определим характерные черты стативных языков, такие, как, например, различные флексии активных и стативных глаголов, то мы можем, исходя из этого, сделать ряд выводов, в частности, что в стативных языках глагол в значении «иметь» отсутствует. Таким образом, открывается возможность высказывать предположения относительно структуры данного языка, исходя из известных нам отдельных его характеристик.

Мы выдвигаем такие гипотезы на основе положения, согласно которому каждый язык функционирует в рамках какой-либо социальной группы, сохраняющей известную когерентность своей структуры в целях свободного общения между отдельными членами этой группы: речь идет о большой социальной группе для мировых языков современности и относительно малых группах, нередко насчитывающих несколько тысяч или даже менее носителей для языков прошлого. Каким бы ни было число носителей языка, ни один язык не является абсолютно гомогенным или статичным. Каждый язык, несомненно, имеет постоянное (хотя и незначительно изменяющееся) общее ядро, которое обеспечивает всем членам данной социальной группы возможность общения. Однако более мелкие единицы этой социальной группы, такие, как семья или отдельная личность, обладают особенными, характерными только для них чертами. Эти особенные характеристики, обусловленные либо профессией, либо принадлежностью к тому или иному социальному слою, либо же полом, возрастом индивидуумов, их личностными особенностями или какиминибудь иными социально обусловленными чертами, приводят к тому, чте в результате любой язык находится в динамическом, а не в статическом состоянии; не является язык и системой, полностью укладывающейся в рамки какого-либо одного структурного типа. Изучая отклонения от стандарта, - они могут касаться активного строя, маркировки главного члена, структур OV или же альтернирующих форм — мы можем высказывать предположения об особенностях процесса развития данного языка.

В этой связи полезно напомнить, что в лингвистике такая процедура всегда являлась одной из наиболее продуктивных и результагивных. Так, исследования Я. Гриммом стандартной структуры германской консонантной системы выявили в ней некогорые отклонения. Эти отклонения были предметом изучения в течение следующей половины прошлого столетия. Разрешение этого вопроса такими лингвистами, как фон Раумер, Грассман и Вернер, превратило лингвистику в точную дисциплину или науку в европейском понимании этого термина (с критическим обзором этого периода можно ознакомиться в издании английских переводов соответствующих работ [16]). Данный результат не является чем-либо примечательным, поскольку он всего-навсего констатирует силу научного метода. С помощью этого метода формулируются обобщения, в которых

могут не учитываться некоторые выпадающие из общей системы факты. Тщательное изучение таких фактов приводит, в полном соответствии с целями научного поиска, к более точным формулировкам и выводам.

При всем различии объектов изучения процедуры гуманитарного исследования являются более сложными в сравнении с процедурами исследования физических явлений. И все же эти процедуры сопоставимы. Законы выводятся из наблюдения над относительно очевидными фактами. Создавая таблицу элементов, сгруппированных на основе своих атомных весов, химики не стремились сразу полностью осмыслить редкоземельные вещества, а также такие элементы, как водород и кислород; только по истечении определенного периода времени они открыли изотопы подобных элементов, что привело не к отказу от всей таблицы, а лишь к ее расширению. Многие же лингвисты, как это ни странно, напротив, стремятся объять все языковые явления путем построения структурной схемы или таблицы, игнорируя тот очевидный факт, что эти явления неизмеримо более сложны, чем те, которые исследует физическая наука. В результате такие лингвисты ограничивают себя тривиальными комментариями относительно той или иной проблемы. И тем не менее, если мы будем предъявлять к процедурам, с помощью которых изучаются языковые явления, такие же строгие требования, которые присущи физике, исследующей физические явления (следуя в этом за Гриммом и многими его верными последователями), мы можем с полным основанием формулировать определенные обобщения; впоследствии эти обобщения и выводы, по мере накопления дополнительных данных, будут при необходимости уточняться. Эпоха веры в идеальный язык, в идеального носителя или идеальное сообщество носителей языка отошла в прошлое.

Подобно тому, как обобщения в области естественных наук основывались на базе определенной системы данных, обобщения в области лингвистики могут быть выведены посредством изучения системных явлений, присущих тем или иным языкам. Исходя из этого, можно ожидать обнаружения системных языковых явлений, характерных для соответствующих социальных группировок. Примечательным примером подобного соотношения может явиться общество, объединяемое использованием японского языка, либо общество носителей арабского языка времен Магомета. Противоположные примеры можно найти в обществах, пользующихся немецким или русским языком. В соответствии с этим мы можем использовать языки типа японского или классического арабского для построения нашей «таблицы лингвистических элементов», сблизив, таким образом, одну из лингвистических процедур со столь фундаментальной и плодотворной процедурой в химии.

Применяя подобные процедуры исследования, мы соотносим полученные таким образом результаты со вновь получаемой информацией относительно древних обществ. Такая информация, полученная частично благодаря археологическим исследованиям, свидетельствует о том, что социальные группы, существовавшие за тысячелетия до нашей эры, вовсе не были замкнуты или изолированы от внешнего мира. Находки останков корабля в Уле Бурун свидетельствуют о контактах между «семью цивилизациями эпохи поздней бронзы» [17]. Связанные с прибрежной торговлей купцы, как и моряки, не могли избежать контактов с подобными цивилизациями или влияния с их стороны. Даже древние евреи, с их строгими социальными канонами, как зафиксировано в их преданиях, допускали браки вне своего сообщества, обеспечивая тем самым возможность внешних культурных и языковых влияний. На основе подобных примеров

можно сделать вывод, что и в прошлом, и в настоящем языки функционировали в условиях, способствовавших появлению в них изменений, приводящих к возникновению нерегулярностей. Однако в небольшом сообществе языковые черты, независимо от присущей им стабильности или изменчивости, имеют тенденцию к параллелизму и к сохранению своего специфического типа.

2.3. Выводы, основанные на результатах ареальных исследований. Информация, полученная с помощью ареальной лингвистики, вполне применима и в области исследования моделей языков прошлого. Надежные процедуры выработаны в ареальной лингвистике сравнительно недавно: вначале они были продемонстрированы К. Сандфельдом для языков, распространенных на территории Балкан [18], а затем детально разработаны такими учеными, как М. Эмено [19] и др. Как показал Сандфельд, лингвистические черты могут пересекать языковые границы, распространяться по языкам различных подгрупп и даже различных семей, как это видно на примере сербскохорватского, греческого и албанского на Балканах и соседнего с ними турецкого языка. Способы передачи языковых черт сопоставили с изучаемыми в этнологии процессами расселения народов. В результате действия различных социальных факторов территориально соседние группы языков «заимствуют» определенные языковые черты, если пользоваться термином, который ранее применялся в лингвистике при изучении диффузии материальных единиц языков. Несмотря на то, что первоначально основное внимание уделялось диффузии лексических единиц, Сандфельд показал, что она распространяется также и на синтаксические, морфологические и фонологические характеристики.

Выявляя общие черты в более поздних языках, мы используем их для получения информации и об ареальных группировках в доисторические периоды. К примеру, Дж. Николс отметила, что языки Ближнего Востока обладают категорией грамматического рода и что эта черта, повидимому, распространилась путем диффузии из доминантного центра. Другим примером служат числовые классификаторы в языках Дальнего Востока; из доступных нам текстов становится совершенно ясно, что японский язык усвоил применение системы классификаторов из соседних языков, возможно, из китайского.

Тем не менее отличить лингвистические черты, исконно присущие данному языку, от тех, что были усвоены из других языков, бывает порой довольно сложно. Классическим примером может служить случай, когда Мейе и его ученик Бенвенист разошлись во мнениях относительно появления сложных времен в языках Северной Европы. Мейе приписывал возникновение сложных времен в германском влиянию романских языков, в конечном счете латинского. Бенвенист же, напротив, полагал в данном случае независимое развитие на собственной почве [20, с. 178—179]. Хотя факты, на мой взгляд, свидетельствуют в пользу Бенвениста, сама возможность такого резкого расхождения во мнениях между двумя выдающимися лингвистами иллюстрирует те трудности, которые могут возникнуть при изучении эволюции языковых элементов, независимо от того, происходит ли она в настоящем, недавнем прошлом или же в отдаленном прошлом.

Характерно, что вопрос о внешних влияниях ныне становится весьма актуальным при интерпретации этнографических черт, связанных с распространением индоевропейских языков. Ренфрю, поддерживаемый Дьяконовым и другими учеными, настаивает на том, что появление новшеств

в сельском хозяйстве связано с диффузией, которую он ассоциирует с распространением индоевропейских языков. В отличие от высказываемых рядом ученых мнений о широкомасштабном передвижении он предполагает «волны продвижений» как в отношении культурных достижений, так и языков. Гимбутас и другие ученые, напротив, объясняют появление новых культурных и этнографических характеристик, присущих Европе в период с V тыс. и позже, массовыми перемещениями народов. Согласно Гимбутас и ее сторонникам, эти характеристики, равно как и языки, были привнесены в результате нашествия народов, говорящих на индоевропейских языках.

В качестве другого примера различной интерпретации языковых данных можно указать на то, что Дьяконов усматривает в изоморфизме структуры корня и словообразования в пракартвельском и предындоевропейском факт их внутреннего развития, заключая, что эти два праязыка родственны между собой [21, с. 32], тогда как Гамкрелидзе и Иванов объясняют это диффузией.

Таким образом, увеличение знаний о результатах ареальных взаимодействий расширило наши представления о возможных источниках инноваций и появлении общих языковых черт; это привело как к признанию возможности вариантной интерпретации, так и к большей осторожности при выдвижении тех или иных объяснений. Ранее наличие в языке тех или иных специфических черт обычно объяснялось как результат генетического наследования из более раннего состояния. Поэтому может возникнуть необходимость реинтерпретации некоторых прежних формулировок; что же касается различных новых мнений, предлагаемых для объяснения тех или иных явлений, то они должны быть оценены с точки эрения силы их аргументации.

2.4. Опора на сравнительный метод и на метод внутренней реконструкции ври историческом исследовании языка. Несмотря на то, что мы столь подробно остановились на оценке накопленной в нынешнем столетии обширной информации, которая была получена на основе типологии и лингвистической географии, центральными в исторической лингвистике попрежнему остаются два метода, разработанные и неоднократно проверенные в XIX в., а именно, сравнительный метод (СМ) и метод внутренней реконструкции (ВР). Каждый из этих методов был установлен путем наблюдения за основными процессами, протекающими в языке: СМ основывается на открытии, что независимое изменение может иметь место в независимых диалектах; например, срединное -s- не было утрачено в латинском, подобно тому, как это произошло в греческом: ср. греч. géneos при лат. generis. BP основывается на подобном же факте: независимое изменение может иметь место в независимых морфологических единицах с элементом -e/os- в различных фонологических окружениях. Например, финальный -s в неизменном виде сохранился в номинативе/ аккузативе в латинском genus, тогда как в срединной позиции в генитиве произошел переход -s- в -r- (ср. выше). Каждый из этих методов был неоднократно проверен, в результате чего был сделан вывод о его полной достоверности. Представляется совершенно излишним приводить примеры споров относительно достоинств указанных методов (ср., например, возражения Мейе [22] и Хёнигсвальда [23]). Проблемы или ошибки, возникающие при применении данных методов, проистекают только от неправильного их использования. Лингвисты (например, Шмидт [24] и Гамкрелидзе) затратили немало усилий для того, чтобы доказать, что типология пригодна только для проверки выводов, сделанных на основе этих методов.

В этом плане Дьяконов и другие ученые указывали, что эти методы слепует применять с осторожностью. Наиболее серьезные проблемы в этой связи коренятся либо в имеющейся в распоряжении ученых неадекватной информации, либо же в избыточном доверии к методике при отсутствии скрупулезного изучения имеющихся данных. Так, например. Дьяконов цитирует название моря в латинском (mare), немецком (Meer) и славянском (more) для того, чтобы показать, что эти слова, принадлежащие территориально близким диалектам, не дают достаточных оснований для реконструкции их предындоевропейского этимона [25, с. 80]. Верно излагая эту проблему в своей превосходной рецензии работы Ренфрю [25, с. 79-81], он привлекает указанные обозначения моря в качестве иллюстрации подстерегающей исследователя опасности, поэтически названной им «сиреной фонетического сходства» (die Sirene des Gleichklangs). Тем не менее, и сам он стал жертвой этой опасности, не заметив замечательного анализа Шарфе слов, обозначающих царя в индоевропейских языках [26].

Убедительная статья Г. Шарфе исключительно важна как в качестве иллюстрации необходимости скрупулезного изучения фактов, так и с точки зрения высказываемых в ней предположений, относящихся к социальной структуре индоевропейского общества. В связи с этим мы несколько подробнее остановимся на ней. Рассмотрев соответствующие места в «Ригведе», автор заключает, что «ведическое  $r\hat{a}j$ - ...царь" является словом-призраком» [26, с. 546]. Из приводимых далее отрывков из «Ригведы» становится ясным, что вед.  $r\hat{a}j$ - является существительным женского рода со значением «сила, мощь». Такой вывод вызывает необходимость объяснения использования данного слова в значении «царь». Шарфе трактует его в качестве обратного образования (back-formation) из сложлых слов типа скр. eka-rall «правящий епинолично — единственный правитель» и галльского (Ver)-cingeto-rix, предположительно «верховный-воином-правящий /над/ = главный правитель над воинами». Короче говоря, в индоевропейском отсутствовало слово в значении «царь»; отсутствуют также и какие-либо свидетельства в пользу реконструкции индоевропейского этимона для подобного социального ранга. Используя убедительные археологические данные, Р. М. Роулетт в своей актуальной статье приписывает соответствующему рангу именно значение «вождь племени» [27].

Не продолжая далее цитирования лексических данных, я вкратце отмечу примеры, иллюстрирующие опасность встречи с роковой «сиреной» на других языковых уровнях. Среди морфологических категорий встречается довольно много случаев тематических форм, которые следует рассматривать с известной осторожностью, поскольку на первый взгляд они представляют собой ситуации, когда необходимо применение СМ (ср. существительные, обсуждавшиеся Бругманом [2, с. 153 и сл.], или глаголы типа скр. védmi, церк.-слав. vemi, литов. véizdmi « \*veidmi «я знаю»). На основе других форм, производных от этого корня, выводов, вытекающих из изучения текстов и из значений других форм указанного корня, обычно заключают, что эти примеры представляют собой дериваты, которые были оформлены в отдельных диалектах благодаря чрезвычайно продуктивной тематической флексии. Такие формы, подобно многим другим тематическим существительным и глаголам, соответственно признаются в качестве индоевропейского наследия.

Не меньшая тщательность необходима и при исследовании деривации. Так, для праиндоевропейского состояния обычно реконструируется компаративный суф. -tero-. Однако основания для такой его реконструкцив можно обнаружить лишь в греческом и индоиранском, причем даже в этих диалектах трактовка этого суффикса неоднозначна [2, с. 654—656]. Данные анатолийских языков, а также необходимость соотнесения этих данных с ситуацией в других индоевропейских диалектах, использующих иные суффиксы, напротив, свидетельствуют, что для праиндоевропейского уровня не следует восстанавливать морфологическое выражение компаратива. Этот вывод согласуется с тем, что нам известно о выражении компаративных отношений в ОV-языках.

Часто встречается «сирена» и на уровне словосочетания: ученые, которые отрицают возможность реконструкции моделей предложения, тем не менее настаивают на возможности установления устойчивых словосочетаний. Наиболее известным примером является оборот неувядаемая слава, который приводит Кун во втором томе основанного им журнала [28, с. 467]. Этому словосочетанию уделили внимание многие индоевропенсты (ср. особенно [29]). Цитируя встречающееся в Ригведе [29, с. 1] ákşiti śrávah resp. śrávo ... ákşitam н греч. (гомер.) kléos áphthiton, Р. Шмитт тем не менее вслед за другими учеными реконструирует и.-е.  $*k'l\acute{e}ues$ -\*ndhg"hito-[29, с. 66]. Однако хорошо известно, что прилагательные на о-основу, как и существительные на ту же основу, являются поздними по происхождению: лишь впоследствии они широко распространились в индоевропейских диалектах. Как свидетельствуют цитируемые Шмиттом формы прилагательных на о-основу, в Ригведе не встречается словосочетаний с тематическим прилагательным в позиции после существительного, за исключением конструкций с предикативным прилагательным. Кроме того, в языках с порядком OV описательные прилагательные чаще предшествуют существительным, а не следуют за ними. Короче говоря, постулируемые Шмиттом и другими учеными фразеологизмы реконструируются без учета необходимых морфологических и синтаксических фактов. Наконец, вызывает сомнение и обоснованность привлечения при реконструкции праиндоевропейских форм данных эпической поэзии, представленных в поздно зафиксированных диалектах, например, относящихся к VIII в. Благодаря прогрессу в области лингвистических исследований за последние полвека мы все больше приходим к осознанию факта значительного влияния на греческий средиземноморской литературной традиции, не в последней степени на его эпическую поэзию. Поскольку, как полагает О. Семереньи, и индийский не избежал семитского влияния, то можно утверждать, что влияние может испытывать и устная поэтическая традиция. А поэтическая отрывки, реконструированные Уоткинсом, как бы они ни были эффектны, не выходят за пределы средиземноморской традиции [30]. Если все же восстанавливать для праиндоевропейского реконструированное Куном словосочетание, то оно не должно содержать о-основу и прилагательное в нем не должно следовать за существительдым.

В заключение необходимо сказать, что формы, устанавливаемые в результате научного исследования, как посредством синхронного (дескриптивного), так и исторического (диахронического) метода, являются по существу абстракциями. Приводя формулы, ученые в таких традиционных областях науки, как химия, не иллюстрируют их тут же примерами, скажем, колбой с окисью углерода для иллюстрации вещества, представленного формулой СО. В более молодой науке, лингвистике, обычно счи-

тается необходимым приводить такие иллюстрации для лучшего понимания излагаемого; ср., однако, убеждение В. Дресслера в необходимости реконструкции языка в смысле langue [31, с. 5—6]. Более всего удивляет неодинаковый у различных ученых диапазон ограничений рамок исследования, что демонстрирует и приведенное выше обсуждение фразеологических оборотов. Некоторые считают фонологические формулы странными, котя и принимают основные принципы их построения [32]. Другие возражают против грамматических (особенно — синтаксических) формул. А нежоторые, как, например, нынешние члены Берлинской школы, говорят, что только «твердая почва» является основным условием построения языжовых формул. Вряд ли необходимо указывать, что подобные произвольвые самоограничения сужают выводы ученого.

2.5. Методы, основанные на описанных выше уточнениях. Как отмечено выше, лингвистика, подобно любой другой науке — естественной или гуманитарной, — вырабатывает те или иные обобщения. После того, как накоплено достаточное число подобных обобщений, предлагаются определенные модели и теории. В этом отношении поучителен процесс развития лингвистики в первой половине XIX в. Во втором издании своего посвященного фонологии тома германской грамматики Я. Гримм, впохновленный илеями Р. Раска, выдвинул положения, касающиеся соотношения между шумными в германском и, с другой стороны, в греческом, латинском и санскрите, прослеживая также историю развития шумных в древневерхненемецком. Эти положения Гримм назвал правилами. Затем он разработал модель, описывающую соотношения шумных в германских языках, используя абстрактные символы М. А. Т для обозначения трех серий шумных. Согласно этой схеме, соотношения шумных внутри германского и впоследствии внутри древневерхненемецкого являлись результатом определенных звуковых изменений.

Модель Гримма подверглась дальнейшему уточнению, в частности, в работах фон Раумера, Лоттнера, Грассмана и Вернера. После этого лингвисты выдвинули теорию передвижения согласных, разработав одновременно с этим общие принципы звуковых изменений в языке. Данная модель, как и выдвинутые теории и принципы, подверглись дальнейшим уточнениям в результате отбраковки некоторых неверных представлений. К примеру, звуковые изменения в настоящее время более точно определяются в качестве фонологических изменений. Тем не менее ранняя формулировка правила, широко известного как закон Гримма, концентрирует в себе большую часть информации и является удобной для простого и ясного изложения соответствующего явления, особенно для неспециа-

листов.

Какой бы ни была нынешняя интерпретация индоевропейских шумных и их эволюции в различных диалектах, работы Гримма привели к скрупулезному исследованию фонологического компонента языка. Следствием этого явилась разработка фонологической модели, принимаемой ныне всеми лингвистами; модель эта классифицирует фонологические единицы посредством артикуляторных либо акустических критериев. В наше время работа лингвиста была бы в значительной мере затруднена, если бы ему пришлось иметь дело с изложением фонологической системы, построенным в соответствии с порядком латинского алфавита.

Лингвистические модели были разработаны как для фонологии, так и для морфологии, что оправдывается длительной традицией западных грамматик. Однако синтаксические модели рядовым лингвистом воспринимаются с трудом; к сожалению, Присциан счел удобным лишь бегло

коснуться синтаксиса, посвятив ему только две из восемнадцати книг. Несмотря на нынешний интерес к синтаксису этот компонент языковой структуры все еще считается многими лингвистами неясным.

Пругие ученые, представляющие преобладающую концепцию в лингвистической науке последнего времени, повторили процедуры XIX в., относящиеся к фонологии, и разработали четкую систему правил, сгруппированных в исрархические ряды, получившие, в частности, такие обозначения, как «глубинная структура», «трансформационный компонент» и т. д. Разочарование в подобной модели не помешало ее сторонникам предложить еще более сложный ряд компонентов, оправдываемый ничем не подкрепленными психологическими выкладками. Такие разработки могли быть до некоторой степени полезны с точки зрения совершенство вания исследовательских процедур. Однако применение их по отношению к хорошо описанным языкам сводилось главным образом к переформулировкам известных данных в соответствии с моделями, искусственно изобретенными их создателями. До тех пор пока не будет осуществлено глубокое изучение имеющихся данных, указанный процесс будет способствовать скорее формированию моделей, а не познанию языка. Характерно, что выдающиеся авторитеты в области лингвистики отвергают новомодные модели, предпочитая им традиционные процедуры [33]. Еще более примечательно то, что лингвистический анализ, произведенный на компьютерах, подтверждает эффективность традиционных процедур, разработанных такими лингвистами, как О. Есперсен или Дж. Харрис. С точки зрения современной сравнительной лингвистики подобные тщательно выверенные методы должны быть дополнены результатами, достигнутыми ареальными и типологическими исследованиями, что особенно эффективно при изучении целой языковой семьи типа индоевропейской.

Как индоевропеисты, так и специалисты в области других языковых семей при реконструкции того или иного праязыка должны стремиться ж учету данных максимально широкого круга языков, как современных, так и засвидетельствованных лишь в памятниках письменности и ставших доступными благодаря точному и тщательному анализу. Кроме того, как отмечено выше, надежное лингвистическое исследование должно основываться на выводах, полученных в результате изучения либо всей языковой системы, либо же отдельных ее компонентов (например, фонологического). Такой подход требует постоянной проверки правильности получаемых результатов, какими бы примечательными они ни являлись. В области индоевропейской фонологии такие обобщения привели к созданию глоттальной теории, которая стала предметом широкой дискуссии. В области синтаксиса это привело к предположению, согласно которому на раннем этапе своего развития предындоевропейский являлся языком активной типологии. Несмотря на то, что обе гипотезы выдвинуты относительно недавно, они основываются на подходе, сопоставимом с ситуацией, возникшей в индоевропеистике в прошлом столетии, когда Бругман установил наличие слоговых и неслоговых сонантов, а Зиверс выявил морфофонемную вариацию между их вокалическими и консонантными формами. Оба предположения впоследствии были приняты большинством лингвистов; однако не менее важно то, что они проложили путь к более верному представлению о праязыке и его соотношению с диалектами. Можно ожидать сходных результатов и от обсуждаемых ныне гипотез, о чем будет сказано ниже после обсуждения различных взглядов на культуру и первоначальное местопребывание индоевропейцев.

## 3. Применение результатов лингвистических открытий.

Не следует, по-видимому, особо подчеркивать тот факт, что единственным надежным свидетельством о культуре дописьменного народа является его язык. Любое руководство, посвященное такому народу, содержит сходные утверждения, как и афоризмы типа «камни не говорят». Однако порой и солидные руководства не учитывают этого обстоятельства. Так, например, С. Пигготт в своем весьма популярном пособии, посвященном колесному транспорту [34], нигде не ссылается на важные последствия усвоения колеса индоевропейским обществом, о чем писал Ф. Шпехт еще сорок лет назад [35]. Более того, когда Пигготт все же привлекает языковые данные [34, с. 230, 231], он рассматривает лишь лексические элементы и соответствующие реалии, которые, как хорошо известно, легко изменяются с течением времени.

Лексические данные, несомненно, являются важными. Однако с точки зрения хронологической информации более важными, чем сами слова. могут оказаться формальные модели слов. Так, индоевропеистам уже давно известно, что тематическая флексия появилась в индоевропейском относительно поздно. Атематическое склонение и спряжение более архаичны, чем получившие впоследствии большее распространение e/o-основы, а также (в существительных) а-основы. Изучая термины, обозначающие колесный транспорт, Шпехт сделал важное наблюдение, что все они обладают тематической флексией. У нас нет никакого способа для установления абсолютных дат, характеризующих подобные инновации в древнем языке, — ничего, что могло бы сравниться даже с радиокарбонным методом хронологизации, надежность результатов которого, кстати, первоначально значительно переоценивалась. Однако мы все же имеем возможность относительной датировки и можем соотносить предполагаемые временные этапы с данными, которые сами могут быть датированными.

Основой для выводов лингвистического порядка могут стать не только этапы развития флексии. Средством проникновения в культуру прошлого с не меньшим успехом служат конкурирующие лексические единицы, заимствуемые из одного языка в другой. В качестве простого примера приведем факт использования Полибием (ок. 150 г. до н. э.) греческого термина sunorides «колесница» < «пара лошадей, запряженных в двуколку» вместо его латинского эквивалента biga, засвидетельствованного только у Помпония [34, с. 230]. Это наводит на мысль о том, что кельтская технология колесницы была основана скорее на греческой традиции. чем на римской; такое предположение подкрепляется фактом заимствования в латинский кельтских терминов для обозначения транспорта. Подтверждает это и то, что указанные «заимствования в латинском ... часто двусмысленны, неопределенны и противоречивы» [34, с. 230]. Однако, как свидетельствует неоднозначная интерпретация археологических данных, с подобными проблемами приходится встречаться и археологам. Стремясь получить более ясное представление о доисторических культурах, включая и индоевропейскую, нам неизбежно приходится использовать выводы, добытые специалистами разных областей, с тем чтобы соотнести их результаты между собой. Игнорирование подобных выводов, даже если это объясняется невозможностью уследить за огромным потоком публикаций, весьма нежелательно.

Помимо традиционного использования данных фонологии, морфологии и лексики, в настоящее время наблюдается все более адекватное понимание важности синтаксиса и типологии, благодаря чему и эти области

языкознания могут быть использованы для выработки тех или иных теорий или гипотез. Для краткости я просто сошлюсь на получающее все большее признание мнение, согласно которому праиндоевропейский являлся OV-языком, причем на раннем этапе своей истории предындоевропейский являлся языком активного, а не аккузативного или эргативного строя [1].

Все эти данные, полученные в соответствии с исследовательскими процедурами, отшлифованными на практике в течение почти двух столетий, способствуют определению древней локализации носителей праиндоевропейского языка, равно как и выработке представлений относительно их культуры.

4. Древние локализации носителей пранидоевропейского языка.

Ученые уже давно высказывали предположения относительно древней локализации носителей индоевропейских языков и даже предполагаемого их предка. Для обозначения такой локализации во многих работах используется термин «прародина». В XIX в. предположения о прародине индоевропейцев основывались почти исключительно на лингвистических данных, поскольку в то время археология едва ли отличалась от кладоискательства.

Согласно традиционной процедуре, ученые брали какую-либо лексему, вроде древних обозначений бука или лосося, и идентифицировали с сегодняшними их соответствиями; сходным образом они локализовали и местонахождение соответствующих реалий, опять-таки, не сомневаясь в том, что оно может быть сопоставимо с современным ареалом их распространения. Как хорошо известно, благодаря подобной методике лексема бук и родственные ей корни в других индоевропейских языках связывались с деревом «бук». Ареал распространения этого вида дерева не простирается восточнее границы, тянущейся от Балтики до Крыма; «прародина» в соответствии с этим локализовывалась к западу от указанной разграничительной линии, а также в Северной Европе, несмотря на то, что ученым известно о наличии греческого соответствия этому корню — phāgós «дуб». Различие в семантике разъяснялось сохранением носителями греческого языка при передвижении их на новое место жительства старого термина, аналогично тому, как английское слово robin «красногрудка» было перенесено в Новый Свет для обозначения птицы, совершенно отличной от той, которая обозначается этим словом в Британии.

Сходные выводы делались и в отношении лосося (нем. Lachs, англ. диал. lax), в XIX в. известного только в Северной Европе. Благодаря подобной аргументации было высказано положение о североевропейской прародине, которое нашло особую поддержку в среде националистических групп, ассоциировавших язык с расовой и национальной принадлежностью. Ряд руководств, особенно старых, а также популярные статьи по-прежнему придерживаются указанных положений, усматривая прародину индоев-

ропейцев в Северной Европе (см., к примеру [36]).

С течением времени археология превратилась в точную дисциплину, что дало возможность получить ценную информацию о ранних культурах; объем такой информации неуклонно возрастает. Так, Диболд в своей фундаментальной монографии прояснил ситуацию относительно распространения лосося в древности [37]. Археологические данные свидетельствуют о том, что в древности Европа служила средоточием большого числа разнообразных культур; примеры см. в кратком обзоре Томаса [38]. Все эти культуры являлись дописьменными. Следовательно, единственным надежным способом идентификации ранних групп носителей индоевропей-

ских языков по-прежнему остается язык. Процедуры, используемые для соотнесения результатов изучения лексического фонда определенных сообществ с археологическими выводами, вытекающими из исследования материальных характеристик отдельных культур, в настоящее время, в отличие от науки XIX в., имеют под собой более прочную почву. Тем не менее, пока мы не в состоянии однозначно установить локализацию прародины индоевропейцев на основе информации, которую можно получить в результате археологических исследований или языковых данных.

Для периода конца V—III тыс. до н. э. были предложены три различные локализации прародины: область к северу от Черного и Каспийского морей, Малая Азия, Карпатский район Балкан. Ниже мы их вкратце

фбсудим, приведя аргументацию некоторых из сторонников.

4.1.1. Аргументация в пользу прародины в области к северу от Черного и Каспийского морей. Главным сторонником идеи о первоначальном пребывании индоевропейцев в «лесостепном регионе от средней Волги до Южного Урала» является М. Гимбутас. В солидной серии публикаций, многие из которых основываются на ее собственных археологических изысжаниях, Гимбутас относит пребывание индоевропейцев в данной области к V, а возможно, и к VII тыс. до н. э. Одними из отличительных признаков их культуры являются могильные холмы (курганы), воздвигавшиеся над погребениями героев. Обсуждая культуру праиндоевропейцев, Гимбутас использует именно этот термин, так что лингвистическое обозначение «индоевропейский» эквивалентно у нее археологическому понятию «курганная культура» (обстоятельное обсуждение гипотезы Гимбутас и реакция на нее содержатся в работе Д. Энтони [39]; там же см. комментарии других авторов).

Нет никакого сомнения в том, что члены общества, локализованного в указанной области, погребали воинов под холмами. Более того, тексты древних индоевропейских народов сохраняют свидетельства такого вида погребения. Так, например, «Илиада» завершается сценой строительства кургана для захоронения троянского героя Гектора. В заключительных строках «Беовульфа» содержится упоминание о таком же памятнике для героя этой поэмы. Наблюдается, таким образом, непосредственная связь между археологическими свидетельствами подобного вида погребения в указанной области и текстовыми данными, сохранившимися в основных письменных документах индоевропейцев.

Помимо этого, Гимбутас продемонстрировала хронологическую преемственность культуры курганных погребений в указанных ранних областях расселения индоевропейцев с более поздними их поселениями, например, в Северной Европе и Италии [40]. Пребывание индоевропейцев в этих регионах датируется на основе метода калибровки колец деревьев по радиоактивному углю. Поступает все больше археологических свидетельств относительно первоначального местопребывания индоевропейцев. Эти доказательства, позволяющие проникать в глубь истории вплоть до VII тыс. до н. э., в значительной мере поддерживают теорию Гимбутас и ее сторонников [41].

Данная локализация является идеальной с точки эрения возможности усвоения трех важных достижений в области материальной культуры, которые характеризовали ранние индоевропейские племена и обеспечивали им гегемонию в новых расселениях: речь идет прежде всего о лошади, а кроме того, о бронзе, служившей для изготовления прочных орудий войны и труда, и, наконец, о передвижениях с помощью усовершенствованных колесниц.

Согласно данной теории, ранние индоевропейцы являлись земледельцами и содержали большие стада крупного рогатого скота на степных просторах южной России. Их образ жизни скорее всего весьма напоминал образ жизни описанных Геродотом (Кн. 4) более поздних обитателей этой же области — скифов. Независимо от того, когда и как индоевропейны обрели свое могущество, это должно было произойти там, где они могли познакомиться с недавно одомашненной лошадью. Подобно индейцам прерий американского Среднего Запада в XVII в., эти племена благодаря ставшим доступными им новым средствам передвижения в значительной мере повысили свою мобильность по сравнению с соседними народами; стержнем их культуры стало использование лошали, обеспечившее им поминирующее/ положение на общирных просторах Европы и Азии. Значение лошади явно просматривается в таких текстах, как, например, Книга Иова (39:20 и сл.). а также в греческих мифах о кентаврах. Более ранние тексты, в том числе и Книга Бытия (12, 16 и сл.), содержащая информацию об имуществе Авраама, убеждают нас в том, что народы Средиземноморья не обладали лошадью. Исходя из имеющихся в настоящее время данных можно сделать вывод, что лошаль была первоначально одомашнена в степях южной России. в V тыс. до н. э., и отсюда распространилась по остальным регионам.

Предлагаемая локализация прародины хорошо согласуется со вторым важным элементом, обеспечившим последующее могущество индоевропейских народов, — доступность металлов, заменивших старый материал — камень. Факты свидетельствуют о том, что древнейший металл, имевший технологическое и военное значение — бронза — производился на Кавказе, т. е. в области, расположенной к югу от предполагаемой прародины. Получаемый отсюда металл, использовавшийся для изготовления вооружения и орудий труда, включая детали транспортных средств. давал тем, кто ими пользовался, огромные преимущества. История Давида, победившего Голиафа (в первой книге Самуила, 17), которая возвеличивала статус нарождавшейся нации, является ярким свидетельством важности нового материала; будущий вождь нации для того чтобы одолеть героя, терроризировавшего его скудно оснащенную армию, использует примитивную пращу, а затем убивает Голиафа его же собственным мечом. Сходные мотивы, хотя и не столь ярко выраженные, можно обнаружить в гомеровских поэмах, а также в соответствующих археологических материалах. Из наличия в индоевропейском лишь одного обозначения металла, англ. ore «руда», следует, что индоевропейские народы довольно поздно получили доступ к этому материалу — какой-то разновидности бронзы, заменившей менее прочную медь. Из текстов видно, что они использовали новый металл весьма эффективно.

Третьим основным компонентом, обеспечившим успех экспансии индоевропейцев, являлось колесо, первоначально изобретенное, по-видимому, в Северной Месопотамии. Приспособленное к повозке, колесо значительно повысило мобильность народов, особенно кочевых. Создание бронзовых орудий и бронзовых частей усовершенствованных повозок привело к существенно большей мобильности в сравнении с предыдущими периодами, что отражено в хеттских текстах и чего нет в сообщениях Авраама.

У нас, конечно, отсутствуют текстовые подтверждения данного «сценария», в частности сведения о способе усвоения таких новшеств, как бронза и колесный транспорт. И все же процесс этот представляется вполне достоверным, если предположить, что скотоводы-кочевники продавали скот представителям более богатых областей, находившихся к югу от их местопребывания; в результате такого обмена они усваивали технологи-

ческие достижения.

Описанная выше картина не является прямым отображением взглядов Гимбутас; скорее это обзор того процесса, в результате которого индоевропейцы — носители курганной культуры, получив значительные премиущества благодаря усвоению заимствованной технологии, смогли распространиться из своей предполагаемой прародины.

4.1.2. Критика этой гипотезы. Гипотеза, предложенная Гимбутас, в течение нескольких десятилетий благожелательно воспринимаемая специалистами, в последнее время подвергается достаточно суровой критике. Основные аргументы оппонентов кратко излагаются ниже.

Разработав свою курганную гипотезу, Гимбутас предприняла попытку обрисовать древние европейские культуры до эпохи гегемонии индоевропейцев. Это были, по ее мнению, мирные сообщества, построенные на матрилинеальных принципах и обладавшие высоким уровнем цивилизации. Их религия требовала поклонения Великой Богине, что отражено в их искусстве. Гимбутас называет эту эпоху периодом Древней Европы, а ее обитателей — древними европейцами. Мирные аборигены были, как она полагает, покорены воинственными и обладавшими менее развитой культурой индоевропейцами, которые разрушили существовавшую дотоле более высокую цивилизацию, с тем чтобы в последующем создать Новую Европейскую цивилизацию, ставшую с тех пор доминирующей.

Недавние археологические раскопки в Советском Союзе и в Восточной Европе дают веские подтверждения в пользу данных предположений. Эти исследования, как отмечено выше, демонстрируют факт доместикации лошади именно в той географической области, которую Гимбутас предлагает считать прародиной индоевропейцев. О важности роли лошади в индоевропейском обществе, как с точки зрения религиозно-ритуальных, так и практических целей, известно уже давно. Помимо этого, имеются свидетельства в пользу распространения курганной культуры в Восточной Европе и за ее пределами. Представление о древних индоевропейцах как о динамично распространявшихся племенах, первоначальное местопребывание которых находилось в регионе между Средней Волгой и Уралом, кажется поэтому в высшей степени привлекательным.

Критически оценивая доказательства, приводимые в пользу этой гипотезы, некоторые ученые выдвигают иные точки зрения относительно затрагиваемых в ней проблем. В частности, выдвигается возражение относительно почти случайного характера усвоения средств, которые обеспечили успешную экспансию. Еще одна проблема состоит в явно невысоком уровне художественной культуры, локализовавшейся в предполагаемом месте прародины; сохранившиеся следы материальной культуры. в частности, керамика, довольно грубы и невыразительны. Поэтому появление группы племен, сумевшей обрести могущество несмотря на низкий уровень развития материальной культуры, представляется весьма примечательным. Можно тем не менее представить себе возможный «сценарий» подобного развития, если вспомнить неожиданное обретение доминирующего положения индейцами команче и сиу после того, как они стали пользоваться лошадью, хотя какие-либо конкретные свидетельства в пользу наличия такого же процесса у народов — носителей курганной культуры у нас отсутствуют. Сходные возражения можно, конечно, выдвинуть и в отношении двух других конкурирующих гипотез. Однако стало обычаем подвергать наибольшей критике самые привлекательные гипотезы.

Рассматриваемой гипотезе, возможно, несколько повредила и такая совершенно несущественная причина, как слишком идиллическое изображение М. Гимбутас образа жизни древних европейцев, которые, согласно ее гипотезе, вели беззаботное существование в течение столетий вплоть до вторжения народов — носителей курганной культуры. В издании 1974 г. под названием «Боги и богини Древней Европы» автор дает описание сложившейся в этом регионе цивилизации, уровень развития которой вряд ли может быть сравним с чем-либо, появившимся в более поздние эпохи, особенно в отношении изящества форм художественной и культурной жизни. Это великоление отражено в греческих легендах о жизни на Крите, где прекрасные девушки занимались танцами, а красивые юноши перепрыгивали через быков и принимали участие в праздничных процессиях, посвященных обильным урожаям винограда. Такая роскошная жизнь на Крите способствовала появлению у древних европейцев апатии, которая делала их беззащитными перед стремительным нашествием энергичных воинов с востока. Успех книги был настолько велик, что она была переиздана на этот раз под более подходящим названием «Богини и боги Древней Европы». Сказочная идиллия жизни древних европейцев, наличие у них даже зачатков письменности — все это представляется некоторым преувеличением. Это, однако, не имеет никакого отнощения к проблеме появления индоевропейцев, точно так же, как идеалистическое изображение Дж. Ф. Купером благородного Чингачгука не имеет никакого отношения к фактам, касающимся господства европейцев над могиканами и другими индейскими племенами в Аме-

Более существенные разногласия может вызывать поддерживаемая Гимбутас идея о распространении носителей индоевропейского языка в результате нескольких последовательных волн нашествий, а не путем постепенной диффузии их культур и языков. Подобные представления о переселениях народов были очень популярны в XIX в., что находило подтверждение главным образом в общирных экспансиях германских племен, имевших место начиная с І в. до н. э. Подобным же образом, согласно указанной модели, продвигались и последовательные волны греческих племен, заселявшие новые земли. Однако подобная точка зрения вызывала все больше возражений, поскольку от тех эпох до нашего времени дошло слишком мало археологических свидетельств. В настоящее время имеется тенденция объяснять последовательное выдвижение на передний план различных греческих племен скорее социальными и экономическими причинами, которые сейчас трудно определить. К примеру, прежние представления о так называемом нашествии дорийцев (около 1200 г. до н. э.) сейчас уступают место идее о выходе на сцену племен, стоявших на более низком уровне развития, но уже давно обитавших в данной области. Сходным образом представления археологов о массовых миграциях стали уступать место мнению о распространении культуры, особенно в ранние периоды. Дъяконов уподобляет распространение языков «эстафетной палочке при смене гоночных лошадей» [21, с. 67]. В подтверждение своей мысли он указывает на исследования генов определенных групп населения. Ср. также теоретические положения Томаса [42].

В подтверждение своей позиции Гимбутас приводит археологические свидетельства [43, 41], которые одни ученые поддерживают, а другие, напротив, оспаривают. Более того, она продолжает упорно отстаивать тезис о происхождении индоевропейцев из «лесостепного региона средней Волги — Южного Урала». Кстати, даже позиция Дьяконова допускает

возможность определенной инфильтрации мигрирующих племен — носителей нового языка. Во всяком случае пересмотр взглядов относительно причин выдвижения на передний план новых групп греческих племен находится в соответствии с гипотезой, согласно которой народы с менее развитой материальной культурой смогли занять в понтийском регионе доминирующее положение благодаря изменившимся социальным и культурным условиям.

Исходя из этого, можно предположить, что ранние носители индоевропейского языка первоначально могли быть локализованы в степных регионах, где в связи с улучшившимися условиями жизни они численно увеличивались, а затем распространили свое влияние и язык на понтийскую область; благодаря своему контролю над лошадью, бронзой и колесным транспортом они получили гегемонию над обширными регионами.

4.2.1. Малая Азия как прародина индоевропейцев: свидетельства в пользу гипотезы. Тогда как Гимбутас в основном опирается на археологические данные, Гамкрелидзе и Иванов основывают свою гипотезу прародины индоевропейцев в Малой Азии главным образом на свидетельствах языка. Во второй части своей работы они подробно анализируют общеиндоевропейский словарь, причем исследование лексем дает им возможность делать выводы относительно предполагаемой топографии древней прародины. Учитывая наличие в общем словаре многих слов для обозначения холма и горы, а также для деревьев, растущих в горных районах, они приходят к предположению, что прародина индоевропейцев располагалась в гористой местности.

Помимо этого, они выделяют слова, анализ которых дает возможность отвергнуть две другие локализации прародины индоевропейцев. Среди этих слов весьма примечательны лексемы  $q^h e/op^h$ - «обезьяна» и  $yeb^h$ - «слон».

Выводы Гамкрелидзе и Иванова в большей мере основываются также на изучении заимствований — с одной стороны, из прасемитского и, с другой, в пракартвельский. Они заключают, что изоморфизм индоевропейского и пракартвельского, особенно в области смычных, свидетельствует о длительном периоде соседства двух указанных групп. Кроме того, они выявляют заимствования из хаттского и хурритского. По важности эти данные они ставят в один ряд с наличием колесного транспорта и бронзы, что в совокупности явно указывает на локализацию прародины индоевропейцев к югу от Закавказья, в области Верхней Месопотамии. Признавая, что ни одна культура, засвидетельствованная археологами в этом районе, не может быть идентифицирована с индоевропейцами, они высказывают предположение, что с ними может быть связана халафская культура Северной Месопотамии.

Значительный интерес, по их мнению, представляют сходные черты между культурами Халафа и Чатал-Гююка, являющегося одним из древмейших очагов высокой земледельческой цивилизации в Малой Азии. Как полагают, наблюдается также определенное культурное сходство халафской культуры с южнокавказской культурой IV—V тыс. до н. э., экономика которой характеризовалась развитием пастушеско-земледельческого хозяйства и важной ролью крупного рогатого скота, но с преобладанием земледелия. С этой последней культурой они связывают Куроараксскую культуру III тыс. до н. э., охватывавшую области восточной Анатолии, Южного Кавказа и Иранского плато. Численно растущее население, создавшее указанные центры культуры, идентифицируется авторами с индоевропейцами; характеризующие индоевропейскую культуру курганные погребения и другие черты представляют собой свидетельства

экспансии индоевропейцев на их пути к местам, в которых они известны во II тыс. до н. э.

4.2.2. Проблемы, возникающие в связи с этой гипотезой. Одну из основных трудностей с точки эрения обоснования своего мнения о предполагаемой локализации прародины индоевропейцев авторы усматривают в отсутствии системы письменности. Хетты восприняли свою письменность от аккадцев, греки — от финикийцев, с последующей передачей ее — уже в гораздо более позднее время - армянам, албанцам, италийцам, кельтам, германцам, славянам и носителям балтийских языков. Если предполагаемой прародиной являлась Верхняя Месопотамия, то индоевропейцам должны были быть известны значимые объекты определенной формы, использовавшиеся в торговле с IX тыс. (tokens, по терминологии Шмандт-Бессерата), а также, несколько позже, символическая система шумеров и семитов. Гамкрелидзе и Иванов предположительно допускают, что развитая индоевропейская цивилизация все же обладала письменностью, известной впоследствии в виде лувийской иероглифики. В качестве подтверждения этой идеи они приводят аргументы, свидетельствующие, что некоторые хеттские тексты, по-видимому, представляют собой копии текстов, написанных посредством этой более ранней системы письменности. Однако довольно трудно поверить в то, что остались бы столь скудные свидетельства использования письменности, если бы индоевропейцы действительно жили в Верхней Месопотамии. Локализация в степях южной России или на Карпатах кажется более подходящей для объяснения факта отсутствия у этих народов письменности.

Кроме того, вызывает удивление и знакомство индоевропейцев с обезьяной и слоном. Термины для обозначения этих животных в индоевропейских диалектах слишком неоднозначны, чтобы проецировать их на праязыковой уровень. Специалист по Ближнему Востоку И. М. Дьяконов утверждает, что в тот период в Малой Азии обезьяны отсутствовали; он, кроме
того, отвергает многие из тех терминов, которые использовали Гамкрелидзе
и Иванов для доказательства идеи соседства индоевропейцев с носителями
других языков [21, с. 28—53]. Эти вопросы могут быть разрешены в результате дальнейших археологических изысканий, однако те данные,
которые имеются у нас сейчас, говорят в пользу позиции Дьяконова.

Вероятно, наиболее сильными аргументами в подтверждение гипотезы Гамкрелидзе и Иванова является сравнительно большое число заимствований. Если факт их наличия будет признан, то это может свидетельствовать о культурном превосходстве на тот период времени носителей прасемитского языка, что подтверждается и данными археологии. С другой стороны, мы знаем, что для заимствования необязательно соседство того или иного народа, особенно если это касается коммерческих и технических терминов. Так, японский язык, носители которого находятся в значительном удалении от стран с англоязычным населением, в течение нынешнего столетия усвоил множество английских терминов. Сходным же образом индоевропейские купцы могли усвоить термины для обозначения коровы, быка, ячменя, меда, топора и т. п. в ходе торговых операций. Этим же обстоятельствам может быть обязано наличие в индоевропейском случайных хурритских или иных терминов, проникших в него в результате торговых экспедиций. Однако Дьяконов подвергает сомнению заимствованный характер лексем, обычно считаемых таковыми.

Дьяконов указывает также на то, что восточная Анатолия вряд ли могла являться тем местом, где происходил интенсивный рост населения, что особенно относится к такому важному периоду, как V тыс. до н. э. Помимо

неблагоприятной топографии, он отмечает также отсутствие каких-либо лингвистических фактов в пользу гипотезы о некоем языковом субстрате. Хотя Дьяконов опубликовал свои критические статьи до появления книги Гамкрелидзе и Иванова, изложенные в этой книге данные не сняли высказанных им возражений. Как с точки зрения лингвистики, так и археологии эта гипотеза, таким образом, не получила пока окончательного подтверждения.

4.2.3. Юг Центрального плато. В качестве варианта гипотезы о малоазийской прародине Ренфрю высказал предположение, что она располагалась на юге Центрального плато. В этой области культура Чатал-Гююка создала уже в начале VII тыс. развитое земледельческое хозяйство. Считается общепризнанным, что переход от собирательского к производящему хозяйству в Европе был обусловлен диффузией из Ближнего Востока. Новым в гипотезе Ренфрю является то, что он приписывает эту диффузию индоевропейцам.

Однако технология может передаваться и без распространения ее каким-либо отдельным народом. Довольно странно, что Ренфрю, с одной стороны, решительно выступая против идеи массовых передвижений народов, выдвигаемой в качестве объяснения проникновения индоевропейцев в Европу, с другой стороны, увязывает осуществление значительного технологического прорыва с одним-единственным народом — индоевропейцами.

Позиция Ренфрю также подверглась резкой критике, особенно со стороны Гимбутас, на том основании, что он не учитывает исходные характеристики индоевропейской культуры и ее отличия от цивилизации, открытой в Чатал-Гююке.

Противоречия между этими двумя взглядами коренятся в неоднозначной интерпретации источников. Ренфрю прямо заявляет, что «слишком много доверия придавалось идее использования части реконструируемого индоевропейского словаря для идентификации прародины индоевропейцев». Он также критикует ученых, чрезмерно переоценивающих характеристики материальной культуры, которую они затем ассоциируют с носителями какого-либо отдельного языка. Его собственная гипотеза, как он полагает, разрешает эти проблемы.

Отдавая дань Ренфрю, поднимающему столь важные вопросы, мы в то же время вынуждены еще раз подчеркнуть, что при изучении доисторического народа единственным надежным способом идентификации является реконструированный язык, или, как утверждает сам Ренфрю, «нет никакой возможности заставить "звучать немые камни", если на них не нанесена какая-либо письменная информация» [5, с. 22]. Прочитав работу Томаса [42], нельзя не задаться вопросом: могут ли вообще камни дать чтолибо большее, чем стимулировать разработанные в тиши научных кабинетов гипотезы?

Анализ словаря дает возможность понять те или иные аспекты культуры (несмотря на сомнения Ренфрю). На основе наличия в словаре лексемы, обозначающей «лошадь», и отсутствия в нем слова для «гиппопотама» можно сделать выводы об условиях жизни того или иного народа. Можно высказать весьма важные суждения, обнаружив в каком-либо индоевропейском языке лексему типа «гиппопотам», поскольку в исконном словаре ранних индоевропейских языков не засвидетельствованы сложные слова типа «лошадь-речная» (в отличие от «речная лошадь») для обозначения какой-либо породы лошадей. И все же мы согласны с тем, что выводы, проистекающие из наличия или отсутствия в словаре той или иной лексе-

мы, необходимо использовать с известной осторожностью. Как отметил И. М. Дьяконов [21], в языке могут содержаться слова, обозначающие такие реалии, которые не встречаются в области проживания его носителей, что иллюстрируется примером из аккадского языка, в котором есть слово со значением «снег». На самом деле на своей родине греки не встречались с гиппопотамом, когда в их язык было введено это слово. Индоевропеисты, маученные опытом неудачного использования лексических единиц для построения научных гипотез, больше не делают попыток прямой увязки специфических реконструированных слов (типа «пчела», «лосось» или «бук») с тем или иным конкретным регионом. Имеется в настоящее время и понимание того, что реконструкция какого-либо технического термина не служит сама по себе подтверждением наличия обозначаемой им реалии в хозяйстве соответствующего периода в прошлом. Как показывает пример с названием «гиппопотама», необходим более тщательный анализ привлекаемых лексических единиц.

Реконструированная терминология, относящаяся ко многим сферам социальной жизни, свидетельствует об определенном культурном уровнепредков известных нам групп индоевропейцев, что видно, например, из словаря Бака [44]. Когда определенная культурная реалия вроде повозким или колесницы отражается в родственных словах группы или семьи языков, довольно трудно отрицать ее наличие и в более отдаленном прошлом носителей этих языков. По-видимому, имеются все основания полагать, что индоевропейское общество в период, предшествовавший разделению диалектов, находилось на уровне неолитической цивилизации. Такой вывод, тем не менее, нисколько не противоречит мнению об усвоении индоевропейцами сельскохозяйственных достижений, первоначально принадлежавших культуре региона Чатал-Гююка и других областей Ближнего Востока; легкое усвоение инноваций отражает характерную черту индоевропейских народов воспринимать прогрессивные достижения культуры и технологии других народов.

Однако такие существенные элементы индоевропейской культуры, как отсутствие женских божеств, является весьма сложным препятствием для любой гипотезы, предполагающей ближневосточную локализацию их прародины, поскольку для культур этого региона характерно поклонение одной или нескольким могущественным богиням. Короче говоря, гипотеза Ренфрю встречается со многими трудностями.

Среди подобных трудностей и проблема, связанная с передвижениями различных групп индоевропейцев [5, с. 75]. На этом вопросе подробно останавливается Мэллори; его объяснения более приемлемы, хотя в то же время выдвигаются новые гипотезы, не получающие подтверждения ввиду недостатка фактических данных [4]. Можно надеяться, что эти данные будут получены в результате археологических исследований, которые, к счастью, постоянно продолжаются. Книга Мэллори особенно интересна. поскольку в ней сообщается о новейших археологических раскопках, в том числе и советских археологов. Особенно следует отметить гл. 7 и 8 его книги (с. 186—221): в дополнение к описанию археологической работы, ведущейся в Советском Союзе, он останавливается на выводах Гимбутас. Хотя ряд ученых, в частности Ренфрю, не вполне согласен с этими выводами, Мэллори в основном, хотя и не сразу, принимает ее позицию, концентрируя свое внимание на периоде, непосредственно предшествующем широкому распространению индоевропейцев, когда они, по его мнению, заселили все пространство от Карпат до Урала. Принимает он и позицию Дьяконова, точка зрения которого ниже будет кратко рассмотрена.

4.3. Балканы как прародина индоевропейцев. Главным сторонником балканской прародины индоевропейцев является известный исследователь афразийских языков И. Дьяконов. Его точка зрения по данному вопросу стала широко известной западному читателю благодаря публикации переводов принадлежащих его перу трех важных очерков [21]. Автор демонстрирует превосходное владение лингвистическим материалом и глубокую эрудицию в области древних культур.

Взгляды Дьяконова в существенной степени основываются на изучении данных, касающихся быстрого распространения некоторых групп индоевропейцев. Приводя точные цифры (например, 622 мили, необходимые грекам для того, чтобы добраться до Эгейского региона, 807 миль, которые потребовались кельтам для того, чтобы достичь Богемии, а германцам — Дании), он постулирует определенный центральный ареал распространения указанных индоевропейских племен. Указываемая Дьяконовым прародина индоевропейцев не вызывает возражений с точки зрения распространения различных групп индоевропейцев, кроме двух — индовранской и тохарской, появление которых в областях их позднейшего расселения, как справедливо полагает Дьяконов, происходило несколькими тысячелетиями позже. Это обстоятельство, естественно, не является решающим аргументом против его гипотезы.

Центральным в гипотезе Дьяконова, как было отмечено, является отсутствие в ней «переселения народов», вроде той миграции, которую осуществили германские племена примерно в начале нынешней эры [21, с. 65]. Подобное переселение, как еще ранее подчеркивал Дьяконов, не могло бы быть возможным в период с V до III тыс., когда происходило распространение индоевропейцев; напротив, процесс распространения протекал постепенно «из единого центра по всем направлениям» [21, с. 65]. Приведя цифры, характеризующие расстояние от возможного центра до последующих мест расселения, Дьяконов локализует этот центр близ Железных Ворот Дуная [21, с. 55—56]. В качестве теоретического построения данная аргументация является безупречной, если иметь в виду ее предпосылки.

Отмечая великолепное владение Дьяконовым лингвистическим и аржеологическим материалом, посредством которого он поверяет другие гипотезы, например, гипотезу Гамкрелидзе и Иванова, нельзя тем не менее не сказать, что его выводы вызывают определенные сомнения. Выбор Балкан в качестве прародины действительно снимает проблему, связанную с незнакомством индоевропейцев с письменностью, даже на начальных этапах ее развития. Но как в таком случае объяснить овладение ими тремя важными источниками их могущества? Факты свидетельствуют, что дошадь первоначально была одомашнена в степных районах, и примерно в это же время начинает заявлять о себе мощь этих племен. Согласно гипотезе Дьяконова, индоевропейское население в балканском ареале должно было овладеть новым способом передвижения. Но если мы считаем, что метод изготовления бронзы был открыт на Кавказе, а колесо изобретено в Месопотамии, то овладение всеми этими тремя реалиями наиболее вероятно для какой-либо центральной группы племен, проживавщей в пентральной области. Эта область явно локализуется к северу от Черного и Каспийского морей. А центральной группой народов явились индоевропейны.

Излагая вкратце этот «сценарий», можно отметить, что контакт с изобретателями бронзы не представлял никакого труда. А знакомство с колесом со спицами, как и технология его производства могли явиться ре-

зультатом проникновения в южные регионы с целью грабежа либо торговли. На север могли проникать купцы из Месопотамии, как позднее они проникали в Малую Азию к хеттам. Отличной иллюстрацией ранних контактов с северными народами является цитируемая Хаммерихом аккалская легенда о смерти чудовища, вызванной тем, что в кусок мяса, который оно проглотило, были вставлены гибкие кости. Когда мясо переварилось, кости выпрямились и произили стенки желудка этого чудовища. убив его. Процедура, описанная в данной легенде, была изобретена северными племенами и использовалась, в частности, эскимосами. Месопотамские сказители переработали эту легенду; подобно этому Дж. Свифт адаптировал рассказы современных ему путешественников в своем «Гулливере», а нынешние писатели-фантасты используют сведения о космических путешествиях. Контакты, какой бы ни была их мотивировка, действительно имели место и в отдаленном прошлом. Для пользования колесом не нужно особых инструкций. Став обладателями трех указанных культурных приобретений, индоевропейцы начали свое стремительное продвижелие, первоначально, по-видимому, через карпатскую область к Уралу, как это и описал Мэллори.

4.4. Прародина в IV тысячелетии. Предположение о прародине, в IV тыс. охватывающей территорию от Карпат до области, лежащей к северу от Каспийского моря, подтверждается археологическими данными, приводимыми Гимбутас. Такое предположение представляется предпочтительней мнения Дьяконова в том отношении, что оно лучше объясняет продвижение на восток носителей индоиранского языка. Кроме того, оно не отрицает тезис о распространении земледелия из Анатолии, хотя и не приписывает начало этого процесса индоевропейским народам. Наконеп. оно позволяет объяснить наличие заимствований из семитского, которым придают такое большое значение Гамкрелидзе и Иванов. Предполагаемые дальнейшие контакты с картвелоязычным населением (с учетом более осторожной их интерпретации Дьяконовым) также можно легко объяснить при признании прародины на указанной территории с V до III тыс. до н. э.

Неясной при этом остается ситуация с предками индоевропейцев в V тыс. Для ее прояснения мы возлагаем надежды на будущие археологические находки. Как известно из истории некоторых потомков древних носителей индоевропейского языка, например, римлян, социальные и политические преобразования, которые выходят на поверхность, могут быть результатом деятельности предков, едва различимых среди их более могущественных соседей. В начале І тыс. до н. э., к примеру, было бы весьма недегко идентифицировать предков будущих римлян. Попытки связать предполагаемых прародителей индоевропейцев с каким-либо археологическим ареалом могут быть довольно заманчивы; однако на сегоднящний день они опираются скорее на воображение, чем на факты. В качестве ближайшей задачи мы бы считали переоценку имеющихся языковых данных с целью сделать их более информативными.

#### **ЛИТЕРАТУРЫ** список

<sup>1.</sup> Гамирелидзе Т. В., Неаное Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.

2. Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2-te Aufl. Strasburg, 1897—1916. 3. Hirt H. Indogermanische Grammatik, Bd III: Das Nomen. Heidelberg, 1927.

- 4. Mallory J. P. In search of the Indo-Europeans. Language, archeology, and myth, L., 1989.
- 5. Renfrew C. Archeology and language. The puzzle of Indo-European origins, L., 1987. 6. Meillet A. Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. P., 1931
- (repr. by University of Alabama Press, 1964).
  7. Grimm J. Geschichte der deutschen Sprache. 3-te Aufl. Leipzig, 1868.
- 8. Reallexicon der germanischen Altertumskunde. Bd 1-4 / Hrsg. von Hoops J. Strassburg, 1911—1919. 9. Schrader O. Sprachvergleichung und Urgeschichte. 3-te Aufl. Jena,
- 1906-1907. 10. Schrader O. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Bd 1-2 / Hrsg.
- von Nehring A. B., 1917—1929. 11. Indo-European and Indo-Europeans / Ed. by Cardona G., Hoenigswald H. M., and
- Senn A. Philadelphia, 1970. 12. Studien zum indogermanischen Wortschatz / Hrsg. von Meid W. Innsbruck, 1987.
- 13. Nichols J. Head-marking and dependent-marking grammars // Language. 1986. № 62. 14. Каимов Г. А. Типология языков активного строя. М., 1977. 15. Каимов Г. А. Принципы контенсивной типологии. М., 1983.

- 16. A reader in nineteenth-century historical Indo-European linguistics / Ed. by Lehmann W. P. Bloomington, 1967.
- 17. Bass G. F. Oldest known shipwreck reveals Bronze Age splendors // National Geographic. 1987. December.
- 18. Sandfeld K. Linguistique balkanique. P., 1930.
- 19. Emeneau M. B. India as a linguistic area // Language. 1956. V. 32.
- 20. Benveniste E. Problems in general linguistics / Transl. by Meek M. E. University
- of Miami Press, 1971.

  21. Diakonoff I. M. On the original home of the speakers of Indo-European / Transl. by Kipnis O, and ed. by Polomé E. // Soviet anthropology and archeology. 1984. V. 23. № 2.
- 22. Meillet A. The comparative method in historical linguistics / Transl. by Ford G. B. Jr. P., 1967.
- 23. Hoenigswald H. M. Language change and linguistic reconstruction. Chicago, 1980.
- 24. Schmidt K. H. Zur Typologie des Vorindogermanischen // Linguistic reconstruction and Indo-European syntax / Ed. by Ramat P. et al. Amsterdam, 1980.
- 25. Diakonoff I. M. // Annual of Armenian linguistics. 1988. V. 9. Rec.: Renfrew C. Archeology and language. L., 1987.
  26. Scharfe H. The Vedic word for «king» // JAOS. 1985. № 105.
- 27. Rowlett R. Archeological evidence for early Indo-European chieftains // JIES. 1984. V. 12.
- 28. Kuhn A. Über die durch Nasale erweiterten Verbalstämme // KZ. 1853. Bd 2.
- 29. Schmitt R. Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden. 1967.
- 30. Watkins C. Linguistic and archeological light on some Homeric formulas // Proto-Indo-European: The archeology of a linguistic problem / Ed. by Skomal S. N. and Polomé E. C. Washington, 1987.
- 31. Dressler W. Über die Rekonstruktion der indogermanischen Syntax // KZ. 1971. Bd 85.
- 32. Palmaitis M. Indo-European vowel gradation and the development of declensional models in the aspect of diachronic typology. Tbilisi, 1979.
- 33. Mitchell B. Old English syntax. I-II. Oxford, 1985.
- 34. Piggott S. The earliest wheeled transport. From the Atlantic Coast to the Caspian Sea. L., 1983.
- 35. Specht F. Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1944 (2-te Aufl. - 1947).
- 36. Thieme P. The Indo-European language // Scientific American. 1958. October.
- 37. Diebold A.R., Jr. The evolution of Indo-European nomenclature for salmonid fish: The case of "Huchen" (HUCHO SPP.). Washington, 1985.
- 38. Thomas H. L. Archeological evidence for the migrations of the Indo-Europeans // The Indo-Europeans in the fourth and third millenia / Ed. by Polomé E.C. Ann Arbor, 1982.
- 39. Anthony D. W. The «Kurgan» culture; a reconstruction // Current anthropology. 1986. V. 17.
- 40. Gimbutas M. Proto-Indo-European culture: The Kurgan culture during the fifth, fourth, and third millenia BC // Indo-European and Indo-Europeans / Ed. by Cardona G., Hoenigswald M. and Senn A. Philadelphia, 1970. P. 192.
- 41. The transformation of European and Anatolian culture 4500—2500 B.C. and its legacy / Ed. by Gimbutas M. // JIES. 1980—1981. V. 8. № 1—2; V. 9. № 1-2.

- 42. Themas H. L. The Inde-Europeans: Some historical and theoretical considerations /F Prote-Inde-Europeans: The archeology of a linguistic problem. Studies in hones of Marija Gimbutas / Ed. by Skomal S. N., Polomé E. C. N. Y., 1987. 43. Gimbutas M. The first wave of Eurasian steppe pastoralists into copper age Eure-
- pe // JIES. 1977. V. 5. 44. Buck C. D. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages, Chicago, 1949.

(Окончание следует)

Перевол с авглийского Чиринба В. А.

Programs, March College, and comparable for the instantial for

i stekkir filosofi, krijika od poslovaje sila postaje sila postavaje sila postava je predse. Poslovaje sila graj defino i raja povrajavaje sa postavaje pravada pravata kontraktiva defenda efektiva efekt

N: 4

1991

© 1991 r. 1994 1994

### швейцер А.Д.

## ПРОБЛЕМЫ КОНТРАСТИВНОЙ СГИЛИСТИКИ (К СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ)

· 前臺灣 (17 ) 日本 (1 ) 西西夏 (1 ) 新 (1 ) [1 ] (1 ) [1 ] (1 ) [1 ]

Известно, что контрастивная лингвистика является одним из наиболее молодых направлений современного языкознания, стремящимся найти свое место среди других языковедческих наук, определить свой объект и разработать свои методы анализа [1—5].

В то же время можно смело сказать, что из всех ее областей и разделов контрастивная стилистика, основоположником которой был еще III. Балли [2], получила наименьшее развитие. Прав К. А. Долинин, пришедший к выводу о том, что контрастивная стилистика как лингвистическая дисциплина еще не построена, а то, что обычно предлагают под этим названием, «не в меньшей степени относится либо к сравнительной типологии, либо к теории перевода, чем к стилистике» [3, с. 86].

Показательна в этом отношении концепция одного из пионеров контрастивной стилистики А. Мальблана, видевшего ее задачи в том, чтобы точнее определить соответствия между двумя языковыми системами, устажовить возможности перехода от одной из них к другой и таким образом превратить теорию перевода в научную дисциплину [4, с. 16]. И хотя на следующей стадии контрастивно-стилистического исследования Мальблам предусматривал противопоставление жанров и стилей в двух языках, эта задача осталась у него нереализованной.

Сходное понимание целей контрастивной стилистики присуще и авторам «Сопоставительной стилистики французского и английского языков» Ж. П. Вине и Ж. Дарбельие, которые в число задач «внешней» (т. е. контрастивной) стилистики включают анализ специфических черт языка, выявляемых путем сопоставления его с другим языком [5, с. 15]. Для этой работы (как и для многих других) характерно отсутствие четкой дифференциации контрастивной стилистики, с одной стороны, и контрастивной грамматики, лексикологии и теории перевода, с другой.

Интересные перспективы построения контрастивной стилистики были шамечены в свое время Ю. С. Степановым в его «Французской стилистике», в особенности в разделе «Французская национальная норма, описаншая изнутри», где стилистические системы французского и русского языков подвергаются сопоставительному анализу на лексическом уровне [6].

Важные уточнения в отношении самого предмета контрастивной стилистики вносит А. В. Федоров, который, полемизируя с А. Мальбланом, фактически подчиняющим контрастивную стилистику теории перевода, справедливо отмечает, что задачи первой носят самостоятельный характер. По мнению А. В. Федорова, контрастивная стилистика может строиться не только на соотношении оригиналов и переводов, но и на сопоставлении оригинальных текстов. Объектом ее анализа могут быть различия в употреблении языковых средств — архаизмов или варваризмов, грамматических форм и типов предложения или средств языка, принадлежащих к одним и тем же функциональным стилям или литературным жанрам [7, с. 39—40].

Если контрастивный анализ выразительных средств языка, и в первую очередь художественной речи, и получил некоторое развитие, то проблемы сопоставления функциональных стилей еще нуждаются в фундаментальной разработке. Одной из первых работ этого направления контрастивной стилистики является книга Н. К. Гарбовского, в которой предпринимается попытка проанализировать сходства и различия в выборе и организации языковых средств выражения в области профессиональной речи [8].

Остановимся подробнее на предмете контрастивной стилистики, и в первую очередь на его отграничении от предмета теории перевода. Соотношение теории перевода с контрастивной стилистикой во многом определяется взаимосвязью между теорией перевода и контрастивной лингвистикой в целом. Этот вопрос детально рассматривается Э. Косериу в докладе на Международном симпозиуме по контрастивной лингвистике и теории перевода [9]. Согласно Косериу, контрастивный анализ может осуществляться в разных плоскостях — на уровне языковой нормы, типа языка и языковой системы. Контрастивная лингвистика, ориентированная исключительно на тип языка и языковую систему, имеет ограниченную ценность для перевода. В то же время контрастивный анализ на уровне языковой нормы (т. е. обычных, традиционных реализаций языковых функций) охватывает именно ту сферу, в которой протекает процесс перевода. Отсюда делается вывод, согласно которому ориентированная на норму и узус контрастивная лингвистика фактически приравнивается к теории перевода.

Нельзя не согласиться с тем, что системно-структурные и типологические сопоставления могут иметь лишь ограниченное приложение к переводу. Верно и то, что к теории перевода ближе всего та отрасль контрастивной лингвистики, которая ориентирована на норму и узус, ибо она, подобно теории перевода, имеет дело с речевыми реализациями языковой структуры, с областью функционирования языка в речи и, подобно частной теории перевода, носит однонаправленный характер (т. е. от языка А к языку В). Однако при этом едва ли есть основания ставить знак равенства между контрастивной лингвистикой на уровне нормы и узуса и теорией перевода. Независимо от того, какой аспект языка — его структурный тип, система, норма или узус - оказывается в фокусе сопоставительного анализа, контрастивная стилистика всегда нацелена на языки или, точнее, на конкретную пару языков, подвергаемых синхронному сопоставлению с целью выявления их общих и различительных черт на основе единого метаязыка, выступающего в качестве tertium comparationis, или одного из исследуемых языков, используемого в качестве эталона для сопоставления. Что касается ее задач, то их можно определить как установление общих и различительных черт, обнаруживаемых системами экспрессивно-эмоциональных и оценочных средств двух языков, а также системами их функциональных стилей. В число специфических задач контрастивной функциональной стилистики входит сопоставительный анализ системных отношений между языковыми средствами, используемыми в тех или иных сферах общения, определение принципов их отбора, сочетаемости и организации в текстах. Подробнее на уровнях и параметрах контрастивного анализа функциональных стилей мы остановимся ниже.

Предметом же теории перевода является собственно перевод как специфический вид межъязыковой коммуникации или, в терминах лейпцигской школы теории перевода, «языкового посредничества» (Sprachmittlung), а целью — выявление его сущности, моделей, механизмов, влияющих на него факторов и регулирующих его норм [10, с. 6—9].

Различия между контрастивной лингвистикой и теорией перевода находят свое отражение и в характере сопоставлений, практикуемых в этих дисциплинах. Так, проводя свои сопоставления на уровне типа или жанра текста, контрастивная лингвистика обычно использует так называемые «параллельные тексты», которые соотносятся друг с другом не как оригинал и перевод. Как правило, у этих текстов отсутствует тот семантико-прагматический инвариант, который обычно лежит в основе переводческой эквивалентности [10, с. 76-91]. Для «параллельных текстов» характерна общность социально-коммуникативной ситуации их порождения, позводяющая выделить дифференциальные и интегральные признаки текстов данного жанра в различных языках. Так, среди текстов, подвергаемых анализу в «Контрастивной текстологии» Р. Р. К. Хартмана, мы находим немецкие и английские тексты экономических приложений к «Зюддойче цайтунг» и «Таймс», выступлений в бундестаге и британском парламенте и др. [11, с. 92-99].

Контрастивный анализ этих текстов фиксирует присущие им черты сходства и различия в функциональных параметрах, а также в их синтаксисе, лексике, фразеологии и стилистической тональности.

Из сказанного отнюдь не следует, что переводческие сопоставления, т. е. сопоставления исходных текстов и их иноязычных эквивалентов, нерелевантны для контрастивной стилистики. Напротив, эти сопоставления служат ценным материалом для выявления расхождений между жанровофункциональными нормами двух языков. При этом, однако, следует иметь в виду, что стилистическая модификация исходного текста под влиянием норм языка и культуры его конечного реципиента носит, как правило, компромиссный характер. Дело в том, что процесс порождения текста при переводе сложен и противоречив. И объясняется это «двойной лояльностью» переводчика — его установкой на верность оригиналу и установкой на адресат и нормы его культуры [10, с. 75]. Характеризуя отношение текста перевода к текстам исходного языка, с одной стороны, и к текстам языка воспринимающей среды, с другой, А. Нойберт метко характеризует их как «двойную интертекстуальность» (double intertextuality), т. е. одновременную ориентацию на два типа текстов - исходного языка и языка перевода [12, с. 115]. Элементы двойственности (с точки зрения ориентации на культурную традицию), обнаруживаемые в конечном тексте перевода, расцениваются А. Поповичем как проявление того процесса, который в семиотике называется «креолизацией» текстов [13, с. 130—132].

Наиболее яркое проявление соприкосновение разных культур находит в художественном переводе, где одной из движущих сил процесса креолизации текста является тенденция к сохранению национального колорита оригинала. Поэтому при всей своей важности для контрастивной стилистики данные теории перевода могут быть использованы в ней лишь строго ограниченно и с существенными поправками, поскольку креолизованный текст никогда не сможет заменить текст аутентичный в качестве полноценного объекта контрастивного стилистического анализа.

Для того чтобы наметить принципы сопоставления функциональностилистических систем, необходимо прежде всего выяснить характер соотношения между ними как в пределах одного и того же языка, так и в рамках межъязыковых отношений. Анализ противопоставлений элементов этих систем свидетельствует о том, что они чаще всего характеризуются не столько наличием или отсутствием того или иного различительного признака (как привативные фонологические оппозиции Н. С. Трубецкого), сколько частотностью или употребительностью сопоставляемых единиц. Иными словами, эти оппозиции носят не абсолютный, а относительный характер.

Отсюда следует, что анализ такого рода оппозиций открывает широкие возможности для применения статистических методов. Не случайно именно статистические признаки были положены в свое время Н. Энквистом в основу предложенного им определения, согласно которому «стиль текста представляет собой совокупности контекстуальных вероятностей

его языковых единиц» [14, с. 28].

Разумеется, статистические признаки подлежат учету не только при сопоставлении отдельных текстов, но и при выяьлении различительных
черт функциональных стилей. Одним из первых модель статистического
выделения функциональных стилей предложил А. Я. Шайкевич [15]. Статистические методы находят применение и в диахронных стилистических
исследованиях в рамках одного и того же языка. Так, например, авторы
коллективного труда «Развитие функциональных стилей современного
русского языка», применяя статистические методы, сопоставляют частотность языковых фактов, характерных для различных функциональных
стилей на разных хронологических срезах, выявляют тенденции их эволюции в послеоктябрьский период. В частности, они убедительно раскрывают тенденцию ко все расширяющемуся взаимопроникновению стилей —
например, к возрастающему сближению публицистического стиля с разговорной речью, к уменьшению доли книжной лексики [16, с. 109].

Сходные методы оказываются плодотворными и в межъязыковых сопоставлениях. Так, например, элементы статистического анализа используются в названной выше работе Н. Н. Гарбовского, где, в частности, сопоставляется частотность различных частей речи в художественных и специальных текстах. Материалы количественного анализа съидетельствуют о том, что если в текстах художественных произведений отмечается «межъязыковая аналогия» (т. е. сходная картина количественного распределения частей речи), то в текстах специальных можно констатировать «межъязыковую асимметрию в употреблении прилагательных и глаголов: глагольности французского текста противостоит адъективность русского» [8, с. 100].

Однако соотношения между текстами, в которых реализуются дифференциальные признаки функциональных стилей в разных языках, отнюдь не исчерпываются количественными противопоставлениями. Некоторые их элементы могут вступать и в привативные оппозиции. Последние встречаются не столь часто. Ср., например, аллитерацию, используемую в качестве организующего приема в древнегерманском, кельтском и тюркском стихосложениях, но не используемую в этом качестве в других языках. Ср. также характерное для английского газетно-публицистического стиля употребление аллитерации, у которого отсутствуют аналоги в языке русской газеты.

Наконец, в отдельных случаях противопоставления функциональностилистических систем носят нечеткий характер в силу другого немаловажного обстоятельства. Дело в том, что некоторые признаки в равной мере присущи нескольким стилям, хотя и могут в то же время отличать эту группу стилей от других. Иными словами, эти признаки могут быть интегральными для данной группы и дифференциальными по отношению жете входящим в нее стилям. Так, например, некоторые черты официальноделовой речи («канцеляризмы») встречаются и в научной прозе, и в языке 
газетной публицистики (ср. взаимопроникновение стилей, отмеченное 
в [16]). Таким образом, функциональные стили относятся к классам, которые в современной теории множеств именуются «нечеткими множествами» (fuzzy sets), т. е. такими, между которыми отсутствуют четко очерченные границы и элементы которых частично совпадают и перекрещиваются [17, с. 1069]. Думается, что при сопоставлении функциональностилюстических систем модель количественных противопоставлений и модель нечетких множеств должны взаимно дополнять друг друга.

Рассмотрим вопрос об уровнях и параметрах контрастивного анализа. Если строить иерархию сопоставляемых объектов сверху вниз, то следует начать с высшего уровня - с функционального стиля. Членение языка функционально-стилистические системы непосредственно связано с дифференциацией сфер коммуникативной деятельности, выделяемых на основе абстрагирования от конкретных социально-речевых ситуаций. Именно на эту связь функционального стиля с коммуникативными сферами и в конечном счете с ситуациями общения указывает в своем опреледении функционального стиля Ю. С. Степанов: «Функциональный стиль - это исторически сложившаяся, осознанная обществом подсистема внутри системы общенародного языка, закрепленная за теми или иными ситуациями общения (типичнами речевыми ситуациями) и характеризующаяся набором ... средств выражения и скрытым за ними принципом отбора этих средств из общенародного языка» [6, с. 218]. Необходимо при этом иметь в виду, что социальным коррелятом лингвистической категожии «функциональный стиль» является не конкретная социально-речевая ситуация, а определенный тип или класс ситуаций, или, иными словами, коммуникативная сфера.

Наряду с наличием актуального для данного общества класса социально-речевых ситуаций (коммуникативной сферы) для выделения того мля иного функционального стиля необходимо наличие определенного комплекса функций, стилевых черт и языковых признаков, характерных для использования языка в данной сфере.

Контрастивный анализ функциональных стилей должен основываться на учете и сопоставлении всей совокупности указанных параметров. При этом следует иметь в виду, что представление о стилях как о нечетких множествах находит свое отражение в самом наборе сопоставляемых признаков. Дело в том, что в стилистике существует монофункциональная модель стилей, согласно которой функцией газетного стиля является информация, функцией публицистического стиля — убеждение, побуждение к действиям, функцией научной прозы — доказательство определенных положений [18, 343]. Более адекватна для целей контрастивного анализа полифункциональная модель, закрепляющая за каждым стилем тот или иной набор функциональных признаков. Так, например, информативная функция присуща не только языку газеты, но и официально-деловой речи, а доказательство тех или иных положений может вполне сочетаться с убеждением, и потому обе эти функции могут характеризовать как публицистику, так и научную прозу. При сопоставлении присущих данному стилю функций в различных языках варьируются как набор функций, так и соотношение между ними.

Идея стилевых черт, впервые высказанная В. Шнайдером [19], получила дальнейшее развитие у М. Н. Кожиной, Обусловленные экстралинг-

вистическими факторами, и в первую очередь коммуникативной сферой, функциональными параметрами и культурной традицией, стилевые черты обычно строятся на полярных противопоставлениях: «точность — неточность», «образность — безобразность», «эмоциональность — рациональность», «объективность — субъективность» и др. [20, с. 82—83]. Думается, однако, что учитывая сказанное выше об относительном характере контрастивных противопоставлений, в основе последних может лежать не наличие или отсутствие данного признака, а степень его проявления.

Стилевые черты реализуются в конкретных языковых признаках. Так, Н. М. Лариохина, анализируя стилистическую маркированность русской научной речи, к числу языковых признаков, реализующих ее «отвлеченно-обобщенность» на уровне синтаксиса, относит исключение из структуры предложения личного субъекта действия (агенса) путем применения обобщенно-личных, безличных и пассивных конструкций [31, с. 14—25]. Как будет показано ниже, именно на уровне языковых признаков специфические черты сопоставляемых функционально-стилистических систем находят наиболее яркое воплощение.

Для контрастивно-стилистического анализа принципиальное значение имеет и учет структуры сопоставляемых функционально-стилистических систем. В рамках функционального стиля, представляющего собой одну из разновидностей литературного языка, выделяются три яруса. Верхним ярусом является макросистема данного функционального стиля, соотносимая, как отмечалось выше, с неким обобщенным типом социально-речевых ситуаций, набором функциональных параметров и стилевых черт. Эта макросистема распадается на ряд микросистем (подстилей), которые в свою очередь включают микросистемы низшего порядка (жанры текстов). Сказанное может быть проиллюстрировано примером, характерным для языковой ситуации в ряде развитых стран, где, как показывают материалы наблюдений [22, с. 109—110], сформировалась особая функциональностилистическая макросистема массовой коммуникации, единый класс социально-речевых ситуаций, характеризующихся ориентацией на массового получателя и связанных с использованием средств массовой информации -- прессы, радио и телевидения. Специфические условия массовой коммуникации и присущие этой коммуникативной сфере функциональные установки (на сообщение информации и воздействие на получателя) и соответствующие стилевые черты находят свое отражение в единой для всей микросистемы модели отбора языковых средств. Вместе с тем эта макросистема включает ряд микросистем (подстилей), известных как язык газеты, язык журнальной публицистики, язык радио и телевидения, каждая из которых обслуживает определенный участок сферы массовой коммуникации и обнаруживает характерную для нее конфигурацию языковых признаков, частично входящих в общую модель макросистемы, а частично составляющих специфику данного подстиля.

Наконец, в рамках этих микросистем вычленяются образующие низший ярус функционально-стилистической макросистемы жанры текстов (например, в языке газеты выделяются такие жанры, как передовая статья, информационное сообщение, газетный очерк, политический обзор или комментарий и др.). Каждый из этих жанров характеризуется специфичными для него функциональными установками, определяющими отношение между отправителем и массовым получателем, соответствующими стилевыми чертами и набором языковых средств.

Основным уровнем контрастивно-стилистических сопоставлений является уровень текста. Для выработки метаязыка контрастивного анализа

на этом уровне необходим соответствующий концептуальный аппарат, опирающийся на ту или иную типологию текста. В этой связи представляет известный интерес теория жанров текста (Textsortentheorie), основными категориями которой являются «тип текста» (Texttyp) и «жанр текста» (Textsorte) [23]. Понятие типа текста используется для выделения универсальных, базисных форм текста в человеческой коммуникации. На основе выполняемых ими самых общих (по К. Бюлеру) коммуникативных функций — репрезентативной (Darstellungsfunktion), выразительной (Ausdrucksfunktion) и апеллятивной (Appellfunktion) — вычленяются три типа текста — информативный, экспрессивный и оперативный. Подобно некоторым другим функциональным классификациям текста, классификация К. Райсс одномерна. Фактически она сводит функциональную характеристику текста к какой-то одной функции, между тем как реальные тексты (точно так же, как и реальные функциональные стили) полифункциональны.

Жанр текста (Textsorte) — это класс вербальных текстов, выделяемых на основе общности структуры, пределов вариативности и использования в однотипных коммуникативных контекстах. В жанровой вариативности текстов находят свое проявление так называемые «конвенции» (или нормы) жанра (Textsortenkonventionen), определяющие специфику отбора языковых средств при порождении текстов тех или иных жанров.

Контрастивный анализ позволяет выявить два вида расхождений на уровне жанра текста. Прежде всего речь идет о расхождении в самой номенклатуре жанров. Наряду с общими жанрами, существующими в любой письменной культуре (письмо, статья, басня), есть жанры, распространенные в нескольких, но не во всех культурах (например, сонет), и, наконец, жанры, специфичные лишь для одной культуры (например, жанр семнадцатисложного трехстишия хайку в японской поэзии). Кроме того, различия часто касаются конвенций жанра, что проявляется как в исторической перспективе (ср. например, стихотворную форму средневекового научного трактата), так и при сопоставлении жанровых норм различных языков.

Думается, что в контрастивной стилистике вполне могут найти применение и выделяемые К. А. Долининым дифференциальные признаки текста, объединяемые в три группы: 1) признаки, связанные с адресатом (например, наличие или отсутствие персональной адресованности); 2) признаки, связанные с адресантом (например, обращение от своего имени или от имени группы); 3) признаки, связанные с характером сообщения (абстрактность или конкретность, эмоциональность или неэмоциональность и др.); 4) признаки, связанные с каналом связи (письменная или устная форма, диалогичность или монологичность и др.) [24, с. 64—67].

Объектом контрастивно-стилистического анализа может также быть и типовая структура текста, в том числе его когнитивная структура. В этой связи заслуживает внимания идея Т. А. ван Дейка относительно целесообразности анализа дискурса на более высоком уровне, чем микроуровень слов, предложений и связей между предложениями. Ключевым понятием такого анализа является понятие общего значения текста или его макроструктуры. Формой организации последней является схема текста, задаваемая набором правил или стратегий, определяющих порядок следования его содержательных единиц [25, с. 129—133, 241—263].

Как будет показано ниже, схемы текста, реализующие его макроструктуру, варьируются от языка к языку и от культуры к культуре. Контрастивный анализ, построенный на сопоставлении когнитивных структ

тур текстов, дает возможность перебросить мост от статических сопостав лений, основанных на сравнении функций, стилевых черт и их языковых реализаций, к сопоставлениям динамическим, в основе которых лежат различные стратегии порождения и восприятия текста.

Известно, что одной из центральных проблем стиля является проблема выбора языковых средств, в наибольшей мере соответствующих условиям и цели коммуникативного акта. На уровне текста стратегия выбора обычно бывает связана с оптимальной формой его организации — например, с линейной последовательностью его конституентов. В качестве примера такого рода стратегии Н. Энквист приводит текст радиорепортажа о соревновании по боксу, состоящего из эллиптических именных фраз, называющих сперва действие, а затем деятеля (nice left jab by Cooper, a tremendous left hook ... by Miteff, right and left by Cooper). Стратегия этого радиорепортажа характерна для некоторых форм спонтанной речи, в которой наиболее важная информация помещается вначале, а менее важная следует за ней. Ее основной принцип — «сперва ключевая информация» (сrucial information first) — прослеживается, как мы увидим ниже, и в некоторых жанрово-стилистических разновидностях письменной речи [26, с. 22—23].

В настоящей статье на материале газетно-информационного текста будет предпринята попытка выявить некоторые дифференциальные признаки газетно-публицистического стиля в английском и русском языках с учетом указанных выше уровней и параметров контрастивного анализа. Как отмечалось выше, одним из таких параметров является комплекс функций, на основе которого выделяется тот или иной стиль. Как в английском, так и в русском языке ведущими функциями газетно-публицистического стиля является информация, с одной стороны, и убеждение, воздействие на реципиента, с другой. Если сопоставить под этим углом зрения язык советской прессы, с одной стороны, и англо-американской, с другой, то выяснится, что сам по себе набор функциональных параметров у них совпадает. Однако соотношение этих функций варьируется от одного языка к другому.

Это различие становится наиболее контрастным при сопоставлении отдельных жанров текста. Так, например, при сравнении газетно-информационных текстов выявляется значительно большая роль функции убеждения и воздействия в языке русской газеты по сравнению с английской или американской. Это различие находит свое отражение и в стилевых чертах газетно-информационных текстов, и в их языковой реализации: в русском тексте более эксплицитный характер приобретает такая стилевая черта, как «сопричастность автора» (термин Ю. Найды [27, с. 154]), более широко используются экспрессивно-оценочные элементы. Например: «Португалия выступает посредником в этих многоступенчатых переговорах, затянувшихся из-за неконструктивной позиции руководителей УНИТА» (Известия, 1991, 31 янв.); «Сквозь дым и пламя жарких дебатов нетрудно было заметить, что спорящие говорят на разных языках. Эмоции явно взяли верх над логикой и расчетом» (Известия, 1990, 25 июня).

Вместе с тем каноны английской и американской журналистики, зафиксированные в соответствующих пособиях (style manuals), требуют исключения из газетно-информационного сообщения каких бы то ни было субъективно-оценочных элементов. Личность автора сообщения как бы полностью устраняется. Нормы жанра запрещают включать в текст те или иные высказывания, отражающие собственное мнение репортера или

его комментарий к описываемым событиям. «Мнения должны высказываться в передовой статье и в колонке комментатора» [28, с. 87].

Однако все эти ограничения порой не мешают имплицитному выражению позиции автора текста: 1) «De Gaulle sent his military commander a blistering cable»; 2) «Informed of the suicide, Christine Keeler burst into tears and ducked into seclusion» [28, c. 87, 98].

В первом случае отрицательная оценочная коннотация имплицитно переносится с предмета, к которому непосредственно относится атрибут blistering «резкий, едкий», на лицо (de Gaulle). Во втором использование резко контрастирующего с ситуативным контекстом коллоквиализма ducked диагностирует отрицательную установку репортера в отношении скандально известной Кристин Килер.

Иными словами, различие между русскими и английским газетно-информационными текстами в отношении этого параметра («сопричастность автора») заключается не в наличии его в первом случае и в полном отсутствии во втором, а в способе его выражения: в русском тексте он нередко находит эксплицитное выражение, а в английском — лишь имплицитное.

Другими стилевыми чертами, степень выражения которых является одной из различительных черт английских и русских газетно-информационных текстов, является книжность и приподнятость. См., например: «...27 января — дата снятия блокады Ленинграда. Дата, святая для города на Неве, которую он неизменно отмечает со строгой торжественностью. Сегодня грусть, увы, не только в воспоминаниях пожилых ленинградцев, но и в их раздумьях о дне нынешнем» (Правда, 1991, 27 янв.).

Выше отмечалось, что текст перевода не может быть полностью приравнен к аутентичному тексту на данном языке. Вместе с тем сравнение оригинала с переводом дает возможность проследить некоторые характерные модификации, отражающие расхождения в жанрово-стилистических нормах сопоставляемых языков. Рассмотрим следующий пример: Зеленым ковром всходов покрываются поля. Каким будет урожай первого года пятилетки? Земледельцы понимают: щедрость нивы во многом зависит от их слаженной работы в эти дни.

Приподнятость этого текста опирается на такие элементы, как нива (поэт.), (книжн. устар.), земледелец, литературные тропы зеленый коверь всходов, щедрость нивы. Адаптация этого текста к нормам английского газетно-публицистического текста потребовала ряд стилистических модификаций: Fields are turning green. What harvest will the first of the five years bring? Farmers know that the yield will depend on their concerted and efficient work right now. Общее направление этих модификаций — снижение тональности, нейтрализация специфически книжных элементов (русск. щедрость нивы — англ. yield, русск. земледелец — англ. farmer, русск. зеленым ковром всходов покрываются поля — англ. fields are turning green [10, с. 199].

Другим различием на уровне стилевых черт является более высокая степень сжатости английского газетно-информационного текста по сравнению с русским. Иногда это различие выявляется на уровне словосочетания, в структуре которого в английском тексте нередко опускается компонент, восполняемый из контекста. Так, в работе Т. Г. Сеидовой, опирающейся на газетно-публицистический материал [29], приводятся многочисленные примеры именных словосочетаний, требующих развертывания при переводе с английского языка на русский. Смысловая связь между компонентами этих словосочетаний не получает эксплицитного выра-

жения. Например, oil countries означает «нефтедобывающие страны», хот я в принципе оно могло бы означать и «страны — потребители нефти» (ср. неотмеченность в русском языке словосочетания «нефтяные страны»). При переводе с русского языка на английский применяется обратная трансформация: В ответ на требования профсоюза металлистов Швеции об увеличении заработной платы предприниматели объявили 18 тысячам трудящихся локаут — The employers responded to the wage demands of the Swedish Metal-Workers Union by locking out 18,000 employees. Здесь развернутое словосочетание требования об увеличении заработной платы заменяется эллиптическим wage demands.

Для стилистических модификаций, обусловленных более высокой степенью компрессии английского текста, типичны также преобразования на уровне предложения, связанные с использованием более компактной структуры, позволяющей описать данную ситуацию более сжато и экономно, например: *ЮАР принадлежит первое место в мире по добыче золота и ювелирных алмазов* — South Africa is the world's No. 1 gold and diamond producer [10, c. 202].

Как отмечалось выше, функциональные стили представляют собой «нечеткие множества». Именно этим объясняется их взаимопроницаемость, степень которой варьируется от языка к языку. Так, например, для русских газетных текстов характерны такие признаки официально-деловой речи, как высокая частотность отглагольных имен действия. Например: «Съездом приняты резолюции ... о путях вступления в рыночные отношения, о выполнении постановления № 608, о профсоюзах, о партиях» (АИФ, 1990, 23—29 июня); «Министр иностранных дел ФРГ предостерег от поспешных оценок и выводов в вопросе об оказании экономической поддержки СССР... Мир и процветание в Европе, подчеркнул он, могут быть обеспечены только при условии преодоления экономического разрыва между Западом и Востоком континента» (Правда, 1991, 5 'февр.).

Поскольку для английского газетно-публицистического стиля эта черта значительно менее типична, при переводе русских газетных текстов на английский язык подобные конструкции часто подвергаются трансформации: «По имеющейся информации, ввод первой очереди в строй по ряду причин был задержан на полтора года, что привело к потере 15 миллионов долларов выручки» (Коммерсант, 1991, 28 янв. — 4 февр.) — англ. Ассоrding to the information available, the first section was completed 18 months behind schedule cutting down profits by 15 million dollars.

Указанное различие, как и многие другие, носит вероятностный характер, поскольку конструкции с nomina actionis, разумеется, встречаются как в русских, так и английских газетных текстах и отличаются лишь частотностью употребления.

Еще одним направлением стилистических модификаций, обусловленных различной степенью взаимопроницаемости стилей, является нейтрализация при переводе на английский язык некоторых элементов текста, специфичных для стиля научной прозы. Дело в том, что в публикуемых в нашей массовой прессе статьях ученых нередко сохраняются некоторые маркеры научного текста — терминология, фразеология, манера изложения. В то же время английскому газетному тексту в большей мере присуще адаптация к жанрово-стилистическим нормам газетно-публицистического стиля. Иными словами, расплывчатость границ этого стиля в русском языке проявляется в данном языке в отсутствии резкой дифференциации двух функциональных стилей — «нечетких множеств». Вданном случае модификация русского текста при переводе также доста-

точно точно отражает расхождение стилистических норм двух языков. Ср. следующий пример: Размышления о будущем человеческого общества прослеживаются на протяжении всей истории человеческой мысли. Здесь используется характерная для научной прозы конструкция с пассивным оборотом, реализующая «отвлеченно-обобщенность», одну из главных черт этого стиля [21, с. 13—18]. Эта конструкция опирается на типичный для данного стиля глагол умственного восприятия прослеживать (ср. также выявлять, обнаруживать и др.). Для приведения исходного текста в соответствие с нормами английского газетно-публицистического стиля потребовалась сложная трансформация, основанная на метонимическом сдвиге: действие (восприятие) было заменено признаком: Speculation on the future of human society is as old as the history of ideas [10, с. 201].

В результате текст освобождается от языковых признаков научной речи и приобретает такие черты газетной публицистики, как сжатость,

выразительность, броскость.

Рассмотрим некоторые дифференциальные признаки структуры газетно-информационных текстов в английском и русском языках. В этих текстах выделяются следующие структурно-композиционные компоненты: заголовок, вводный абзац («зачин») и развернутое изложение.

В структуре газетно-информационного текста ярко проявляется стратегия, основанная на принципе «ключевая информация вначале» (crucial information first). Об этом, в частности, пишет Т. А. ван Дейк, считающий выдвижение важной информации на первое место общим структурным свойством газетных сообщений новостей и называющий эту тенденцию «структурированием по принципу релевантности» (relevance structuring). Этот принцип пронизывает весь текст, все его уровни [25, с. 132—133].

Начнем с заголовка (headline). Здесь обычно соблюдается принцип, сформулированный в одном из пособий для журналистов: «Headlines should tell the story». («Заголовки должны раскрывать содержание статьи») [30, с. 96]. В самом деле, в английской или американской газете заголовок — это чаще всего предельно сжатый вариант основной информации текста. Ср. следующие примеры: «Campaign by US Drug Czar Proves Ineffective as Crime Stays High»; «Slovenian Poll Victors Seek Independence from Belgrade»; «France is Said to Offer Passports to Hong Kong»; «Police Raise Estimate of Ferry Fire Toll to 200».

Вместе с тем многие заголовки русских текстов служат сигналом, акцентирующим внимание на одном из элементов содержания текста: «Перед выбором в Румынии», «Готовимся к конкуренции», «Под флагом России», «С позиций права и гуманизма», «"Биржа" для аппаратчиков», «Акция милосердия», «Помощь с Волги».

В силу отмеченного различия в стратегии текста перевод подобных заголовков на английский язык обычно требует дополнительной информации, извлекаемой из текста статьи. Так, заголовок «Очередное коммюнике» передается в переводе как «Iraqi Helicopters Fly 90 Missions, Communique Says» [10, с. 187].

Заголовок английского информационного текста обычно бывает наиболее тесно связанным с зачином (lead). Наиболее распространенный вариант зачина в англо-американской прессе — это так называемый зачин-резюме (summary lead), который определяется как «начальное предложение (или предложения), резюмирующее основное содержание заметки» [28, с. 101]. В английских текстах зачин, как правило, начинается с основного сообщения, за которым следует атрибуция (указание на источник). Наиболее распространенная формула зачина 3 = СИ, где 3 — зачин, С — сообщение, И — источник. В русском же тексте чаще наблюдается обратная последовательность: 3 = HC. Ср. следующие примеры: Brazil will soon pay to sovereign creditors arrears totalling 980 m., Reuter reports from  $S\~ao$  Paulo.— «По информации пресс-секретаря Совета Министров РСФСР В. Сергеева. 12 февраля подал заявление об отставке зампред Совмина РСФСР Г. Фильшин» (Комсомольская правда, 1991, 14 февр.).

Порядок следования смысловых компонентов сообщения: С = СбМВ,

где С — сообщение, Сб — событие, М — место, В — время.

Таким образом, стратегия «структурирования по принципу релевантности» реализуется и на уровне зачина. При этом соблюдается последовательность — описание главного события, место, время и источник информации.

В русском газетно-информационном тексте нередко используется такой же тип зачина, раскрывающий главное содержание информационного сообщения. Например: «Под давлением общественного мнения в Бразилии принят кодекс этики для радио и телевидения, который жестко регламентирует время трансляции различных по содержанию программ» (Правда, 1991, 5 февр.). Однако не менее часто встречается зачин, содержащий не резюме главного события, а лишь «введение в текст», за которым следует главная информация. Так, в другой заметке зачином служит следующее предложение, содержащее вводную информацию: «Обсуждению основных направлений радикальной реформы единой аграрной политики "Общего рынка" посвящена открывающаяся в бельгийской столипе сессия Совета европейских сообществ». Это предложение предшествует остальной части текста, в которой содержится ключевая информация: «Изменение правил, регулирующих уже более трех десятков лет сельскохозяйственное производство в 12 странах "малой Европы", стало необходимым в связи с растущей разбалансированностью аграрного рынка» (Советская Россия, 1991, 5 февр.).

Однако наиболее значительные расхождения наблюдаются в последовательности компонентов зачина, основанного в русском тексте на формуле: С = ВМСб, где С — сообщение, В — время, М — место, Сб — событие. Ср., например: «В 1988 г. состоялся разговор представителей Уфимского НИИ глазных болезней и заместителя председателя правления Советского детского фонда З. Драгункиной» (Комсомольская правда, 1991, 14 февр.).

Расхождения наблюдаются и в языковой реализации компонентов газетно-информационного текста. Так, например, для заголовков английского текста типична глагольная структура: «Gorbachev Calls For Lithuania Vote»; «Disputes Threaten Nepal Coalition Plan»; «Parkinson Bales Out Tunnel»; «Brazil Anti-Inflation Drive Starts to Bite». В заголовках русских газетно-информационных текстов значительно чаще отмечаются именные фразы, где вместо глагола нередко фигурирует отглагольное имя: «Встреча в Верховном Совете СССР», «Завершение визита», «Просьба И. Шамира».

Указанные различия также носят вероятностный характер. Как именные, так и глагольные заголовки встречаются в русских и английских текстах. Ср., например, «How-To Democracy Course» и «Участковый работает в колхозе». Речь идет лишь о значительно большей частотности глагольного типа в английских текстах по сравнению с русскими.

Другие различия носят практически абсолютный характер. Так, для английских заголовков типично отсутствие глагольных форм прошед-

шего и будущего времени. Вместо первых обычно используется форма Praesens historicum - «Glitch Delays Lift-Off»; «East Europeans Study the US Systems Nitty-Gritty»; «Pakistan and India Edge Closer to Another War»; «Barrie Joins Bottle for Full Disclosure», а вместо вторых инфинитив — «Universal Language to Open the Options»; «Mexico to Open Up in Computer and Drugs Sectors»; «Australia to Sign Soviet Pacts».

В то же время в русских заголовках широко употребляются глагольные формы как прошедшего, так и будущего времени: «Приняли эстафегу»; «Рассказали анкеты»; «Кто на праздник к нам пришел»; «Сделает ли

Чернобыль нас вегетарианцами?».

Существуют и языковые признаки, не имеющие аналогов в другом изыке. Сюда относятся, например, такие маркеры английского «заголовочного стиля» (headlinese), как опущение артикля «Union Question Caps D-Mark»; «Moscow Admits Murder of Polish POWs»; «Deal Helps Free 3 in Beirut, PLO Says», опущение связки be в пассиве и в именном сказуемом («Court Affronted»; «Man Aged 90 Injured in Fight»; «Every Gamble a Certain Loser in Lebanon»).

К числу уникальных, безэквивалентных признаков английского газетно-публицистического стиля относится также и так называемый «заголовочный лексикон» (headline vocabulary), состоящий из коротких слов, легко вписывающихся в формат заголовка, типа ban, bid, claim, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, red, rush, slash [30, с. 103]. В микроконтексте газетного заголовка у этих слов наблюдается значительное расширение значения. Так, например, в заголовке bid это не только «предложение», «заявка», «попытка», но и «шаг», «инициатива», «усилие», pact — не только «пакт», «соглашение», «договор», но и «сделка», «договоренность», «сговор», hit — не только «наносить удар», «причинять ущерб», «попадать в цель», но и «критиковать», «обрушиваться на кого-л.», «разносить в пух и прах», probe — не только «зондирование», но и «следствие», «расследование», «проверка», quiz — не только «производить опрос», но и «допрашивать», «интервьюпровать», «задавать вопросы», quit — не только «покидать», «прекращать», но и «уезжать» «эвакуироваться».

Характерной особенностью заголовочной лексики является не только ее широкая семантика, но и то, что она практически вытеснила из газетных заголовков свои синонимы. Так, глагол ban вытеснил torbid и prohibit, a глагол rap — criticize, reprimand, interrogate.

Наличие у английского газетного текста специализированного «заголовочного лексикона» и «заголовочной грамматики» в сочетании с отмеченной выше тенденцией к большему по сравнению с русским текстом обособлению от текстов, относящихся к смежным функциональным стилям, наводит на мысль о большей специализации языка английской га-

Другим параметром текста, обнаруживающим заметные расхождения при сопоставлении английского и русского газетно-публицистического стиля, является относительная жесткость его структуры [31]. Это относится и к грамматическим структурам текста и к его когнитивной структуре (ср. распределение информации между зачином и остальной частью

Что касается той части газетно-информационного текста, которая следует за зачином, то она характеризуется отсутствием жестких моделей. В целом речь может идти в основном о номенклатуре содержательных компонентов текста, но не о жестко и одпозначно заданной их последо-

вательности. Схема этих компонентов, предложенная Т. А. ван Дейком [25, с. 131—132, 256—259] и включающая такие компоненты, как главное событие, фон, контекст, история, вербальные реакции или комментарии, в целом приложима не только к английскому, но и к русскому тексту. Отсюда следует, что языковая реализация тех или иных параметров текста и связанные с ней межъязыковые различия варьируются не только от одного типа (или жанра) текста к другому, но и внутри текста от компонента к компоненту.

Контрастивный анализ функциональных стилей и типов текста неразрывно связан с социально-культурным контекстом. Вариативность этого контекста находит соответствующее отражение в вариативности стилистических маркеров. Еще в 1985 г. А. Нойберт, отмечая глубокие различия между русскими и американскими газетными текстами, связывал их с резкими расхождениями в идеологической ориентации «двух миров». При этом интертекстуальные связи нередко пересекают межъязыковые границы. «Сравнение статей, публикуемых в "Правде" и "Нойес Дойчланд", писал он, -- обнаруживает столько же черт сходства, как и сравнение ведущих американских и западногерманских газет» [12, с. 119-120].

В наше время уже стало трюизмом подчеркивать непосредственную связь между социальными сдвигами и изменениями в лексике. Значительно меньшее внимание обращалось на связь между социально-культурной средой и стилем. Однако стиль реагирует на вариативность этой среды не менее оперативно, чем лексикон. Поэтому приведенное выше замечание А. Нойберта, достаточно справедливое пять лет тому назад, в настоя-

щее время нуждается в серьезном пересмотре.

За последние годы произошли существенные изменения в языке советской прессы: она освободилась от многих идеологических клише, от резко выраженной социальной оценочности, риторичности, патетичной торжественности и других черт, столь характерных для нее в недавнем прошлом [32]. Некоторые из ее жанров (например, «директивная» передовая статья) фактически ушли в прошлое. И хотя отмеченные выше различия сохраняются до сих пор, мы уже не можем, сопоставляя язык и стиль нашей и англо-американской прессы, исходить из того, что их, по выражению А. Нойберта, разделяют целые «коммуникативные миры». Напротив, произошедшие за сравнительно короткий промежуток времени изменения свидетельствуют о явном процессе конвергенции.

Сказанное раскрывает перспективы еще одного интересного направления контрастивно-стилистического анализа — анализа в диахронной плоскости с учетом меняющегося социально-культурного контекста [33].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. М.,

- 2. Балли III. Французская стилистика М., 1961.
  3. Долинин К. А. Стилистика французского языка. Л., 1978.
  4. Malblanc A. Stylistique comparée du français et de l'allemand. P., 1968.
  5. Vinay J. P., Darbelnet J. Stilistique comparée du français et de l'anglaise. P., 1977. 6. Степанов Ю. С. Французская стилистика. М., 1965.
- 7. Федоров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. М., 1971.
- 8. Гарбовский Н. К. Сопоставительная стилистика профессиональной речи. М., 1988.
- 9. Coseriu E. Kontrastive Linguistik und Übersetzungswissenschaft: ihr Verhältnis zueinander // Kontrastive Linguistik und Übersetzungswissenschaft. München, 1981.

10. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. М., 1988. 11. Hartmann R. R. Contrastive textology. Heidelberg, 1980. 12. Neubert A. Text and translation. Leipzig, 1985.

13. Попович А. Проблемы художественного перевода. М., 1980.

14. Enkvist N. E. On defining style // Linguistics and style. L., 1964.

 Шайкевич А. Я. Опыт статистического выделения функциональных стилей // ВЯ. 1968.

16. Развитие функциональных стилей современного русского языка. М., 1968.

 Saaty T. L. Operations research: some contributions to mathematics // Science, 1972. Dec. 8.

18. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М., 1958.

19. Schneider W. Stilistische deutsche Grammatik. Basel. 1959.

20. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М., 1983.

Лариохина П. М. Вопросы синтаксиса научной речи. Анализ некоторых структур простого предложения. М., 1979.
 Швейчер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США. М., 1983.

23. Reiss K., Vermeer H. J. Grundlegung einer allgemeinen Übersetzungstheorie. Tübin-

gen, 1984. 24. Долинин К. А. Интерпретация текста (французский язык). М., 1985.

24. Долинин п. А. интерпретация текста (французский язык). м., 190

المؤورون وياجا الحائل والاعتيا

25. Ван Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация М., 1985.

 Enkvist N. E. A note towards the definition of text strategy // Z. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1987. 40.
 Nida E. A., Taber C. R. The theory and practice of translation. Leiden, 1969.

28. Brier W. J., Heyn H. C. Writing for newspapers and news services. N. Y., 1969.

 Сеидова Т. Г. Семантически неполные атрибутивные словосочетания в английском языке и трансформации при переводе их на русский язык: Автореф. дис. ... канд. филол. наук М., 1976.

30. Sellers L. Doing it in style. A manual for journalists, P. R. men and copywriters. Oxford, 1968.

Ванников Ю. В. Типы научно-технических текстов и их лингвистические особенности. М., 1985.

32. Солганик Г. Я. Системный анализ газетной лексики и источники ее формирования: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1976.

 Ярцева В. Н. Теория и практика сопоставительного исследования языков // ИАН СЛЯ. 1986. № 6. 28 D 5

### Еще раз к вопросу об эргативной конструкции

Посвящается Собаке, которую так беспощадно убивают на страницах столь-ких лингвистических сочинений...

#### I. Вводные замечания.

За последние 10-15 лет эргативная конструкция и связанные с ней явления и понятия стали одной из самых популярных тем мировой лингвистики; количество книг, посвященных этой теме, исчисляется десятками, а количество статей — сотнями, если не тысячами. (Заметим, что в СССР интерес к соответствующей тематике проявился гораздо раньше, ещё в 30-ые годы, и практически никогда не исчезал.) Это вполне понятно: эргативная конструкция (в дальнейшем — ЭК) фундаментальным образом отличается от номинативной конструкции, которая явилась ЕДИНСТВЕННОЙ базой для создания и развития современного теоретического синтаксиса. В то же время, ЭК находится на пересечении семантики, синтаксиса и морфологии, с немалым участием лексики, так что обсуждение ЭК затрагивает разом чуть ли не всю лингвистику! В этом — исключительный интерес ЭК, но в этом же — и существенные трудности её описания. Таким образом, ЭК бросает лингвисту дерэкий вызов; в настоящей статье я поднимаю перчатку.

Начну с того, что в связи с ЭК я не сообщаю новых фактов и не предлагаю новых теорий (в строгом смысле термина). Моя задача —

## уточнить сам термин эргативная конструкция;

иначе говоря, это - чисто МЕТАЯЗЫКОВАЯ задача. Она привлекает меня потому, что несмотря на мой многолетний интерес к ЭК, 1 я до сих пор во многих случаях не понимаю, о чём в точности идёт речь, когда говорят "эргативность", "эргативная конструкция", "эргативный язык" и т.п. Беда заключается в том, что используемые при этом понятия (такие, как "субъект", "объект", "переходный глагол", "подлежащее", "антипассив", ...) сами не определены - или, во всяком случае, недоопределены. В результате нередко затемняется даже вопрос о существовании ЭК в том или ином языке L. Ср., например, Sinclair 1976 или Gibson & Starosta 1987. где — вопреки традиционному взгляду (в частности, Hohepa 1969, Chung 1977, Полинская 1988) — авторы пытаются доказать наличие ЭК в маори; делается это на основе особой трактовки пассива, переходного глагола и подлежащего в этом языке (т.е. путём работы с гораздо более общими синтаксическими понятиями, которые должны были бы быть прояснены обязательно до разбора понятия ЭК и независимо от него - но, увы, не были). А если даже специалисты-эргативологи расходятся в ответах на

такой, казалось бы, простой и, по-видимому, базовый вопрос, как "Существует ли ЭК в L?" (вариант: "Является ли данная конструкция эргативной?"), то что же делать общему лингвисту, вынужденному заимствовать описания ЭК у специалистов? Естественный ответ — навести логический порядок в терминологическом хозяйстве эргативологов, что я и попытаюсь сделать. Существенно, что эта попытка ни в коей мере не является спором о словах: меня интересуют не столько имена (= термины), сколько стоящие за ними понятия, т.е. разграничения и отождествления наблюдаемых явлений. Что же касается терминов, то я постараюсь употреблять их максимально традиционным способом. связи с характером настоящей статьи, я не могу обеспечить даже самый необходимый минимум ссылок; ограничусь указанием нескольких на мой взгляд — наиболее влиятельных, книг и статей за последние 20 лет: Dixon, ed. 1987, Kibrik 1985, Dixon 1979, Plank, ed.1979, Tchekhoff 1978, Catford 1976, Li, ed. 1976, Климов 1973, 1977, Comrie 1973, 1978 — и да простят меня те авторы, которых я нечаянно обошёл.

Аналогичная попытка была предпринята мной ранее, в Mel'čuk 1978 и 1988, Part III. Здесь я повторяю большую часть проведённых там рассуждений — с рядом существенных добавлений и уточнений, но в гораздо более сжатом, а потому — догматичном, виде.

Последнее замечание: мой единственный объект в настоящей статье — это ЭРГАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ как определённая синтаксическая единица. Я не буду говорить здесь об "эргативных языках", поскольку они, по моему мнению, должны быть определены как "языки, в которых преобладает ЭК", т.е. после корректного определения ЭК. Что касается "эргативности", то это выражение я сознательно избегаю, поскольку речь всегда должна идти об эргативности ЧЕГО-ТО, а мне кажется предпочтительным рассматривать непосредственно это "эргативное что-то"; однако мне неизвестно, что ещё может быть эргативным, кроме конструкции или языка 2).

# II. Проблема языка лингвистики.

В рамках предполагаемого обсуждения особое значение приобретает сам используемый метаязык, иначе говоря — язык лингвистики; в частности, я имею в виду систему исходных понятий, в терминах которых может описываться ЭК и другие интересующие нас здесь явления. Однако прежде чем перейти к их формулированию, я хотел бы самым примерным образом очертить характер того лингвистического метаязыка, которым я собираюсь пользоваться. Это удобно сделать, зафиксировав пять следующих принципов.

1) Центральная роль метаязыка. Система точных понятий абсолютно необходима для современной лингвистики. Слегка преувеличивая, я могу сказать, что хороший метаязык для меня равнозначен хорошей лингвистической теории (ср. сходные замечания в Timberlake 1987: 77). Понятное и однозначное описание конкретных языковых фактов невозможно без удовлетворительного метаязыка; особен-

но это верно в области синтаксиса, ибо весьма часто синтаксические явления— в отличие от семантических и морфологических— языковой интуиции непосредственно недоступны. <sup>3</sup>

- 2) АБСТРАКТНЫЙ ХАРАКТЕР ПОНЯТИЙ. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ должны быть достаточно абстрактны; они не зависят от тех или иных особенностей конкретных языков, а определяются только в связи друг с другом и только исходя из логических соображений. Это означает, что с моей точки зрения системы лингвистических понятий следует разрабатывать как логические исчисления. Тогда становится возможным чёткое описание реальных явлений разных языков и достигается их "соизмеримость". Иначе говоря, такое понятие, как, например, 'пассив', должно формулироваться без ссылки на какие бы то ни было особенности конкретных пассивов (семантические, прагматические или какие-либо иные), но так, чтобы, скажем, пассивная трансформация была применима к переходным глаголам, а пассивный глагол был непереходным, и т.п. Определять основной "немаркированный" падеж, т.е. номинатив, следует также без ссылок на другие падежи или какиелибо специфические конструкции: так, чтобы избежать различных - в зависимости от языкового контекста - наименований для сходных по существу единиц (которые, однако, могут УПОТРЕБЛЯТЬСЯ в разных языках совершенно по-разному). Я безусловно предпочитаю, например, говорить "номинатив в такой-то специфической роли", нежели "абсолютив" (этим последним термином как раз обозначают номинатив в особой роли — в роли прямого дополнения или в роли подлежащего исключительно непереходных глаголов).
- 3) Прототипическая ориентация понятий. Всякое лингвистическое понятие должно определяться совершенно чётко, несмотря на то, что в языковой действительности соответствующие явления бывают обычно весьма расплывчаты и имеются многочисленные промежуточные случаи. Поэтому определение должно строиться с расчётом на наиболее "чистое", прототипическое явление, так что другие, менее типичные явления подходят под это определение по аналогии (= по большему или меньшему сходству). Чёткие определения "натягиваются" на весьма нечёткую действительность: таков предлагаемый способ работы с вводимыми понятиями.
- 4) Максимальная общность понятий. Каждое понятие должно быть максимально общим, т.е. покрывать самый широкий класс рассматриваемых явлений. Специальные подклассы этого класса задаются соответствующим термином с ограничивающими модификаторами. Так, в нашем случае понятие (и термин) эргативная конструкция следует определять безотносительно к типу глагола, к сопутствующим морфологическим характеристикам, к сходству или различию оформления других членов предложения и т.д. Все такие факторы могут быть учтены путём добавления уточняющих определений: ЭК при

St. 5 50

经数点分钟

переходном / непереходном глаголе; ЭК, в которой дополнение при переходном глаголе оформляется так же / не так же, как подлежащее при непереходном глаголе; и т.д.

5) Признаковая сущность понятий. Во многих случаях лингвистическое понятие задаётся системой признаков (= features), т.е. множеством условий, которым должна удовлетворять рассматриваемая единица, чтобы её можно было называть соответствующим термином. В прототипическом случае эти условия выполняются все, в менее "чистых" случаях — только часть их. (Эта особенность предлагаемого метаязыка очевидным образом связана с прототипической ориентацией определений.)

Опираясь на указанные принципы, я перейду к введению необходимых понятий. Подчеркну, что я не претендую на авторство все четыре представления фразы (1):

### (1) Петя убил собаку. <sup>4</sup>

Эта фраза выбрана таким образом, чтобы хорошо проиллюстрировать все нужные нам явления, связанные с ЭК.

**М**В: В дальнейшем, хотя для простоты мы говорим о *представ- лениях*, везде имеется в виду только центральная структура каждого представления (каковое состоит из нескольких структур). Иначе говоря, вместо полного СемП приводится только Сем-структура, вместо ГСинтП — только ГСинт-структура, и т.д.

В (2) дано СемП фразы (1)— с точностью до представления грамматических характеристик (не показаны вид, время и наклонение глагола, число существительных) и до коммуникативной организации (не показано деление на тему и рему, не отмечен денотативный статус имён и т.п.). В СемП (2) подчёркнут доминантный узел, т.е. семема, к которой "сводится" описываемое значение ("Убийство — это такая каузация").



СемП (2), являющееся сетью (в математическом смысле термина), может быть записано и на несколько условном русском языке:

- (3) 'Непосредственное физическое воздействие Пети на собаку каузировало то, что жизнь собаки прекратилась'
- Из (3) легко извлекается словарное толкование глагола УБИТЬ (в нужном значении):
  - (4) *Х убивает Y-а* = Непосредственное физическое воздействие X-а на Y-а каузирует то, что жизнь Y-а прекращается. 5

всех из них: многие уже были, так или иначе, предложены другими исследователями и подробно обсуждены. Элемент новизны заключается в том, что здесь все эти понятия рассматриваются в РАМКАХ ЕДИНОГО ПОДХОДА, так сказать, СИСТЕМНО.

### III. Вспомогательные понятия.

Как уже было отмечено, ЭК непосредственно затрагивает все три основные типа представления высказываний: семантическое, синтаксическое и морфологическое представления; она также неразрывно связана с такими понятиями, как "переходность" и "залог" (в частности, с различием "актив" 🔷 "пассив"). Следовательно, для корректного определения ЭК мне понадобится сначала задать принятые уровни представления и определить указанные понятия; это, однако, требует не просто отдельных статей, но, я полагаю, специальных книг. Единственный выход — принять используемые представления (= репрезентации) и нужные промежуточные понятия как постулаты, безо всякого обоснования — хотя, разумеется, в виде строгих определений. Более того, эти репрезентации и понятия могут быть сформулированы только в рамках некоторой достаточно формальной и развитой теории, каковую тоже придется принять в качестве постулата. Я исхожу из главных посылок и формальных средств лингвистической теории "Смысл⇔ Текст" (см., например, Жолковский и Мельчук 1967. Мельчук 1974, Mel'čuk 1988: 43-101); характеризовать эту теорию здесь, естественно, невозможно. Приходится ограничиться схематичным заданием различаемых уровней представления и выписывать определения нужных понятий без должного обсуждения и достаточных объяснений. В результате я вынужден делать большое количество оговорок, а потому — употреблять гораздо больше примечаний, чем это принято для статей подобного типа.

1. Уровни представления высказываний. С точки зрения ЭК нам понадобятся четыре следующих уровня представления языковых высказываний:

- Семантический : Сем(антическое)П(редставление).

- Глубинно-синтаксический : ГСинтП.

Поверхностно-синтаксический : ПСинтП.

Глубинно-морфологический : ГМорфП.

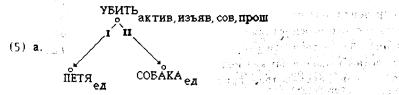
Охарактеризуем каждый из них, используя в качестве примеров Переменные X и Y изображают семантические актанты лексемы УБИТЬ (= аргументы соответствующего предиката).

Формальный язык, на котором записано предложенное СемП, является, грубо говоря, графическим вариантом языка исчисления предикатов (без обязательной квантификации): номера на дугах сети, направленных от предиката к его аргументам, суть номера аргументов.

Примем, что все семантические элементы должны быть выражены в СемП ЕДИНООБРАЗНО, а именно — только узлами, тогда как дуги выражают исключительно предикатно-аргументные отношения. Тогда получается, что "именованных", т.е., семантически интерпретируемых, дуг быть не может. Тем самым, в СемП не существует таких элементов, как 'агенс', 'объект' (или 'пациенс'), 'воспринимающий' и т.п. (столь обычных в работах по проблемам ЭК): это для меня попросту не семантические единицы. В СемП фразы (1) и во всех подобных СемП для них нет места.

Эта существенная особенность охарактеризованного СемП объясняет, почему я не могу, оставаясь в рамках принятого мною подхода, воспользоваться традиционным определением ЭК:8 в нём "Агенс", "Субъект" и "Объект" играют центральную роль, тогда как я не умею придать этим терминам какое-либо чёткое семантическое содержание (впрочем, см. ниже).

ГСинтП фразы (1) — с точностью до коммуникативных сведений — дано в (5):



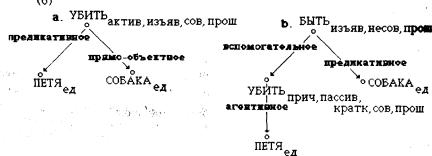
ГСинтП некоторой фразы есть нерасположенное дерево зависимостей, т.е. дерево, на узлах которого не задан линейный порядок. Узлы ГСинтП помечены полнозначными лексемами представленной Фразы, а ветви — символами Универсальных глубинно-синтаксических отношений между этими лексемами; грубо говоря, это актантные (I, атрибутивное (ATTR) и сочинительное (COORD) отношения. Как мы видим, в ГСинтП также нет ни Агенса, ни Субъекта, ни Объекта: эти элементы не являются и глубинно-синтаксическими. Они кажутся мне чисто металингвистическими понятиями, вполне пригодными (и даже весьма удобными) для обсуждения языковых явлений - но совершенно неуместными в какой-либо последовательной системе представ-ЛЕНИЯ высказываний, основанной на семантических разложениях. Подчеркну, что я вовсе не отрицаю возможность придать этим понятиям достаточно точный смысл. Агенс, например, может быть определён как такой-то семантический актант такого-то предиката или каким-либо иным сходным образом; я утверждаю только, что в СемП или в ГСинтП этих элементов быть не может. (Ср. в этой связи замечания в Goddard 1982: 181-182 и подробную дискуссию в Foley & Van Valin 1984: 28 и сл.) зада

Пассивный вариант фразы (1) выглядит на ГСинт-уровне следующим образом:



Технически говоря, для меня пассив — это просто морфологическое выражение конверсного отношения между двумя предикатами. Языковые различия между конкретными активными и пассивными конструкциями намеренно не выражаются в ГСинтП — они релевантны лишь на ПСинт-уровне. (См. Определение 6 ниже.)

ПСинтП фразы (1) и её пассивного варианта: (6)



ПСинтП некоторой фразы также есть нерасположенное дерево зависимостей, узлы которого помечены, однако, всеми лексемами этой фразы (т.е. не только полнозначными, но и служебными); ветви его несут имена конкретных поверхностно-синтаксических отношений, характерных для данного языка. Это отношения типа "сказуемое — подлежащее" (- предикативное), "сказуемое — прямое дополнение" (= прямо-объектное), "предлог — существительное" (= отпредложное), "вспомогательный глагол — знаменательный глагол" (= вспомогательное) и т.д.

ГМорфП фразы (1) и её пассивного варианта:

(7)

а. ПЕТЯ ед. им УБИТЬ актив, изъяв, сов, прош, ед. муж

СОБАКА ед. вин

**b**. СОБАКА<sub>ед, им</sub> БЫТЬ<sub>изъяв, несов, прош, 3, ед, жен</sub>

УБИТЬ прич, пассив, кратк, сов, прош, ед, жен ПЕТЯ ед, твор

ГМорфП некоторой фразы есть (линейно упорядоченная) последовательность имён всех лексем этой фразы, снабжённых всеми морфологическими характеристиками. (Их словарные характеристики — такие, как часть речи, род существительных, модель управления и т.п.,

- хранятся в их словарных статьях и в самих представлениях, в частности в  $\Gamma$ Мор $\phi\Pi$  не появляются.)
- 2. Модель управления. Соответствия между элементами разных уровней, зависящих в тексте от данной лексемы, задаются с помощью так называемой модели управления (МУ). Это один из возможных способов описания диатезы, или соответствия между семантическими и глубинно-синтаксическими актантами данной лексемы: диатеза указана в первой строке МУ. Вторая строка МУ задаёт соответствующий поверхностно-синтаксический актант, а третья строка конкретную морфологическую форму или необхдимый предлог, союз и т.п., реализующие данный ПСинт-актант. Для УБИТЬ (в активе) модель управления имеет следующий вид: 9

X = 1	Y = 11
предикативное	прямо-объектное
S <sub>им</sub>	S <sub>вин</sub>

МУ пассивной формы глагола в словаре, разумеется, не указывается: она получается из исходной (= словарной) МУ по стандартным для данного языка правилам. (См. такое правило, например, в Mel'čuk and Pertsov 1987: 319.)

3. "Особый" элемент каждого уровня представления высказываний. С точки зрения определения ЭК, представляется целесообразным исходить из следующего допущения:

На каждом из указанных уровней представления возможно выделить некоторый "особый" элемент, являющийся в каком-то смысле привилегированным в данном языке L: он обладает свойствами и возможностями, существенными для описания L, которых лишены его собратья.

Я не знаю, насколько универсально это допущение, т.е. применимо ли оно ко всем языкам; я буду предполагать, что его можно принять для очень многих (возможно, даже для большинства) языков. Именно для этих — и только для этих — языков действительны понятия, определяемые в настоящей статье.

35

• На уровне СемП особым элементом является семема 'каузировать'. Эта семема наличествует в смысле огромного количества слов любого языка, в частности — в смысле большинства глаголов, в первую очередь — переходных, которые столь существенны для ЭК. Более того, в очень многих языках она является содержанием особой морфологической категории — каузатива. Наряду с семемсй 'каузировать', для нас будет важен также элемент, выступающий как первый Сем-актант первого Сем-актанта этой семемы, т.е., так сказать, Каузатор: тот, кто совершает каузирующее действие. Так, в (1), Каузатор — это Петя, ибо каузируют смерть собаки именно действия

inirea Gart Rughi Пети. (Заметим, что Каузатор не есть семантический элемент; это метаязыковое понятие того же типа, что Агенс или Пациенс и т.п. Каузатор, однако, определяется семантически совершенно точно.)

- На уровне ГСинтП, особый элемент это ГСинт-актант I. Он объявляется особым, поскольку подлежащее всегда (по определению) соответствует ГСинт-актанту I (хотя обратное и неверне); см. непосредственно ниже.
- На уровне ПСинтП, особый элемент подлежащее. Подлежащее (англ.grammatical/syntactic subject) определяется как наиболее ПСинт-привилегированная NP (= именная группа) данного языка. Более точно, сначала определяется базовое подлежащее прототипическое подлежащее в простейших типовых фразах данного языка L; затем выбираются такие ПСинт-свойства ( $P_i$ ) подлежащего, которые реализуют его "приви-легированность" в L; и, наконец, путём сравнения по ( $P_i$ ) с базовым подлежащим т.е., РЕКУРСИВНО устанавливаются остальные, "небазовые" подлежащие языка L (подход, намеченный в Мельчук и Саввина 1974; см. классическую статью Keenan 1976a, а также Mel'čuk and Savvina 1978, Кибрик 1979, Козинский 1983, Mel'čuk 1988: 160 и сл.). Типичные ( $P_i$ ) подлежащего в различных языках:
- не допускать внеконтекстное (- не эллиптическое) опущение;
- контролировать согласование сказуемого (иногда особый тип согласования);
- допускать сочинительное сокращение с базовым подлежащим (типа Он убил её и [он] ушёл или Он пришёл и [он] убил её);
- контролировать употребление деепричастия;
- контролировать употребление различных синкатегорематических (ориентированных на подлежащее) наречных выражений;
- контролировать употребление возвратных местоимений;
- контролировать "синтаксическое повышение" и "устранение при совпадении" (Raising, Tough -Movement, Equi-Deletion);
- контролировать эллипсис кореферентных местоименных элементов (например, именных классификаторов в языке хакальтек);
- допускать (в отличие от других NP) вставку перед собой фразовых частиц (в частности, вопросительных и восклицательных, как в мальгашском);
- допускать/не допускать при себе те или иные детерминанты (например, слабореферентный артикль he в маори (см. раздел VI.2);
- и т.д. (см. списки таких ( $P_i$ ) в указанных работах). 10

Подчеркнём, что понятия "простейшая типовая фраза" и "привилегированность [синтаксических единиц]", столь важные в наших рассуждениях, сами нуждаются в уточнении. Тем не менее, я считаю целесообразным использовать их, пусть и не в совершенно отчётливом виде: они позволяют усмотреть важные соотношения.

Попросту говоря, подлежащее есть ПСинт-элемент, с помощью которого удаётся компактно и последовательно формулировать ряд правил, описывающих ПСинт-поведение важнейшей именной составля-

ющей фраз в **L** везотносительно к семантической роли этой составляющей. (Аналогичным образом предполагается определять и другие члены предложения: прямое и косвенное дополнения и т.д.)

Определение 1: подлежащее.

Единственная NP в простейших типовых фразах языка  $\bf L$  называется базовым подлежащим. (Если в простейших фразах языка  $\bf L$  появляются NP более чем одного типа, то, прежде чем двигаться дальше, мы должны сравнить их и выбрать из них наиболее привилегированную: она и будет базовым подлежащим. Так обстоит дело в языке ачé.  $^{11}$ )

**Подлежащим** в языке L называется либо базовое подлежащее, либо та NP, которая наиболее похожа на базовое подлежащее порелевантным синтаксическим свойствам  $(P_i)$ .

Определение 1 основано на предположении, что в любом языке найдутся такие ПСинт-свойства (Р;), которые позволят без колебаний выбрать в качестве привилегированной ровно одну NP. Неочевидно. однако, что это предположение верно для всех языков: нет никакой логической необходимости, чтобы все релевантные ПСинт-свойства {Р;} в L характеризовали во всех фразах одну NP; они могут быть как распределены между двумя (или даже большим числом) NP, так и не характеризовать ни одну NP. Многие исследователи утверждают, что именно такое положение имеет место в ряде языков (см. в частности. Schachter 1976, Кибрик 1979 и Foley & Van Valin 1984: 101 и сл.) Я, к сожалению, не имею возможности проверить истинность подобных утверждений: с одной стороны, требуется большое количество фактических данных, которыми я не располагаю; с другой, понятие "субъекта/ подлежащего", как оно используется в имеющихся описаниях, настолько расплывчато, что обычно невозможно понять, что в точности имеют в виду, когда говорят об отсутствии "субъекта/ подлежащего" в том или ином языке. Это, однако, не очень сушественно в данном контексте: Определение 1, как и все прочие определения, предлагаемые ниже, не претендует на абсолютную универсальность. Все они рассчитаны на применение к определенному кругу языков и должны оцениваться только в пределах этого круга. Чтобы обобщить наши определения на языки других типов, не учтённых в настоящей статье, очевидным образом необходима дополнительная работа.

• И, наконец, на уровне ГМорфП, в качестве особого элемента выступает именительный падеж — номинатив.

Определение 2: номинатив.

Номинативом в языке **L** (имеющем падежи) называется тот падеж, который может употребляться вне синтаксического контекста для прямого называния (= обозначения) вещей (например, появляться на этикетках и вывесках, типа "Клубничный джем", "Туалет", "Школа").

Заметим, что при таком определении номинатива, падежа абсолютив быть не может: то, что называют "абсолютивом", есть, по Определению 2, номинатив (быть может, в особой роли).

Указанные четыре элемента — 'каузировать' (и Каузатор), ГС-актант I, подлежащее и номинатив — выбираются в качестве опорных понятий для определения ЭК и родственных явлений. 12

### IV. Эргативная конструкция.

ЭК есть частный случай (синтаксической) предикативной конструкции, т.е. конструкции "подлежащее — сказуемое"; "конструкция" есть понятие поверхностно-синтаксическое; поэтому для нас "ЭК" — также понятие поверхностно-синтаксическое. Следовательно, оно должно существенным образом опираться на выделенный элемент ПСинт-уровня: на подлежащее. (В этом утверждении нет ничего оригинального: большинство исследователей с ним, по-видимому, согласны — хотя и далеко не все. Новшество заключается в его педантично последовательном применении.)

ПСинт-конструкции разных языков различаются, в частности, тем. 1) как в них выражаются элементы Сем-уровня и 2) как их собственные элементы выражаются на ГМорф-уровне. Используя "особые" элементы трёх<sup>13</sup> соответствующих уровней, мы можем построить типологию предикативных конструкций в языках мира (**NB**: исключая, разумеется, те языки, в которых невозможно определить подлежащее). Эта типология основана на следующих двух признаках, один из которых характеризует рассматриваемый язык **L**, а другой — подлежащее рассматриваемой предикативной конструкции с глаголом в некоторой определённой диатезе:

- в данном языке **L** при глаголе данной диатезы подлежащее может выражать каузатора: +/-;
- в данной конструкции подлежащее маркируется

номинативом: + / - .

В результате мы имеем четыре типа предикативных конструкций (в примерах подлежащее выделено полужирным шрифтом).

### Типология предикативных конструкций

1. Подлежащее может выражать каузатора и маркируется номинативом :

र्व , सर्वाक्षिक्य प्रमुख्या स्थल व स्थल व्यक्त स्थल प्रमुख्य राज्यात स्थल स्थल व क्षेत्र स्थल स्थल स्थल स्थल स्थल номинативная конструкция непереходного или активного переходного глагола в языках типа индоевропейских (глаголы обозначают как действия, так и состояния)

ल हे हात्र । हा **भूतिमञ्**य

### (8) Он убил собаку.

2. Подпежащее не может выражать

A series and a series of the s

каузатора и маркируется номинативом

номинативная конструкция в языках типа лезгинского (все глаголы — непереходные, обозначают исключительно состояния или их изменения); номинативная конструкция активного переходного глагола в языках типа аварского (если считать, что подлежащим переходного глагола является NP в номинативе); номинативная конструкция пассивного глагола в языках типа индоевропейских, грузинского, ряда новоиндийских и т.п.

. (9) лезгинский

A + da  $k^h$ ic  $^c + \theta$   $q^c + na$  он ЭРГ собака НОМ умирать АОР 'Он убил собаку', букв. 'Через-него собака умерла'

- $(q^e e - \text{ непереходный глагол}, K^h i c^e q^e e na$  (Собака умерла) есть совершенно полная и контекстно-независимая фраза точно такая же, как её русский перевод).
- 3. Подлежащее может выражать каузатора и маркируется не номинативом:

эргативная конструкция активного переходного глагола в языках типа грузинского, чукотского или непали

(10) грузинский **Man** 3a γl +i он•ЭРГ собака НОМ 'Он убил собаку'.

*mok<sup>c</sup>l +a* убивать АОР.ЗЕД

4. Подлежащее не может выражать каузатора и маркируется не номинативом :

патетивная конструкция активного переходного глагола в языках тина дьирбала<sup>14</sup>

(11) дьирбал

Guda + Ø ba +ŋgu + l balga + n собака ПАТ он ИНСТР убивать ПРОШ СОН убил собаку,

🤝 букв. 'Собака им подверглась-убийству'

(balgal — переходный глагол, означающий, однако, не 'бить/убивать', а 'получать удары / подвергаться убийству'; при этом он не пассивен, ибо имеет свою пассивную форму balga + pay, которая значит 'бить / убивать'!).

Обсуждение того, что именно и почему является подлежащим в примерах (9)-(11), см. в Mel'čuk 1988.

Отметим существенную диссимметрию в предложенной терминологии: тогда как конструкции типа 3 и типа 4 называются по-разному (эргативная ~ патетивная), конструкции типа 1 и типа 2 называются одинаково (номинативная). Это связано с тем, что чисто синтаксически конструкции типа 1 и типа 2 тождественны; их различие лежит на семантическом уровне. Если угодно, их можно различать с помощью модифицирующих прилагательных: переходно-непереходная номинативная конструкция ~ непереходная номинативная конструкция.

Сформулируем, наконец, само определение ЭК.

Пусть имеется предикативная конструкция **К** языка **С** с гла-голом V и подлежащим NP:

 $NP_{n=new} \leftarrow V$ .

Определение 3: эргативная конструкция.

Эргативной конструкцией называется такая предикативная конструкция K, которая удовлетворяет одновременно трём следующим условиям:

- 1) в языке  ${f L}$  подлежащее при глаголе той же диатезы, что и  ${f V}$ , может выражать каузатора;
  - 2) подлежащее конструкции К маркируется не номинативом;
- 3) падеж подлежащего в К не зависит исключительно от собственной семантики подлежащего в данной фразе (от его определённости / неопределённости, партитивности и т.п.), 15 но навязывается либо глаголом его лексемными свойствами и/или его словоизменительной формой, либо семантическим отношением между подлежащим и глаголом.

Как можно видеть, я намеренно не связываю ЭК ни с переходностью глагола, ни с особым падежом подлежащего, ни с оформлением прямого дополнения, как это обычно делается в традиционных определениях ЭК. Определение 3 применимо ко всем предикативным конструкциям (независимо от типа глагола, от падежа подлежащего, от одинаковости/ неодинаковости оформления подлежащего и других членов предложения, и т.д.), тогда как традиционные определения ЭК ограничиваются весьма специальным подклассом предикативных конструкций (конструкции с переходным глаголом, с прямым дополнением, оформленным так же, как подлежащее непереходного глагола, и с подлежащим, оформленным особым образом). Определение 3 допускает гораздо большее разнообразие ЭК, а именно:

ЭК при непереходном глаголе, как в следующих грузинских фразах:

(12) **a**. *Bavš* + *ma icoca* ребёнок ЭРГ пополз

b. Bavš + ma mošarda ребёнок ЭРГ помочился

c. Čaidan + ma i ү i ү i ү i na |idu ү a
 чайник ЭРГ зашумел / закипел

Напомним, что в грузинском языке ЭК обязательна при глаголе в форме, образованной от основы аориста; при формах презенса обязательна номинативная конструкция (т.е. ЭК невозможна). Кроме того, ЭК обычна при переходных глаголах; непереходные глаголы, требующие подлежащего в эргативе, котя и достаточно многочисленные, образуют в грузинском лексически ограниченный класс. Однако в близкородственном мегрельском подлежащего в эргативе требуют вообще все глаголы в аористе, в том числе — все непереходные глаголы. Здесь, таким образом, эргативная конструкция при непереходном глаголе является нормой. (Не в аористе в мегрельском, как и в грузинском, выступает номинативная конструкция.) Эргативная конструкция при формах прошедшего времени непереходных глаголов распространена, например, ещё в пушту.

**18** : Непереходные глаголы в (12) выступают в исходной (= словарной) диатезе; в грузинском подлежащее многих (фактически — подавляющего большинства) переходных глаголов в исходной диатезе выражает каузатора; таким образом, Определение 3 признаёт все конструкции в (12) эргативными.

— ЭК с подлежащим в специальном "эргативном" падеже (эргативе, см. выше), а также в генитиве, обликвусе, инструменталисе и т.д., т.е. не в номинативе, но и не в эргативе:

(13) а. лакский

Uss +il 1u  $+\emptyset$  b +ukka +j брат ГЕН книга(III) НОМ III читать 3 'Брат книгу читает' 16

 b. пушту

 Mā
 makāla
 +Ø
 likəl + a

 Я-ОБЛ
 статья(ЖЕН) ЕД.НОМ
 писал
 ЖЕН.ЗЕД

 'Я статью писал'

с. чукотский

 Tumg + e
 ŋew?+ən jara +k
 pela
 +Ø
 +nen

 друг
 ИНСТР
 жена
 НОМ дом ЛОК
 оставлять АОР
 ЗЕД Суб-ЗЕД Объ

 'Друг жену дома оставил'.

В свете этих фактов было бы более логичным говорить не об ЭК, а просто о "не-номинативной" конструкции, различая затем её подвиды в зависимости от падежа подлежащего: эргативная / дативная / генитивная / инструменталисная / субъективная /... конструкция. Я, однако, не поступаю так, чтобы не порывать слишком резко с устоявшейся традицией.

— ЭК с прямым дополнением в номинативе (совпадающим по падежу с подлежащим при непереходных глаголах), как в грузинском или алюторском:

(14) грузинский

Bavš +0 +ma c<sup>c</sup>eril +0 +i dac<sup>c</sup>er +c

ребёнок ЕД ЭРГ письмо ЕД **НОМ написать АОР.ЗЕД** <sup>(</sup>Ребёнок написал письмо<sup>)</sup>

(15) алюторский

Uлили +  $t entrm{$\Rightarrow$} k$  па +  $n entrm{$\Rightarrow$} svissav$  +  $\emptyset$  +  $\oplus$  п maniwra + n ребёнок МН.ИНСТР 3МН.Суб поставить АОР ЗЕД.Объ палатка ЕД.НОМ  $^\circ$  Дети поставили палатку $^\circ$ .

- ЭК с прямым дополнением в аккузативе (т.е. с дополнением, не совпадающим по падежу с подлежащим при непереходных глаголах), как в кала-лагау-я (язык островов Западного Торресова пролива, известный также как лэнгус):
  - (16) кала-лагау-я

dillo

- a. Garkaz +in na + n gasam +nu 'Мужчина поймал её'. мужчина ИНСТР она AKK поймать ПРОШ
- **b.** Na +∅ mangi +ma 'Она пришла'. <sup>17</sup> она НОМ приходить ПРОШ

Иначе говоря, в кала-лагау-я прямое дополнение, переходное подлежащее и непереходное подлежащее оформляются все три разными падежами. Подобное тройственное различение встречается и в других австралийских языках (Goddard1982:170 и след.); например:

- (17) вангкумара (Mallinson & Blake 1981: 50-51)
  - а. Kana +ulu kalka +ŋa titi + nana. мужчина ЭРГ ударить ПРОШ сука АКК 'Мужчина ударил суку'.
    - b. Kana +ia palu +ŋa мужчина НОМ умереть ПРОШ 'Мужчина умер'.

Главная идея Определения 3, как было указано в разделе **II**, состоит в том, чтобы определить ЭК самым общим образом, а затем различать там, где надо, её специальные подтипы.

В соответствии с Определением 3, в (10) мы имеем образцовопоказательную эргативную конструкцию: а) подлежащее в грузинском языке устанавливается несомненным образом; б) выражение каузатора при переходном глаголе — самая обычная функция грузинского подлежащего; в) эргатив в грузинском также несомненен: он не совпадает формально ни с одним другим падежом. В эргативологической литературе к подобным явлениям применяют термин морфологическая эргативность (чего? Непонятно. Не конструкции же! Именно поэтому я и предпочитаю не употреблять этот термин вообще). В (9) представлена синтаксически самая обычная номинативная конструкция. хотя семантически она не такая, как, скажем, в русском: в ней подлежащее - обязательно не каузатор (оно может выражать носителя свойства или состояния, "некаузирующего" деятеля, подвергающуюся каузации сущность, и т.п.). В литературе об этом часто говорят, как о синтаксической эргативности (термин кажется мне неудачным по той же причине, что и предыдущий). 18

Вопрос об удачности / Целесообразности Определения 3  $^{19}$  должен решаться с точки зрения его экстенсионала:

- 1) Существуют ли конструкции, которые Определение 3 признаёт эргативными, тогда как по каким-либо другим серьёзным соображениям считать их эргативными не следует?
- 2) Существуют ли конструкции, которые Определение 3 не признаёт эргативными, тогда как по каким-либо другим серьёзным соображениям их следует считать эргативными?

В случае положительного ответа хотя бы на один из этих двух вопросов, Определение 3 нуждается в соответствующих уточнениях. <sup>20</sup>

Завершая настоящий раздел, я хотел бы бегло коснуться трёх следующих вопросов: ЭК в языках, не имеющих падежей: ЭК и эргатив(-ный падеж); выбор ЭК в языках, где ЭК выступает наряду с номинативной конструкцией.

- 1) Определение 3 можно обобщить так, чтобы оно было применимо и к языкам, не имеющим падежей. Для таких языков необходимо сначала определить понятие "номинативного косвенного оформления" подлежащих в ГМорфП-е. Под косвенным оформлением подлежащего мы понимаем здесь выражение роли подлежащего с помощью порядка слов, согласования с глаголом-сказуемым или просодии, т.е. любыми средствами, кроме падежной маркировки самого подлежащего; номинативным предлагается называть косвенное оформление подлежащего в базовых фразах. Всякое иное оформление есть неноминативное. Указанные понятия обеспечивают различение номинативной и не-номинативной (= "эргативной") конструкции в беспадежных языках (таких, как абхазский или хакальтек).
- 2) По Определению 3, ЭК не связана с наличием в данном языке эргатива как особого падежа.

Определение 4: эргатив (ный падеж).

Эргативом называется такой падеж, который употребляется исключительно для маркировки подлежащего или агентивного дополнения (а также трансформов прямого дополнения при формах детранзитива, см. ниже, стр. 00).

Таким образом, грузинский падеж на -ma (motxrobiti) или лезгинский падеж на -di /-da есть эргатив, тогда как, например, чукотский падеж на -ta /-te или падеж на -le в непали — это не эргатив, а инструменталис. Эргатив может выступать и вне ЭК (как в лезгинском, см. (9)), а типичная ЭК может пользоваться для маркировки подлежащего и не эргативом (генитивом, как в лакском, обликвусом, как в пушту, или инструменталисом/ локативом, как в чукотском, см. (13)).  $^{21}$ 

3) Полная теория ЭК должна включать обзор факторов, управляющих выбором ЭК в конкретных фразах (в противопоставлении к

возможной в данном языке номинативной конструкции). Здесь я ограничусь простым указанием трёх важнейших типов факторов: семантических, синтаксических и морфологических. ЭК может навязываться:

- СЕМАНТИКОЙ предложения. Например, сознательные, целенаправленные действия требуют ЭК, а несознательные или нецеленаправленные её не допускают; меньшая "агентивность" подлежащего по сравнению с дополнением требует ЭК, а неменьшая её не допускает, ср. примечание 15; бо́льшая / меньшая тематичность подлежащего благоприятствует / препятствует ЭК (т.е., существенную роль играет и коммуникативная организация текста); и т.д.
- СИНТАКСИЧЕСКИМИ особенностями фразы. Прежде всего, очень существенен тип глагола: например, в **L** V<sub>tr</sub> требуют ЭК, а V<sub>itr</sub> её не допускают. Далее, может оказаться релевантным порядок слов: при одном положении подлежащего по отношению к глаголу употребляется ЭК, а при другом нет; и т.д.
- МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ категориями, как-то: временем, видом и/или наклонением глагола (например, в грузинском глаголы в аористе требуют ЭК, в перфекте дативной конструкции, а не в аористе и не в перфекте номинативной конструкции); лицом подлежащего (например, в лакском подлежащее в 3-ем лице требует ЭК, а в 1-ом или 2-ом лице номинативной конструкции); и т.д.

Дополнительное распределение ЭК vs. не-ЭК, обусловленное указанными факторами, называется "расщеплённой эргативностью" (split ergativity или ergative split; см., в этой связи, известную статью Silverstein 1976). <sup>22</sup>

# V. Переходность и залоги.

Чтобы свободно обращаться с понятием ЭК, необходимо также разобраться с понятиями переходности и залога. Дело здесь в том, что определение ЭК существеннейшим образом опирается на понятие подлежащего, а это последнее зависит от понятия залога, которое, в свою очередь, связано с переходностью. (Напомним замечание в начале статьи о проблеме ЭК в маори, где главной трудностью оказывается именно установление основной переходной конструкции и, соответственно, подлежащего.)

Переходность предлагается определять следующим образом. Предположим, что в L чётко различаются по своему чисто синтаксическому и морфологическому поведению два лексических класса глаголов: они допускают/не допускают те или иные трансформации, по-разному согласуются со своими актантами, имеют разные наборы флективных аффиксов <sup>23</sup> и т.д. (Это предположение выполняется не всегда: во многих языках указанные различия далеко неочевидны. Для таких языков необходимы какие-то иные, более тонкие средства различения, которыми я в настоящий момент не располагаю.) МВ: При этом глаголы рассматриваются только в исходной, т.е. Словарной, диатезе: грамматически производные диатезы привлекаются на следующем шаге.

Определение 5: переходный глагол.

Переходными (= V<sub>tr</sub>) называются глаголы того из этих двух лексических классов, который включает подавляющее большинство глаголов языка **L**, имеющих в качестве доминантного компонента своего смысла компонент

'X каузирует, что Y ...'.

Подчеркнём, что данный семантический компонент подразумевает только "подлинную" (= внешнюю) каузацию, т.е. исключает автокаузацию (как в глаголах типа 'вставать', 'сдерживаться' или 'прыгать').

Эти последние глаголы являются базовыми переходными. Вазовый переходный глагол, таким образом, семантически и синтаксически двувалентен.  $^{24}$  Однако среди  $V_{tr}$  того или иного языка нередко оказываются глаголы и не выражающие каузацию: 'превосходить', 'приветствовать', 'воспринимать', глаголы движения (в кечуа) и т.п.; поэтому определить переходность через прямую отсылку к доминантному компоненту 'X каузирует, что Y ...' невозможно.

По Определению 5, переходный глагол — это либо базовый переходный глагол V, означающий 'X каузирует, что Y ...', либо глагол, похожий на V по своим синтаксическо-морфологическим свойствам. Как легко видеть, я определяю переходность таким же методом, как и подлежащее: определение опирается на прототипический случай и является рекурсивным. О переходности см., например, Норрег & Thompson 1980 и Tsunoda 1985.)

Глаголы другого синтаксического класса — **непереходные** ( $=V_{itr}$ ). Среди  $V_{itr}$ , взятых в исходной диатезе, глаголов, смысл которых включал бы — в качестве доминантного — компонент 'X каузирует, что Y ...', как правило, не бывает или бывает очень мало (например, РАБОТАТЬ в русском).

В L могут существовать операции, превращающие — без изменения пропозиционального смысла — (почти) любой  $V_{tr}$  в  $V_{itr}$  тогда как обратное невозможно или, во всяком случае, достаточно редко: при обратном переходе — любой  $V_{itr} \Longrightarrow V_{tr}$  — обычно происходит наращение смысла (в частности, добавляется смысл  $^{c}$  X каузирует, что Y ...  $^{c}$ ).  $^{25}$ 

Наиболее типичные языковые операции, осуществляющие преобразование " $V_{tr} \Longrightarrow V_{itr}$ ", суть залоги (связанные с изменением исходной диатезы глагола) и ДЕТРАНЗИТИВЫ (не связанные с изменением его исходной диатезы).

Определение 6: залог (см. Мельчук и Холодович 1970).

Залогом называется словоизменительная категория, элементы которой маркируют в формах глагола мену диатезы (включая, разумеется, и нулевую мену, т.е. маркировку исходной диатезы)

Поскольку диатеза есть соответствие между Сем- и ГСинтактантами данной лексемы, залог оперирует исключительно на ГСинтуровне. Подчеркнём, что залог не изменяет пропозициональное семантическое содержание (= Сем-структуру) глагольной формы, хотя и воздействует на её смысл, изменяя его семантико-коммуникативную структуру. 26

Определение 7: актив.

**Активом** называется залог, соответствующий лексически исходной<sup>27</sup> диатезе данной глагольной лексемы, т.е. той, которая записана в модели управления данной лексемы в словаре (при условии, разумеется, что у данной лексемы существуют и другие залоги, соответствующие её производным диатезам).

Таким образом, по нашему определению актив есть исходный залог, независимо ни от характера его морфологической маркировки, 28 ни от его синтаксического употребления в конкретном языке, ни от семантического содержания активных форм (которые могут иметь вполне "пассивный" смысл). Актив аналогичен номинативу: как форма в номинативе называет предмет вне синтаксического контекста, просто для его отождествления, так и форма в активе называет действие (событие, процесс, ...) вне синтаксического контекста, служа, тем самым, для его отождествления. Актив коммуникативно нейтрален или, по крайней мере, более нейтрален, чем производные залоги; он, как правило, применяется при отсутствии текстовой обусловленности.

Мыслимые изменения диатезы сводятся к двум операциям:

— Перестановка ГСинт-актантов (= конверсия) относительно семантических актантов; залоги, маркирующие перестановку ГСинтактантов, называются пассивами. Обычно пассив маркирует конверсию непервого ГСинт-актанта с ГСинт-актантом I, а именно — выдвижение непервого ГСинт-актанта в позицию первого ГСинт-актанта (с автоматическим вытеснением ГСинт-актанта I).29 В зависимости от того, какой именно ГСинт-актант выдвигается в позицию ГСинтактанта I, пассив может быть "прямо-объектным" (III⇒I: в русском или французском все пассивы таковы), "косвенно-объектным" (III⇒I: как в английском He was given a book), "инструментальным" или "локативным" (III⇒I или IV⇒I: как в тагальском) и т.д. (Чёткий типологический очерк пассивов в языках мира см. в Keenan 1985; теоретическое обсуждение пассива содержится в Foley & Van Valin 1984: 149-168.) 30

**М**В: Прототипический пассив применяется к переходному глаголу и делает его непереходным. Таким образом, при решении вопроса о том, что именно перед нами: актив или пассив, разумно опираться и на это свойство.

Пассив — всегда производный залог (опять-таки, по определению, каковы бы ни были его морфологическое строение, синтаксическое поведение и семантическое содержание).  $^{32}$ 

При подобном определении пассива термин *антипассив* не может иметь смысла и употребляться не должен. <sup>33</sup>

— Вычёркивание ГСинт-актантов (= супрессия); залоги, вычёркивающие актанты, предлагается называть супрессивами (другое возможное название: имперсоналы). В зависимости от того, какой именно ГСинт-актант вычёркивается, супрессив может быть "субъектным" (I ⇒ Λ: в эстонском), "прямо-объектным" (I ⇒ Λ: как в русском кусаться), "косвенно-объектным" и т.д. <sup>34</sup>

В конкретных языках пассивы и супрессивы могут комбинироваться: тот или иной актант, конвертируемый пассивом, вычёркивается соответствующим супрессивом, т.е. утрачивается вообще. Так обстоит дело с двучленными пассивами семитских языков, где подлежащее, уступив своё место прямому дополнению, обязательно пропадает (арабский пассив, например, не допускает выражения агентивного дополнения).

Залоги выполняют, как правило (хотя и не всегда). КОММУ-НИКАТИВНУЮ ФУНКЦИЮ: В Частности, они позволяют перемещать тот или иной актант в позицию темы (или же данного), делают тот или иной обязательный актант необязательным или даже вообще невыразимым и т.п. В противоположность активу, пассивы и супрессивы (почти) всегда проявляют тенденцию быть коммуникативно нагруженными: их употребление часто диктуется теми или иными текстовыми факторами (= элементами связного текста, действующими за пределами отдельной фразы).

От залога следует отличать близкую к нему грамматическую категорию детранзитива (приложимую только к переходным глаголам).

Определение 8: детранзитив.

Согласимся приписывать каждой ПСинт-роли определённый ранг и располагать их в следующей иерархии:

подлежащее > прямое дополнение > косвенное дополнение

Детранзитивом называется флективная категория, элементы которой маркируют в глаголе понижение в ранге его второго ПСинт-актанта, т.е. его прямого дополнения.

Другими словами, при форме детранзитива ГСинт-актант II (и, разумеется, ГСинт-актант I) остаётся на своём месте, по-прежнему соответствуя тому же Сем-актанту, что и при исходной форме глагола, т.е. диатеза не изменяется. Однако если при исходной форме ГСинт-актант II выражается прямым дополнением (= самым высоким по рангу дополнением), то в форме детранзитива он может выражаться только косвенным или предложным дополнением (= более низким или даже самым низким по рангу, соответствующим понятию сhômeur в реляционной грамматике). Примером здесь может быть русский глагол ругаться с просторечным дополнением на +S<sub>асс</sub>, заменяющим аккузатив при исходной форме ругать (А чего он на меня ругается?). В противоположность залогу, детранзитив оперирует исключительно на ПСинт-уровне.

Детранзитив хорошо представлен в даргинском языке, где он образуется морфологической конверсией и, наподобие залога. меняет коммуникативную организацию высказывания (подлежащее выделено полужирным шрифтом):

(18) **a.** Neš +li gazet +Ø b + čuli sa + r + i

мать ЭРГ газета НОМ НЕОДУЩ читать быть ЖЕН

очен вымер на вазет на помер на поме

Обе фразы в (18) означают 'Мать читает газету'. В (18а) глагол  $\mathbf{CUL}$ - употреблён в исходной форме; он переходный и принимает прямое дополнение в номинативе, с которым его смысловая часть и согласуется (в классе: префикс b-; вспомогательная часть согласуется с подлежащим: суффикс -r-). В (18b) тот же глагол выступает в детранзитиве; поскольку в этой форме он непереходный, его дополнение оформлено не номинативом, а эргативом (иначе говоря, это косвенное дополнение<sup>35</sup>), и глагол согласуется обеими своими частями только с подлежащим. (Ср. сходное явление в кала-лагау-я, раздел  $\mathbf{VI}$ .3.)

Как и залоги, детранзитивы выполняют, прежде всего, коммуникативную функцию.

Особого внимания заслуживает термин *средний залог*: он употребляется во многих разных смыслах и вызывает немало недоразумений. Укажем по крайней мере два его наиболее распространённых употребления.

С одной стороны, нередко говорят о среднем залоге применительно к русским парам типа УЛАДИТЬ • УЛАДИТЬСЯ. Здесь, однако, наблюдается отчётливое смысловое различие: на каузацию. Ср.:

(19) а. Всё уладилось 'Всё начало быть как должно' [как бы само].

**b**. Всё улажено 'Всё каузировано быть как должно' [кем-то].

Форма уладиться по отношению к уладить есть декаузатив; в русском это дериват, не имеющий отношения к словоизменению и, следовательно, к залогам. Применять в этом смысле термин средний залог не следует.

С другой стороны, средним залогом называют явно словоизменительное образование, типа того, что мы находим в древнегреческом языке (см. Barber 1975):

(20) **a**.Loú +ō tà hymátia
мыть ПРЕЗ АКТ ЛЕД АРТ-МН.АКК одежда-МН АКК
'[Я] мою [= стираю] одежды'.

b. Loú +omai tà hymátia
мыть ПРЕЗ МЕД ЛЕД АРТ-МН.АКК одежда-МН.АКК
'[Я] мою [= стираю] свои/себе одежды'.

с. *Loú +omai* мыть ПРЕЗ.<u>МЕД</u>.1ЕД <sup>(</sup>[Я] моюсь<sup>2</sup>.

សំនួងស្រែកនៅជំ

9. 7.51 (1)

13. K. W. S.

HOLD MARKET

فركاء لأرأف بالمتم

F. 350

vs.

Dēió +onto lao +i hup' argei '+on

11:

косить ИМПЕРФ. МЕД. ЗМН люди МН.НОМ через аргивянин МН.ГЕН букв. 'Скашивались люди аргивянами', т.е. 'Аргивяне косили людей'

Здесь медий - безусловно словоизменительная категория, но смещанного характера. В употреблениях типа (20с) интересующая нас форма — это классический рефлексив; в употреблениях же типа (20b) это как бы проявление совсем другой словоизменительной категории: версии. (Элементы этой категории маркируют "предназначенность" действия: 'для себя' 🔷 'для другого' 🔷 'ни для кого'; она хорошо известна, например, в грузинском). Наконец, в (20d) мы видим "настоящее" пассивное употребление (такие конструкции с медием вполне обычны уже у Гомера: Andersen 1989). Благодаря подобным фактам рассматриваемую форму можно называть *средним ЗАЛОГОМ* (= медием ). Таким образом, медий древнегреческого типа для нас - это всё-таки залог, хотя и "не чистый" (пассив + что-то ещё).<sup>36</sup> Необходимо. однако, подчеркнуть, что типичной, базовой функцией древнегреческого медия было не изменение диатезы (= конверсия актантов, столь типичная для наших залогов), а изменение пропозиционального смысла глагола на компонент 'для себя' = 'так что действие обращено на самого деятеля<sup>3</sup> (Pernée 1984). Иначе говоря, в основе здесь СЕМАНТИЧЕСКАЯ категория версии, из которой позже развилась СИНТАКСИЧЕСКАЯ категория залога. 37

VI. Анализ трудных случаев.  $\frac{\partial \Phi(0)}{\partial x} \frac{\partial \Phi(0)}{\partial x} \frac{\partial \Phi(0)}{\partial x}$ 

В заключение я хотел бы рассмотреть три спорных примера, чтобы продемонстрировать, как "работают" на практике предложенные нами понятия. Именно, я обращусь к основным предикативным конструкциям в трёх языках — в дьирбале, маори и кала-лагау-я.

- 1. Дыирбал. Типовая предикативная конструкция с переходным глаголом BALGAL 'ударить/убить' представлена в (21):
  - (21) Bayi yara +Ø bangun dugumbiru balgan этот-ПАТ мужчина ПАТ этот-ИНСТР женщина-ИНСТР ударить-ПРОШ 'Мужчину женщина ударила'.

В Mel'čuk 1979: 33-46 и 1988: 159 и сл. было показано, что в конструкции типа (21) подлежащим является YARA мужчина, NP в особом падеже — патетиве, формально различаемом только у место-имений, имён собственных и нескольких терминов родства. Поскольку в дьирбале в роли подлежащего при глаголе в исходной диатезе не может выступать Каузатор, то рассматриваемая конструкция не является эргативной. Это положение принимается в Polinskaja 1989, где, однако, предлагается считать форму balgan в (21) пассивной; производная форма balga + nay- оказывается тогда активной. Само по себе допущение о морфологической производности актива по отношению к пассиву не является для меня достаточным основанием,

чтобы отвергнуть указанную трактовку (см. примечание 28); тем не менее, я не могу принять её. Дело в том, что форма balgan — переходным глаголам дьирбала,

- BALGAL имеет основообразующий формант -l, тогда как BALGA+ŊAY имеет формант -y (характерный для прочих непереходных глаголов: Dixon 1972: 13, 54);
- BALGAL, как и все переходные глаголы, требует подлежащее в патетиве, тогда как BALGA+ŊAY, как и все непереходные глаголы, допускает подлежащее исключительно в номинативе. <sup>38</sup>

Как мы видели выше (см. **NB** на стр. 21), пассив должен делать переходный глагол непереходным, но не наоборот. В противном случае, абстрактное и тем самым универсальное определение пассива становится невозможным. Поэтому я готов настаивать на предложенном в **Mel'čuk** 1988 описании конструкции (21) как переходной и активной (и, разумеется, исходной — по отношению к конструкции с balga +ŋay).

- 2. Маори. По повой переходных конструкций маори дискуссия продолжается уже скоро 20 лет. Суть спора можно представить примерно так. Сравним две соотносительные конструкции, описанные здесь традиционным способом (Chung 1977, 1978, Полинская 1988):
  - (22) **a.** Ka patu +Ø Ø a Paoa i ngā kurī AOP убить АКТ НОМ АРТ Паоа АКК МН собака <sup>С</sup>Паоа убил собак<sup>3</sup>.
    - b.Ka patu +a Ø ngā kurī e Paoa АОР убить ПАСС НОМ МН собака ЭРГ Паоа 'Собаки были убиты Паоой'

На первый взгляд, тут всё просто: в (22а) представлена исходная активная переходная конструкция, а в (22b) - производная пассивная (подлежащие выделены полужирным шрифтом). Проблема, однако, состоит в том, что пассивные формы (образованные суффиксом -C(i)a, где C — различные согласные) встречаются в маори намного чаще активных: в непервом предложении связного текста пассив от переходного глагола употребляется в 63% случаев - тогда как в английском языке аналогичные пассивы появляются лишь в 7% случаев (численные данные взяты из Полинская 1988). В ряде конструкций пассив обязателен: например, в императиве переходных глаголов (активных переходных императивов в маори практически нет). Это заставляет некоторых исследователей (Sinclair 1976, Gibson & Starosta 1987) пересмотреть описание, представленное в (22), и утверждать, что исходной, т.е., по их мнению, активной переходной конструкцией, является конструкция в (22b); её подлежащее — группа е Paoa, а группа ngā kurī — это прямое дополнение. В таком случае, в (20b) представлена типичная ЭК. (Конструкция же (20а) оказывается тогда одним из "антипассивов": производной непереходной конструкцией.) Эта антитрадиционная точка зрения сводится к трём следующим логически независимым положениям (моё внимание к указанному факту привлёк М. Дьюри):

- 2. 2.9 1) в Ka patu +a ngā kurī e Paoa подлежащее - это е Paoa;
- 2) рати +а есть морфологически исходная форма глагола, а рати производная;
- 3) patu +a есть активная переходная форма, а patu непереходная (т.е., пассивная).

Что касается первого положения, то Chung 1977 убедительно демонстрирует несостоятельность трактовки NP e Paoa как подлежащего, приводя три синтаксические особенности обеих конструкций B (22):

- Только та группа, которая считается подлежащим непереходного глагола при "обычном" описании, может сопровождаться особым неопределенным (или слабореферентным) артиклем he :
  - (23)
    - a. Ka he tangata АОР приходить НОМ некий человек 'Пришёл некий человек'.
      - b. \*Ka patu +0 he tangata i te АОР убивать АКТ НОМ некий человек АКК АРТ [ = этот] собака 'Некий человек убил эту собаку'.
    - c. \*Ka patu + $\emptyset$ ø tangata i te he kurī АОР убивать АКТ НОМ этот человек АКК некий собака 'Этот человек убил некую собаку'.
    - d. Ka patu +Ø . te tangata i te АОР убивать АКТ НОМ этот человек. АКК этот собака Этот человек убил эту собаку

Та группа, которая считается подлежащим при "обычном" описании конструкции (22b) как пассивной, может иметь при себе he, а группа, вводимая падежной частицей е, не может:

(24)

- a. Ka he patu + akurī te tangata АОР убиваты ПАСС НОМ некий собака ЭРГ АРТ человек 'Некая собака была убита этим человеком'.
- **b.** \*Ka patu + a he/te kurī tangata АОР убивать HACC НОМ некий/этот собака ЭРГ некий человек 'Некая/Эта собака была убита неким человеком'.
- Та группа, которая считается подлежащим любого глагола (в том числе – пассивного) при "обычном" описании, может подвергаться эмфатической рематизации с частицей ko, а группа, вводимая падежной частицей  ${\it e}$  , не может:

(25)

- te tangata ka РЕМА НОМ АРТ человек АОР приходить 'Это этот человек пришёл'.
  - b. Ko tangata ka patu +Ø te РЕМА НОМ АРТ человек АОР убивать АКТ АКК АРТ 'Это этот человек убил эту собаку'.

- с. Ко Ø te kurī ka patu +a e te tangata

  оди (от рема ном арт собака аор убивать ПАСС ЭРГ АРТ человек
  и мемпа эта собака была убита этим человеком.
- d. \*Ko e te tangata ka patu +a Ø te kurī

  РЕМА ЭРГ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК АОР УБИВАТЬ ПАСС НОМ АРТ СОБАКА
  СЭТО ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ БЫЛА УБИТА ЭТА СОБАКА.

« **Не су**ществует никакого способа сделать фразу (25**d**) правильной.

- Та группа, которая считается подлежащим любого глагола (в том числе пассивного) при "обычном" описании, может быть кореферентна субъекту целевого выражения с частицей ki te (грубо говоря, инфинитивного выражения), а группа, вводимая падежной частицей e, не может:
  - **a.**Ka haere  $\mathscr G$  he tangata ki te patu  $+\mathscr G$  i te kurī AOP приходить НОМ некий человек ИНФ убить АКТ АКК АРТ собака 'Пришёл некий человек убить эту собаку'.

.75

0

: ';

- **b.** Ka hiahia  $+\emptyset$  Ø te tangata ki te patu  $+\emptyset$  i te kurī AOP захотеть AKT HOM APT человек ИНФ убить AKT AKK APT собака "Захотел этот человек убить эту собаку".
- c. Ka tono +aeiaØtetangataAOP послать ПАССЭРГ онНОМ АРТ человек<br/>ki tepatu +ØitekurīИНФубитьАКТ АКК АРТ собака\*Был послан им этот человек убитьэту собаку\*.
- d. \*Ka hiahia +tia e te tangata ki te patu +Ø i te kurī AOP захотетыПАСС ЭРГ АРТ человек ИНФ убить АКТ АКК АРТ собака (букв.) 'Захочено этим человеком убить эту собаку'.

Ср., однако, совершенно правильную фразу (26е) с союзом *kia* (чтобы):

e. Ka hiahia +tia e te tangata kia patu +Ø i te kurī AOP захотетыПАСС ЭРГ АРТ человек чтобы убить АКТ АКК АРТ собака (букв.) 'Захочено этим человеком, чтобы (он) убил эту собаку'.

Таким образом, группа, вводимая падежной частицей e (= агентивное дополнение), не имеет существенных свойств подлежащего и, следовательно, не должна считаться таковым. Группа же **nga kurī** в (22b), не имеющая эксплицитного маркера, обладает ими всеми; это и есть подлежащее.

Полученный результат не позволяет, однако, автоматически отвергнуть второе и третье положения антитрадиционного подхода: даже если признать **nga kurī** подлежащим, то всё равно можно утверждать, что в (22b) представлена морфологически исходная (-базовая) активная форма, означающая примерно подвергаться убийству; иначе говоря, эта форма может быть приравнена — в том. что касается её диатезы, — к базовым активным формам дьирбала. Оба положения необходимо рассмотреть отдельно.

ાકામાં પ્રાથમિક

or to suit

34

See

Второе "антитрадиционное" положение (рати + а есть морфологически исходная форма, а рати образуется от неё усечением) неприемлемо для меня уже потому, что рати + а содержит очевидный, и притом продуктивный, суффикс (как показано в Hale 1973). Я не могу трактовать форму, содержащую отчётливый словоизменительный аффикс, как морфологически исходную: моё основное предположение в этой области состоит в том, что только простейшая фрома основы, лишённая всех словоизменительных аффиксов, может храниться в словаре, т.е. считаться исходной.

Что касается третьего "антитрадиционного" положения, то чтобы отвергнуть трактовку patu +a как переходной (активной) формы, я обращусь к тому же аргументу, который я использовал выше при разборе исходных активных форм дьирбала: patu +a не может считаться переходной формой, поскольку её подлежащее ведёт себя, как подлежащеее непереходного глагола в маори (и совсем не так, как подлежащее переходного глагола). В частности, подлежащее формы patu +a принимает слабо референционный артикль he, см. (23).

Итак, форма patu +a — производная и непереходная; её подлежащее обозначает пациенса, т.е. перед нами — типичная пассивная форма. В (22) мы имеем обычную номинативную конструкцию при пассивном глаголе.

Тем не менее, остаётся проблема нашей характеристики пассива как обычно коммуникативно нагруженного залога (см. выше, перед Определением 8, стр. 22). Совместимо ли эта характеристика с гипертрофированной частотой пассива в маори? Я полагаю, что да; вот возможные доводы (заимствованные из Полинская 1988):

- В первом предложении текста в маори всё-таки преобладает актив: 75% случаев при переходном глаголе.
- С нереферентным/неопределённым дополнением пассив обязателен (из-за невозможности употреблять при дополнении нужный артикль he).
- Пассив необходим для тематизации дополнения (инверсия дополнения в маори невозможна).
- Пассив позволяет выразить "дополнительное утверждение о том, что изменение/сохранение состояния неагентивного партиципанта ... в данном положении вещей значимо" (Полинская 1988: 34).
  - Пассив необходим в императиве.

Тем самым, очень высокая частота пассива в маори не противоречит его коммуникативно маркированному статусу. Ср. интересное обсуждение исходного (= базового) характера актива в мальгашском языке, где пассив, будучи производным и коммуникативно более нагруженным, тоже употребляется намного чаще актива: Кеепап 1976b. (Морфологически, как уже было сказано, пассив в маори тоже маркирован: он имеет суффикс-C(i)a, противопоставленный нулевому суффиксу актива.)

3. Кала-лагау-я (= Western Torres Strait Island language). В статье Bani & Klokeid 1976 описано любопытное явление, которое ав-

торы назвали "переброской эргатива" (ergative switching; я принимаю без обсуждения ту трактовку конструкции, которую предлагают авторы, опуская для простоты несущественные в нашем контексте детали, но заменив "эргатив" на "инструменталис", ибо этот падеж не является "чистым", несовмещающим эргативом). В обычных переходных предложениях кала-лагау-я обязательна эргативная конструкция (с прямым дополнением в номинативе и с подлежащим в инструменталисе), ср. (27):

(27) Garkaz +in galas +Ø palgapal +an мужчина ИНСТР стекло НОМ разбить НЕ-БУД(ущее) 'Мужчина разбил стекло'.

Однако если прямое дополнение— не местоимение и не имя собственное, для данной фразы возможно и другое построение:

> (28) Garka +Ø galas +in palgapal +i мужчина НОМ стекло ИНСТР разбить НЕ-БУД "Мужчина разбил все стёкла".

В (28) подлежащее остаётся подлежащим, но глагол становится непереходным (это ясно видно по его суффиксу не-будущего времени -i: это суффикс непереходных глаголов); поэтому подлежащее стоит в номинативе. Прямое дополнение же, оставаясь дополнением, перестаёт быть прямым: оно становится косвенным и маркируется инструменталисом — вместо подлежащего (т.е. инструменталис как бы перебрасывается от подлежащего к дополнению; отсюда и термин, предложенный авторами). Между (27) и (28) имеется интересное семантическое различие: (28), но не (27), предполагает, что действие охватывает все мыслимые в данной ситуации объекты, так что (28) означает примерно перебил все стёкла. Как же описывается охарактеризованное явление в наших терминах?

Ответ ясен. В (28) представлен детранзитив, очень напоминающий то, что наблюдается в даргинском (пример (18)) и в чукотском (примечание 3). Как и в даргинском (но в отличие от чукотского), он образуется без аффикса — морфологической конверсией. Однако в отличие и от даргинского, и от чукотского, детранзитив в кала-лагау-я добавляет к смыслу глагола семантический компонент все мыслимые в данной ситуации [объекты]. О "переброске эргатива (инструменталиса)" говорить применительно к рассмотренному явлению не следует (разве что в качестве "художественной" метафоры).

#### БЛАГОДАРНОСТИ

Первые наброски настоящей статьи были прочитаны Ю.Д. Апресяном, М.Я. Гловинской и Л.Н. Иорданской. Последующие варианты читали и обсуждали со мной Ю.Д. Апресян, А.Вежбицкая, Р. Диксон, М. Дьюри, Л.Н. Иорданская, Н.В. Перцов, М.С. Полинская, Л. Стёрлинг, В.С. Храковский, Ю.А. Шиханович и Н. Эванс.

Я от души признателен этим лицам за советы и замечания. Во всех промахах и возможных ошибках виноват, разумеется, я один.

- \* Эта статья была написана во время моего пребывания в Университете штата Калифорния в Лос Анджелесе (UCLA) и в Мельбурнском университете (Австралия) пребывания, которое стало возможным благодаря стипендии Гуггенхеймовского Фонда на 1990. Пользуюсь случаем выразить мою искреннюю признательность руководству названного фонда, а также администрациям кафедр лингвистики UCLA и Мельбурнского университета, обеспечившим мне прекрасные условия для работы.
- 1 A начался он с книжки Бокарёв 1950, которую я бережно храню до сих пор.
- <sup>2</sup> В выражении *эргативный падеж* прилагательное *эргативный* обозначает не характеристику падежа, а его имя: ср. \*эргативность падежа [эргативный падеж = эргатив].
- 3 Любопытно, что в своей обобщающе-установочной статье Dixon 1987 Р. Диксон уделяет особое внимание "эргативной" терминологии, убедительно, на мой взгляд, критикуя такие распространённые употребления, как \*эргагивный глагол в смысле каузативный глагол' (в случаях типа англ. He opened the window, в отличие от The window opened ) или \*антипассив в смысле 'оператор, понижающий синтаксический ранг прямого дополнения (= делающий его косвенным] (как в чукотск. Ekək əpa +ta ine +tt?e +g?i 'Сын [НОМ подлежащее] суп [ИНСТР - косв. дополнение] налил', где префикс ineделает глагол непереходным, в отличие от Ekke +te əpa +na t?e +nin <sup>ч</sup>Сын [ИНСТР — подлежащее] суп [НОМ — прямое дополнение] налил<sup>ч</sup>). По поводу частых отклонений от разумно обоснованной терминологии, которые, как правило, называют "небольшими", Диксон ехидно спрашивает: "Можно ли считать небольшим отклонением употребление термина в обратном смысле? Небольшое ли отклонение - называть гласные согласными?" (стр. 13, сноска 5). — Ср. попытку разработки достаточно формального метаязыка для морфологии в **Mel'čuk** 1982.
- 4 Глаголы, означающие 'убивать', охотно используются в работах по проблемам ЭК не из-за садизма авторов, а лишь потому, что в силу своей семантики (отчётливая каузация отчётливого изменения состояния), они оказываются весьма удобными в качестве иллюстраций. Напомним, что эту традицию начал в современной лингвистике один из её создателей. Э. Сэпир: в основу его изложения лингвистики положена знаменитая фраза The farmer kills the duckling 'Крестьянин убивает утёнка'. Ср. иерархию переходности у Т. Цунода (Tsunoda 1985: 388), где глаголы со значением 'убивать' находятся на первом месте. Глаголы со значением 'бить/ударять', также часто используемые в качестве иллюстраций, далеко не столь удобны (Tsunoda 1985: 387).

<sup>5</sup> Данное толкование является очень приблизительным; см., в

частности, Wierzbicka 1975, где хорошо обоснована необходимость включить в толкование глагола KILL: компоненты, фиксирующие "единство времени и места". Для наших целей, однако, приведённое толкование представляется вполне достаточным, и я не хотел бы усложнять его во имя ненужной здесь правды.

- 6 Более удобным, как я полагаю, для лингвистической семантики благодаря отсутствию линейного порядка и большей удалённости от синтаксиса естественных языков.
- <sup>7</sup> Имеются ещё два соображения, по которым "агенс", "объект" и т.п. не должны трактоваться как семантические единицы особого рода (как этикетки на дугах СемП, или "семантические роли").
- 1) Действительно, если, например, "агенс" есть семантическая единица, то тогда это бинарное отношение 'Х есть агенс Y-а', каковое должно иметь свои собственные аргументы, связи между этим отношением и его аргументами, в свою очередь, должны быть этикетированы какими-то семантическими единицами, а те снова окажутся бинарными отношениями со своими аргументами, и т.д., ad infinitum. Прекратить эту бесконечную регрессию можно только произвольным заданием шага, на котором предлагается остановиться.
- 2) Число и состав таких этикеток, а также их семантическую природу установить убедительным образом пока не удаётся. См., в частности. Mel'čuk 1988: 88-89.

8 Будет, возможно, нелишним привести здесь наиболее принятое определение эргативности (не ЭК!), которое можно взять, например, из недавней статьи **Dixon** 1987:2 [перевод мой — И.М.]:

Будем говорить, что данный язык обладает свойствами эргативности, если в нём на некотором уровне непереходный субъект трактуется так же, как переходный объект, но не так же, как переходный объект.

9 В опубликованных словарных статьях используется сокращённая запись модели управления: отсутствует вторая строка, которая, строго говоря, является избыточной.

- 10 Пользуясь подобными свойствами, необходимо, однако, помнить, что в данном языке некоторые из них могут оказаться семантическими, а не синтаксическими. Так, в ряде языков употребление возвратных местоимений контролируется существительным N, обозначающим деятеля, независимо от собственно синтаксической роли этого N. Разумеется, в таком случае пользоваться данным свойством для определения подлежащего не следует.
- 11 Подобная ситуация в действительности хорошо известна: в ряде языков активного строя (Климов 1977), при непереходных глаголах возможны два типа **NP**; одна обозначает Деятеля, который что-то делает, а другая Пациенса, с которым что-то случается. Аче́

 (Индонезия; см. Durie 1987) даёт очевидиче примеры этого явления: взя още (i) а. Gopnyan geu + jak /gwjak/ Он(а) идёт?
 он(а) зл. идти ус.

 эсля он(а) ус.
 он(а) зл. идти ус.

 ыб да.
 он(а) тадает?

 он (а) зл. идти ус.
 он (а) зл. идти ус.

 ы. Gopnyan rhët /rhet/ Он(а) падает?
 за дает?

Который из двух членов предложения: Деятель или Пациенс — является здесь базовым подлежащим в смысле Определения 1? В (i-а), Деятель обязательно выражен префиксом в глаголе, в (i-b) Пациенс не выражен (он может, но не должен, выражаться суффиксом). Поскольку именно Деятель, и только Деятель, обусловливает обязательное префиксальное согласование глагола-сказуемого, я рассматриваю именно его как базовое подлежащее.

При переходном глаголе различие Деятеля и Пациенса сохраняется (Деятель выражен префиксом, а Пациенс не выражен):

- c. Gopnyan geu +mat lôn 'Он(а) держит меня'. All albanda oh(a) 3л. держать я vs.
- d. Lôn lôn + mat gopnyan (Я держу его/её). Зёт качаной городом Таким образом, в языке типа аче Определение 1 выберет в качестве подлежащего ту составляющую, которую Дьюри называет Деятелем. (Заметим, что в аче подлежащее сильно мотивировано семантически: им бывает почти всегда только сознательный, целесообразный агент.)

Очень похоже обстоит дело в лакота (сиуанская семья, США; см. Foley & Van Valin 1984: 41 и сл.).

12 В связи с указанными "особыми" элементами нередко возникает вопрос об их универсальности: существуют ли все они непременно во всех языках, т.е. являются ли они логически необходимыми? Ответ кажется мне самоочевидным: нет, не являются. Про номинатив это ясно сразу: существует немало языков, вообще не знающих падежей, а тем самым и номинатива. (Однако в языке с падежами номинатив имеется всегда!) Представить себе язык, в котором семантический элемент 'каузировать' не играл бы особую роль, мне трудно; тем не менее, я не вижу, почему подобная роль этого элемента должна быть логической необходимостью. И, наконец, подлежащее: как было только что сказано, наличие в языке одной привилегированной NP логической необходимостью бесспорно не является. Вопрос о существовании бесподлежащных языков (сугубо эмпирический, по моему мнению) ставится снова и снова; убедительный ответ мне до сих пор не известен. Тем не менее, каков бы он ни был, это никак не повлияет ни на суть, ни на форму наших построений в данной статье. предлагаемые понятия не применимы в языке без подлежащего. (Несомненно, однако, что в одних языках ПСинт-отношения гораздо более важны, чем в других. В этих последних подлежащее, если оно и есть, играет менее привилегированную роль, чем в языках первого типа. В таких "несинтаксичных" — или "слабо синтаксичных" — языках строение фразы определяется в гораздо большей степени и гораздо прямее семантическими ролями различных NP. См. Кибрик 1979 и Folev & Van Valin 1984: 108 и сл.)

13 Четвёртый уровень - ГСинтП - не релевантен для самой ЭК; он становится существенным при определении понятия залога, которое, в свою очередь, необходимо для ясного понимания сути ЭК.

14 Понятие патетивной конструкции: подлежащее не может выражать каузатора и само выражается не номинативом — было введено в Mel'čuk 1978 и позже развито в Mel'čuk 1988. — Любопытные примеры патетивной конструкции при пассивном глаголе известны в библейском иврите (Keenan 1976: 331, (41)):

(i) we ?EO ho ?oh lěfonow měvo?orεθ

и АКК АРТ жаровня (ЖЕН.ЕД) перед-ним разжечь-ПРОШ.ПАСС.ЖЕН.ЕД букв. 'И жаровню перед ним была разожжена',

где подлежащная NP ?є в ho ?oh, контролирующая согласование сказуемого, маркирована аккузативом.

Подлежащее в патетивной конструкции может быть выражено СПЕЦИАЛЬНЫМ падежом — **патетивом**, не имеющим других функций; так обстоит дело в дьирбале, где этот падеж никогда не маркирует прямое дополнение и потому не может считаться аккузативом (в рамках предлагаемого описания прямого дополнения в дьирбале нет вовсе). В то же время, подлежащее патетивной конструкции может быть маркировано и каким-либо "обычным" падежом, употребляющимся и в'иных ролях, в частности, аккузативом — как в примере (i).

15 Данная оговорка необходима, чтобы исключить случаи типа употребления финского партитива (вместо номинатива) для выражения "неполной охваченности действием", "неопределённости" и т.п.:

(і) финский

Leipä +Ø on pöydällä хлеб ЕД.НОМ есть на-столе <sup>ч</sup>Хлеб [определённый] лежит на столе<sup>ч</sup>.

VS.

Leipä +ä on pöydällä ЕД.ПАРТ есть на-столе 'На столе есть хлеб [неопределённый]'.

b. Auto ovat автомобиль МН.НОМ быть-ПРЕЗ.ЗМН на-улице 'Автомобили (определённые) находятся на улице'. VS.

Kadulla on auto +ia на-улице быть-ПРЕЗ.ЗЕД автомобиль МН.НОМ 'На улице — автомобили [неопределённые]'.

Определение 3 не исключает, однако, из понятия ЭК те случаи, когда не-номинативная маркировка подлежащего мотивирована семантически, но не субстантивным значением самой подлежащной NP (в данном контексте), а глагольным значением типа (сознательно контролирует действие [выраженное глаголом]. Так, например, в цова-тушинском (Holisky 1987) подлежащее 1-го или 2-го лица

маркируется эргативом, если действие совершается сознательно и целесообразно, и номинативом, если оно непроизвольно или случайно:

(іі) цова-тушинский

**a.** (**As**) *vuiž* +*n* +*as* Я-ЭРГ падать АОР ІЕД...АГЕНТ

'Я бросился [на землю <на пол, ...> Р. на выс

vs.

**b.** (So) vož +en +s Я-НОМ падать АОР ГЕД.ПАЦ 'Я упал'.

[vuiž и vož суть аллонорфы одной и той же корневой морфемы.] 🗆 🖂

Конструкция, представленная в (ii-a), трактуется нашим определением как эргативная.

Совершенно так же обстоит дело с подлежащим непереходного глагола в восточном помо (Калифорния; Foley & Van Valin 1984: 95-97. (В статье Dixon 1979 указанное явление названо "переменной (= fluid) маркировкой подлежащего непереходного глагола".)

Ограничитель 'исключительно' необходим в связи с тем, что лексическое значение подлежащной NP может играть роль при выборе между эргативной и номинативной конструкциями. Именно, в ряде языков не-номинативная маркировка подлежащего применяется в случаях, когда подлежащее семантически менее "агентивно", чем дополнение, т.е. для выражения смыслов типа 'Камень поранил мальчика' или 'Меня щекочет муха' (Для выражения смыслов 'Мальчик раздробил камень' или 'Я убил муху' используется номинативная конструкция.) Ср.:

(ііі) кунгаракань (Австралия)

a. Wawak + Ø lirrmi + Ø pirr + pu + m
 pебёнок НОМ собака НОМ ЗМН.Суб-ЗЕД.Объ ударить ПРОШ.ПЕРФ
 \*Дети ударили собаку\*.

VS.

**b.** *Pamup* +arrak *lirrmi* +Ø Ø +pu +m автомобиль **АБЛ** собака **HOM** ЗЕД.Суб-ЗЕД.Объ ударить ПРОШ.ПЕРФ 'АВТОМОбИЛЬ Ударил [= сбил] собаку'.

Таким образом, здесь семантика подлежащего существенна, но не сама по себе, а в сравнении с семантикой дополнения. (На соответствующие факты мне указал Ник Эванс; он же снабдил меня примерами из языка кунгаракань.)

16 Интересно отметить, что если лакское подлежащее выражено местоимением 1-го или 2-го лица, то оно должно быть в номинативе, т.е. для таких местоимений применима только номинативная конструкция. Например:

(i) Na lu  $+\emptyset$  b +ukka +ra 'Я книгу читаю', я-НОМ книга(Ш) НОМ III читать 1ЕД где обязательно выступает номинатив Ha, а не генитив TTYM.

17 В кала-лагау-я (во всяком случае, в соответствии с доступными мне описаниями) особую форму аккузатива имеют только местоимения 1го/2-го лиц и имена собственные (плюс те имена родства, которые употребляются как обращения). Можно, однако, задаться следующим вопросом: не имеют ли также и имена нарицательные свой аккузатив. форма которого всегда совпадает у них с формой номинатива? Интересная статья Comrie 1981 позволяет как будто заключить, что это так: имя нарицательное (в своей исходной, "нулевой" форме) может сочиняться в кала-лагау-я с аккузативной формой местоимения или имени собственного. Ср. (i):

(i) [= (76) B Comrie 1981: 21)

Burum +an

CBIHDA HICTP

 Кала АКК проета
 A кала АКК проета
 на тоедіпаках + в такнатовта
 такнатовта

 проета
 на тоедіпаках + в такнатовта
 на тоедіпаках + в такнатовта

 проета
 на тоедіпаках + в такнатовта
 на тоедіпаках + в такнатовта

 проета
 на тоедіпаках + в такнатовта
 на тоедіпаках + в такнатовта

 проета
 на тоедіпаках + в такнатовта
 на тоедіпаках + в такнатовта

 проета
 на тоедіпаках + в такнатовта
 на тоедіпаках + в такнатовта

 проета
 на тоедіпаках + в такнатовта
 на тоедіпаках + в такнатовта

\*Свинья ударила { Калу меня } и мальчика\*.

В то же время, имя нарицательное в эргативном падеже сочиняться с именем собственным в форме номинатива не может (что исключает предположение об омонимичности этой последней формы с формой эргатива):

(ii) [= (77)-(78) B Comrie 1981: 21)

**a.**Kala + Ø a moeginakaz + Ø /\*in burum + Ø mathaman Кала НОМ и мальчик НОМ/ИНСТР свинья НОМ [АКК?] ударить-ЕД-ПРОШ "Кала и мальчик ударили свинью".

**b.** Ngay /\*Ngath a Kala + Ø burum + Ø mathaman Я-НОМ /Я- ШНСТР и Кала НОМ свинья НОМ (АКК?) ударить-ЕД-ПРОШ 'Я и Кала ударили свинью'.

Указанные факты подталкивают меня к выводу, что аккузатив есть у всех субстантивов кала-лагау-я (как патетив в дьирбале — см. Mel'čuk 1988: 180-181), а инструменталис — не у всех (похоже, что имена собственные его не имеют). Не имея возможности убедительно ответить на поставленный вопрос, я пользуюсь случаем, чтобы привлечь внимание к весьма часто допускаемому смешению падежа с формой падежа. (Эта проблема упоминается также в примечании 22.)

18 Оба термина — морфологическая эргативность и синтаксическая эргативность — имеют ещё один существенный недостаток. В (10) нет ничего особенного с точки зрения чистой морфологии: специфика здесь — в маркировке именно синтаксических ролей, т.е. речь должна идти скорее о синтаксической эргативности (тем более, что в языках без падежей роль подлежащего маркируется не морфологически). Напротив, в (9) вся "необычность" заключена не в синтаксисе, который здесь вполне тривиален, а в семантике, точнее, в выражении семантических ролей синтаксическими актантами. Здесь более уместным представляется термин семантическая эргативность.

<sup>19</sup> Истинным или ложным определение не может быть по своей природе.

20 Пример возможной трудности для Определения 3 даёт берберский язык. Действительно, Определение 3 признаёт его предикативную конструкцию эргативной, тогда как специалисты, насколько я могу судить, никогда не рассматривали её так. В берберском подлежащее, находящееся в нейтральной позиции — непосредственно за глаголомсказуемым, маркируется косвенным падежом (= обликвусом; см. Вафег and Kenstowicz 1987):

amšiš 'Собака съела кошку'. (i) Ičča weažun съесть-АОР собака-ОБЛ кошка-НОМ Pare & aqžun 'Кошка съела собаку'. wemšiš \*\*\*\*\*\* (ii) Ičča съесть-АОР кошка-ОБЛ собака-НОМ (iii) Yenz wemšiš / wegžun продаваться-АОР кошка-ОБЛ / собака-ОБЛ 'Кошка/Собака продана'.

(Более традиционное название этих падежей — "свободное/связанное состояние": по существу же эти формы суть обычные падежи.)

Поскольку берберское подлежащее может выражать каузатора, то с точки зрения Определения 3 в (i)-(iii) представлена типичная ЭК. Мне, к сожалению, неизвестны доводы ни за, ни против такой трактовки.

21 Данное определение эргатива нуждается в ряде уточнений. Так, если подлежащее выражается двумя разными падежами, отличными от номинатива, то эргативом следует называть падеж, маркирующий подлежащее-Каузатора; другой подлежащный падеж называется тогда субъективом. Открытым остаётся вопрос о падеже на -ga в японском языке или о падеже, вводимом частицей ang в тагальском: разумно ли называть его эргативом?

22 Обсуждение "расщеплённой эргативности" нередко осложняется тем, что авторы не различают понятия "падеж" и "форма падежа", смешивая совпадение падежных форм (= омонимию разных падежей) с отождествлением самих падежей. Так, неправильно говорить, что в грузинском языке местоимения 1-го и 2-го лиц не различают номинатив и эргатив: местоимение те "я", например, имеет и тот, и другой падежи, хотя их формы тождественны. Обсуждать здесь соответствующую проблему, разумеется, невозможно. Я ограничусь сформулированным предупреждением. См. Wierzbicka 1981: 51-52, Mel'cuk 1986: 66 и сл. и в особенности Goddard 1982

23 Так. в киче (семья майя) глаголы одного класса имеют показатель сказуемости -ik (или -oq в императиве), а другого - -o/-u (или -a?/-o?/-u? в императиве); первый класс - это непереходные глаголы, второй - переходные. В новогвинейском пиджине все переходные глаголы (и только они) имеют суффикс -im (< англ. him): bagarap +im чиспортить, bruk +im чсломать, har +im чслышать, harhar +im чвнимательно слушать, tan +im чповернуть и т.д.

24 Определять переходность семантически оказывается неудобно, поскольку семантически эквивалентные глаголы разных языков часто различаются по переходности/ непереходности:  $V_{tt}$  оперировать кого vs. англ.  $V_{itt}$  operate upon someone,  $V_{tt}$  благодарить кого vs. нем.  $V_{itt}$  danken wem [DAT], фр.  $V_{tt}$  aider qqn vs.  $V_{itt}$  помогать кому. фр.  $V_{tt}$  suivre qqn vs.  $V_{itt}$  следовать за кем, англ.  $V_{tt}$  observe someone vs.  $V_{itt}$  наблюдать за кем; во многих языках глаголы восприятия непереходны; в кечуа переходны все глаголы движения; и т.д.

25 Не следует, однако, полагать, будто переход  $V_{itr} \Longrightarrow V_{tr}$  без изменения смысла невозможен в принципе. Теоретически ничто не мешает существованию "асемантичной" транзитивации двухактантных непереходных глаголов (такая транзитивация затрагивает, разумеется, коммуникативную структуру глагольного смысла). Насколько я могу судить, "асемантичная" транзитивация наблюдается, например, в белла-кула (Зап. Канада; Davis & Saunders 1989):

+tx2ut  $ti + nus ? \overline{u} | \chi + tx$ наброситься ЗЕД. Суб АРТ мужчина АРТ APT BOD APT на 'Мужчина набросился на вора [предложное дополнение]'. ti +2imlk nu λ ⊆ +m+ is +tx $ti + nus ? \tilde{u} l \chi + tx$ наброситься ТРАНЗ ЗЕД. Суб-ЗЕД.06ъ АРТ мужчина АРТ АРТ вор APT <sup>4</sup>Мужчина атаковал вора [прямое дополнение]<sup>3</sup>.

(8)10

Аналогичное явление наблюдается ещё и в индонезийском: Ali duduk di-kursi itu 'Али сидит на стуле' ~ Ali menduduki kursi itu 'Али сидит на стуле' [как бы 'Али занимает стул']. В этих и других аналогичных случаях происходит Повышение ПСинт-ранга косвенного или предложного дополнения: оно становится прямым (ср. ниже, стр. 00: детранзитив. понижающий ранг прямого дополнения). При условии, что указанная операция семантически и формально достаточна регулярна в L, здесь можно говорить о словоизменительной категории транзитива.

26 Залоги породили колоссальную литературу, не менее богатую, чем литература по эргативной конструкции. Я ограничусь и здесь несколькими ориентирующими ссылками: Холодович, ред. 1974, Barber 1975, Храковский, ред. 1978, 1981, Keenan 1985, Li, ed. 1976, Shibatani 1985, Postal 1986, Shibatani, ed. 1988, Haspelmath 1988.

27 Я не могу обсуждать здесь выбор лексически исходных диатез; подчеркну лишь, что это — задача, никак не зависящая от проблемы ЭК. В принципе, выбор делается лексикографом на основе рассмотрения всей словарной информации данной лексемы. (В данной точке чётко

выражается лексикографическая ориентированность теории "Смысл⇔Текст".)

28 Поскольку залог - это словоизменительная категория, то (в соответствии с самим понятием словоизменительной категории) актив и пассив всегда морфологически маркированы оба. Однако в некотором расплывчатом смысле, пассив, как правило, маркирован "больше", т.е. он "более производен", чем актив, форма которого появляется в словаре. Так, актив маркируется нулевым аффиксом, а пассив - ненулевым (латынь); актив выражается единой формой, а пассив маркируется специальной аналитической конструкцией (английский); пассив маркируется одним стандартным трансфиксом -u-i-, тогда как актив имеет три разных лексически обусловленных трансфикса: -a-a-, -a-i-, -aи- (арабский; в словаре необходимо, следовательно, записывать именно актив). Единственный противоречащий пример, известный мне. - это яванский актив типа dak +tuku 'покупать', маркированный ненулевым префиксом, при пассиве # +tuku быть покупаемым (с нулевым префиксом: Polinskaja 1989: 267). Здесь, однако, слишком много неясного. Так, с одной стороны, возможно, что исходная форма tuku — это не пассив. а непереходный глагол со значением вроде (переходить в собственность за деньги<sup>9</sup>, тогда как *dak +tuku* — это его каузатив (именно такая ситуация наблюдается в берберском: например, глагол /ss-nz/ 'продавать' есть каузатив, образованный от непереходного глагола /nz/ продаваться' 🖴 'быть в продаже'). С другой стороны, в индонезийском имеется глагольная форма с нулевым префиксом, например, Ø +beli /bəli/, которую иногда трактуют как пассивную, противопоставляя её активной форме с префиксом meN-: mem +beli (покупать); тогда актив оказывается производным. Беспрефиксная форма имеет, однако, весьма ограниченное употребление – она возможна только если агенс выражен местоимением 1-го или 2-го лица; при неместоименных NP или при местоимении 3-го лица пассив обязательно маркируется префиксом di-: di +beli 'быть покупаемым'. Если считать beli активной формой, предполагающей обязательную инверсию (тематизируемого) дополнения, то никакой проблемы не возникает. Но даже если принять (весьма веские) доводы С. Чанг (Chung 1976) в пользу трактовки формы beli как пассивной, то ограниченный характер её употребления позволяет, по-видимому, считать, и этот индонезийский пассив производным по отношению к активу (беспрефиксные формы могут выступать также и и как активные переходные).

29 Менее распространённый, хотя и вполне обычный случай — это пассив, маркирующий смещение ГСинт-актанта I без выдвижения какого-либо другого значащего актанта на его место (место ГСинт-актанта I занимается пустой нулевой лексемой, определяющей согласование глагола). Примером является пассивизация непереходных глаголов, типа Немало нами здесь было хожено. Ср. ещё пассивизацию рефлексивов в литовском, примечание 34; о подобных пассивах см. Comrie 1977. Различение двух типов пассива: пассив выдвигающий vs. пассив смещающий — проводится в Foley & Van Valin 1984: 149.

30 Наша концептуальная конструкция в её нынешнем виде не учитывает теретически возможные залоги, маркирующие конверсию ГСинтактантов II=⇒III или II=⇒IV (без участия ГСинт-актанта I). Подобный залог изменял бы, например, глагол типа жаловать кому что в глагол, означающий то же самое, но управляющий по-другому: жаловать кого чем (ср. ещё дарить кому что ~ дарить кого чем). Такие залоги можно назвать объективами. Я не включил их в основной текст, чтобы не утяжелять изложение.

31 Особый (не рассматриваемый здесь) случай — это пассивы, "удерживающие" прямое дополнение: косвенно-объектные пассивы английского типа (i) или пассивы от двойных переходных глаголов в киньяруанда (ii):

(i) I was given a book.

(Призна́юсь, что я не знаю, следует ли считать пассивы с удержанным прямым дополнением переходными или нет; я даже не представляю себе, какие соображения следовало бы использовать при решении этой проблемы.)

Встречается, наконец, и пассивизация непереходных глаголов с в управляемым предлогом (ср. англ. This dress cannot be sat down in , от букв. Это платье не может быть садимо в' = В этом платье невозможно сесть') — ярление, которое обсуждать здесь всерьёз мы не эможем.

32 Любопытная особенность пассива (связанная с его инхерентной производностью) состоит в том, что он может быть обязательным, т.е. навязываться морфологическим и/или синтаксическим контекстом. Так, в целом ряде австронезийских языков (например, маори или мальгашский) переходный императив всегда или преимущественно должен быть в пассиве. В алгонкинских языках определённые формы переходных глаголов — при подлежащем, скажем, 2-ого лица и прямом дополнении 1-го лица — могут выступать лишь в пассиве (это объясняется необходимостью соблюдать строгую иерархию грамматических лиц: "младшее" лицо не может грамматически воздействовать на "старшее").

<sup>33</sup> Отсутствие настоящего параллелизма между "пассивом" и "антипассивом" уже отмечалось в литературе: см., например, Tsunoda 1988. "Антипассив" ни в коей мере не является операцией, обратной или противоположной пассиву, что подсказывается формой термина. Тем самым, этот термин способен создавать путаницу. (Типологический обзор явлений, которые принято называть "антипассивами", см. в Heath 1976. Из этой статьи, кстати, хорошо видно, насколько в действительности разнородны эти "антипассивы". В них смешиваются супрессивы, т.е. залоги — явления ГСинт-уровня, и детранзитивы, т.е. явления ПСинт-уровня. См. также Foley & Van Valin 1984: 168 и сл.)

34 Я сознательно оставляю открытой третью возможность: отождествление двух разных Сем-актантов, как в 'Х бреет Х-а', т.е. в случае возвратных глаголов с одним ГСинт-актантом I: Х бреется. Иначе говоря, я не отвечаю здесь на вопрос, следует ли считать рефлексивы залогами или нет, поскольку это не существенно для обсуждения ЭК. (В принципе, как мне кажется, рефлексивы не являются залогами: они совместимы с пассивами. Так, в литовском, например, рефлексивы пассивизуются, как и другие непереходные глаголы: Petras ap +si +reng +e 'Пётр оделся' ∼ Petro ap +si +reng +ta , букв. 'Петром одетось', и потому должны образовывать отдельную флективную категорию. Тем не менее, в ряде случаев, "возвратные" формы приобретают функции пассива и/или других залогов и, так сказать, втягиваются в залоговую систему.)

35 Напомню, что в определении эргатива было предусмотрено его употребление для трансформа прямого дополнения при детранзитиве.

36 Разумно ли называть медием (= средним залогом) такие, например, формы, как во франц. Се livre se vend bien 'Эта книга хорошо продаётся' или Се linge se lave mal 'Это бельё плохо стирается'? С одной стороны, здесь явно наблюдается наращение смысла: что-то вроде 'Х-ово поддаётся ...'='может быть Х-ово ...'. С другой стороны, это обычные пассивные формы: Се livre se vend partout 'Эта книга продаётся везде', Cette porte se ferme à trois heures 'Эта дверь закрывается в три часа' и т.д. Получается, что тут употребление термина медий оправдано. См. в Levin 1987 убедительную параллель между данными французскими формами и медием в дьирбале (о последнем: Mel'čuk 1988: 188-189).

37 Как легко видеть, в предлагаемом определении залога я стремлюсь максимально "развести" две типовые категории (которые, как правило, перемешиваются в реальных языках): с одной стороны, синтаксическое конвертирование и опущение ГСинт-актантов (эту и только эту категорию предлагается называть залогом); с другой стороны, СЕМАНТИЧЕСКАЯ модификация глагола — выражение "направленности, предназначенности" действия (это — категория версии). Прототипические залоги по определению асемантичны — строго в том смысле, что они не связаны с СемП-ом вігрямую (что не мешает им играть важную семан-

тическую роль в сфере коммуникативной организации сообщения). В результате такого подхода понятие 'пассива' (по нашему определению) никак не связано с семантической ролью пассивного подлежащего, равно как и понятие 'супрессива'. Тем не менее, в действительности конкретные залоги часто бывают сопряжены с теми или иными модификациями пропозиционального смысла глагола.

Залоги разительным образом напоминают падежи (с каковыми они тесно связаны и по существу: выбор залога обычно обусловливает определённую падежную маркировку всех именных синтаксических актантов глагола). Прототипические падежи также асемантичны — в том же смысле, что и залоги: они не соотносятся с СемП впрямую, но выполняют исключительно важную семантическую функцию, маркируя ПСинт-роли именных групп, а тем самым обеспечивая правильное выражение смысла. При этом падежи, как правило, сами обрастают дополнительными смыслами; в некоторых языках семантические функции падежей даже преобладают. Мы, должны, однако, держаться при определении самого понятия падежа за синтаксическое назначение падежей. См., в этой связи, Wierzbicka 1981 и Mel'čuk 1986.

38 Укажем интересный факт, уже отмечавшийся раньше (см., например, Mel'čuk 1988: 169): в дьирбале подлежащее в патетиве может контролировать сочинительный эллипсис подлежащего в номинативе, т.е.:

$$NP_{\pi a \tau}^{i} + V'$$
 (u)  $NP_{HOM}^{i} + V'' \implies NP_{\pi a \tau}^{i} + V'$  (u)  $V''$ 

Таким образом, при сочинении предложений синтаксическая функция подлежащего оказывается важнее его морфологической формы:

(i) [= (431) B Dixon 1972: 132]

**Jayguna ba + jigu +l gubi + jigu munda + Ø + n** Я-НАТЕТИВ этот ИНСТР МУЖ шаман ИНСТР ловить АКТ ПРОШ

 $\Delta$  [gada = я, NOM] ba +gu +n dugumbil +gu balgal +ga +ņu этот ДАТ ЖЕН женщина ДАТ ударить ПАСС ПРОШ 'Я попался шаману [= шаман овладел мной] и ударил женщину'.

2014

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бокарёв, Евгений А., ред. (1950) Эргативная конструкция предложения. Москва: Изд-во лит-ры на иностр. языках. 218 стр.

Жолковский, Александр К., и Игорь А. Мельчук (1967) О семантическом синтезе. Проблемы кибернетики, вып. 19, 177-238.

Кибрик, Александр Е. (1979) Подлежащее и проблема универсальной модели языка. Известия АН СССР, ОЛЯ, 38: 4, 309-317.

Климов, Георгий А. (1973) Очерк общей теории эргативности. Москва: Наука. 264 стр.

Климов, Георгий А. (1977) Типология языков активного строя Москва: Наука, 319 стр.

Козинский, Ицхак Ш. (1983) О категории "подлежащее" в русском

- языке . Москва: Институт Русского языка АН СССР. [=Предварительные публикации Проблемной группы экспериментальной и прикладной лингвистики, вып. 156].
- Мельчук, Игорь А. (1974) Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ⇔ Текст". Москва: Наука. 314 стр.
- Мельчук, Игорь А., и Елена Н. Саввина (1974) О формальной модели синтаксиса алюторского языка. В: Предварительные публикации Проблемной группы экспериментальной и прикладной лингвистики, вып. 55, Москва: Институт Русского языка АН СССР. 15-32.
- Мельчук, Игорь А., и Александр А. Холодович (1970) К теории грамматического залога. (Определение. Исчисление). Народы Азии и Африки, nº 4, 111-124.
- Полинская, Мария С. (1988) Особенности употребления пассивной конструкции в языке маори. В: Синхрония и диахрония в лингвистических исследованиях. Ч. II., Москва: Наука, 27-45.
- Холодович, Александр А., ред. (1974) Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Ленинград: Наука. 382 стр.
- Храковский, Виктор С., ред. (1978) Проблемы теории грамматического залога. Ленинград: Наука. 288 стр.
- Храковский, Виктор С., ред. (1981) Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Ленинград: Наука. 286 стр.
- Andersen, Paul (1989) Remarks on the Origin of the Term "Passive". Lingua, 79:1, 1-16.
- Bani, Ephraim, and Terry J. Klokeid (1976) Ergative Switching in Kala Lagau Langgus. In: P. Sutton, ed., Languages of Cape York, Canberra: Australian Institute of Aboriginal Languages, 269-283.
- Bader, Yousef, and Michael Kenstowicz (1987) Syllables and Case in Kabyle Berber. Lingua, 73: 279-299.
- Barber, E.J.W. (1975) Voice Beyond the Passive. Proceedings of the 1st Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 16-24.
- Catford, John C. (1976) Ergativity in Caucasian Languages. Recherches linguistiques à Montréal [Actes du VIme Congrès de l'Association linguistique du Nord-Est, 31 oct.- 2 nov. 1975], 6, 37-48.
- Chung, Sandra (1976) On the Subject of Two Passives in Indonesian. In: Li, ed. 1976: 57-98.
- Chung, Sandra (1977) Maori as an Accusative Language. The Journal of the Polynesian Society, 86:3, 355-370.
- Chung, Sandra (1978) Case Marking and Grammatical Relations in Polynesian. Austin London: University of Texas Press. 401 pp.
- Comrie, Bernard (1973) The Ergative: Variations on a Theme. Lingua, 32:3, 239-253.
- Comrie, Bernard (1977) In Defense of Spontaneous Demotion: The Impersonal Passive. In: Peter Cole and Jerrold M. Sadock, eds, Grammatical Relations [= Syntax and Semantics 8], New York etc.: Academic Press, 47-58.
- Comrie, Bernard (1978) Ergativity. In: W. Lehman, ed., Syntactic Typology:

- Studies of the Phenomenology of Language, Austin: University of Texas Press, 329-394.
- Comrie, Bernard (1981) Ergativity and Grammatical Relations in Kalaw Lagaw Ya (Saibai Dialect). Australian Journal of Linguistics, 1:1, 1-42.
- Davis, Philip, and Ross Saunders (1989) Language and Intelligence: The Semantic Unity of -m- in Bella Coola. Lingua, 78: 113-158.
- Dixon, Robert M.W. (1972) The Dyirbal Language of North Queensland.

  Cambridge: Cambridge University Press. 420 pp.
- Dixon, Robert M.W. (1979) Ergativity. Language, 55:1, 59-138.
- Dixon, Robert M.W. (1987) Studies in Ergativity. Introduction. In: Dixon, ed. 1987: 1-16.
- Dixon, Robert M.W., ed. (1976) Grammatical Categories of Australian Languages. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Languages.
- Dixon, Robert M.W., ed. (1987) Studies in Ergativity. Amsterdam etc.:

  North-Holland. 370 pp. [= Lingua, 71: 1-4].
- Durie, Mark (1987) Grammatical Relations in Acehnese. Studies in Language, 11:2, 365-399.
- Foley, William, and Robert Van Valin Jr. (1984) Functional Syntax and Functional Grammar. Cambridge etc.: Cambridge University Press 416
- Gibson, Jeanne D., and Stanley Starosta (1987), Ergativity East and West (ms).
- Goddard, Cliff (1982) Case Systems and Case Marking in Australian Languages: A New Interpretation. Australian Journal of Linguistics, 2: 2, 167-196.
- Hale, Kenneth (1973) Deep-Surface Canonical Disparities in Relation to Analysis and Change: an Australian Example. In: T.A.Sebeok, ed., Current Trends in Linguistics, vol. XI Diachronical, Areal and Typological Linguistics. The Hague: Mouton, 401-158
- guistics, The Hague: Mouton, 401-158.

  Haspelmath, Martin (1988) Passive Morphology: A Cross-Linguistic and Diachronic Study (ms).
- Heath, Geoffrey (1976) Antipassivization: A Functional Typology.

  Proceedings of the 2nd Annual Meeting of the Berkeley Linguistics
- Society, 202-211.

  Hohepa, Patrick W. (1969) The Accusative-to-Ergative Drift in Polynesian
- Languages. Journal of the Polynesian Society, 78:3, 295-329.
- Holisky, Dee Ann (1987) The Case of the Intransitive Subject in Tsova-Tush (Batsbi). In: Dixon, ed. 1987: 103-132.
- Hopper, Paul J., and Sandra A. Thompson (1980) Transitivity in Grammar and Discourse. Language, 56:2, 51-99.
- Keenan, Edward (1976a) Towards Universal Definition of "Subject". In: Li, ed. 1976: 303-333.
- Keenan, Edward (1976b) Remarkable Subjects in Malagasy. In: Li, ed. 1976: 247-301.
- Keenan, Edward (1985) Passive in the World's Languages. In: Timothy Shopen, ed., Language Typology and Syntactic Description, I. Clause

- Structure . Cambridge etc.: Cambridge University Press, 243-281.
- Kibrik, Alexander E. (1985) Toward a Typology of Ergativity. In: Johanna Nichols and Anthony C. Woodbury, eds, Grammar Inside and Outside the Clause, Cambridge: Cambridge University Press, 268-323.
- Levin, Beth (1987) The Middle Construction and Ergativity. In: R. Dixon, ed.
- Li, Charles, ed. (1976) Subject and Topic. New York etc.: Academic Press. 594 pp.
- Mallinson, Graham, and Barry J. Blake (1981) Language Typology: Cross-Linguistic Studies in Syntax. Amsterdam etc.: North-Holland. 486 pp.
- Mel'čuk, Igor (1978) Toward a Definition of the Concept "Ergative Construction". In: Wolfgang U. Dressler and W. Meid, eds, Proceedings of the XIIth International Congress of Linguists, Vienna 1977, Innsbruck: Universität Innsbruck, 384-387.
- Mel'čuk, Igor (1979) Studies in Dependency Syntax. Ann Arbor, MI: Karoma. 163 pp.
- Mel'čuk, Igor (1982) Toward a Language of Linguistics. München: W. Fink.
- Mel'čuk, Igor (1986) Toward a Definition of Case. In: Richard D. Brecht and Jules S. Levine, eds, Case in Slavic, Columbus, OH: Slavica, 35-85.
- Mel'čuk, Igor (1988) Dependency Syntax: Theory and Practice. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 428 pp.
- Mel'čuk, Igor, and Nikolaj Pertsov (1987) Surface Syntax of English A Formal Model in the Meaning-Text Framework. Amsterdam Philadelphia: Benjamins. 526 pp.
- Mel'čuk, Igor, and Elena Savvina (1978) Toward a Formal Model of Alutor Surface Syntax: Predicative and Completive Constructions. *Linguistics*, Special issue, 5-39.
- Pernée, Lucien (1984) Passif et moyen en grec ancien. In: Le passif [= Travaux du Circle linguistique d'Aix-en-Provence, 2], Aix-en-Provence: Université de Provence, 93-102.
- Plank, Frans, ed. (1979) Ergativity: Toward a Theory of Grammatical Relations. London etc.: Academic Press. 569 pp.
- Polinskaja, Maria S. (1989) Object Initiality: OSV. Linguistics, 27, 257-
- 303.

  Postal Paul M. (1986) Surfice of Bassian Cl. (1987) Surfice of Bassian Cl. (1987)
- Postal, Paul M. (1986) Studies of Passive Clauses. Albany, N.Y.: State University of New York Press. 271 pp.
- Schachter, Paul (1976) The Subject in Philippine Languages: Topic, Actor, Actor-Topic, or None of the Above. In: Li, ed. 1976: 491-518.
- Silverstein, Michael (1976) Hierarchy of Features and Ergativity. In: Dixon, ed.1976: 112-171.
- Shibatani, Masayoshi (1985) Passives and Related Constructions. Language,
- 61: 4, 821-848.
  Shibatani, Masayoshi, ed. (1988) Passive and Voice. (Typological Studies
- in Language, 16). Amsterdam: Benjamins. 706 pp.

  Sinclair, M.R.W. (1976). Is Moori on Fraction Language (1976).
- Sinclair, M.B.W. (1976) Is Maori an Ergative Language? Journal of the Polynesian Society, 85: 1, 9-26.

- Tchekhoff, Claude (1978) Aux fondements de la syntaxe: l'ergatif. Paris: Presses universitaires de France. 202 pp.
- Timberlake, Alan (1987) Metalanguage. In: W.P. Lehman, ed., Language Typology 1985 [= Current Issues in Linguistic Theory 47], Amsterdam-Philadelphia: Benjamins, 77-104.
- Tsunoda, Tasaku (1985) Remarks on Transitivity. *Journal of Linguistics*, 21, 385-396.
- Tsunoda, Tasaku (1988) Antipassives in Warrungu and Other Australian Languages. In: Shibatani, ed. 1988, 595-649.
- Wierzbicka, Anna (1975) Why 'kill' Does not Mean 'cause to die' the Semantics of Action Sentences. Foundations of Language, 13, 491-528. [CM. TAKKE B: A. Wierzbicka, Lingua Mentalis. The Semantics of Natural Language, 1981, Sydney etc.: Academic Press, Chapter 5.]
- Wierzbicka, Anna (1981) Case Marking and Human Nature. Australian Journal of Linguistics, 1: 1, 43-80.

1.5

© 1991 r.

# ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. В.

# к провлеме историко-этимологического осмысления этнонимии древней колхиды

(К истории термина *архаг- // abazg-*)

Как известно, начиная с I—II вв. н. э. в античных источниках в причерноморской полосе Западной Грузии по соседству друг с другом упоминаются такие племена, как апсилы (греч. 'Αφιλάι) и абазги (греч. Αβασγοί), а также области Апсилия (греч. 'Αφιλία) и Абазгия (греч. Аβασγία). Так, у Флавия Арриана читаем, что по соседству с апсилами живут абаски (см. [1, с. 43]). В параллельном пассаже текста «Путешествия» анонимного автора V в. н. э. имя 'Аβασχοί «абаски» передано формой Аβασγοί, которая является более распространенным вариантом этого этнонима. Апсилы оказываются племенем, обитающим на северо-восточном побережье Понта выше лазов, а сопредельные с ними абазги отделены от моря и живут в глубине страны [1, с. 90, 100, 104].

Апсилии и Абазгии греческой традиции в средневековых грузинских источниках, например, в «Картлис цховреба», соответствуют Апшилети а Апхазети: оба названия упоминаются у Джуаншера в связи с походом Мурвана Глухого в 30-х годах VIII в. в Западную Грузию (см. [2; 3, с. 8—9]).

В специальной литературе уже давно с достаточной остротой обсуждается вопрос об этнической принадлежности народов, обозначаемых в исторических источниках этими этнонимами. Часть исследователей считает их картвельскими племенами, другие отмечают их абхазско-адыгское происхождение [4—7] (к истории вопроса см. [8]). В настоящей статье мы коснемся только этимологических связей и происхождения этих этнонимов.

Поскольку апсилы и абазги упоминаются в соседстве друг с другом, они, естественно, представлялись величинами, обособленными в этноязыковом плане. Этноним апсилы и название области Апсилия (груз. Apsilet-i) можно увязать с самоназванием современных абхазов aps-wa и отождествить их исторически 1. Возникает вопрос, каково в этом случае значение отличных от них этнонима абазги и топонима Абазгия, которым отвечают средневековые грузинские формы аpxaz-eb-i «абхазы» и Apxaz-et-i «Абхазия»?

Если под этнонимом apsil- // apšil- мы будем подразумевать предков

¹ Форму apsil- можно рассматривать как производное имя, образованное посредством (картвельского?) суф. -il от корня aps-; древнегрузинский шипящий вариант apsil-, противостоящий засвидетельствованной в греческом свистящей форме apsil-, легко объясняется чередованием свистящей и свистяще-шипящей спирантной фонем в исходном корне фарз-, что характерно для современых абхазских диалектов.

современных абхазов (apswa) <sup>1</sup>, то нельзя того же сказать об abazg'ax // apxaz'ax, которые должны были представлять собой этноязыковую величину, отличную от обозначавшейся первой. Следовательно, засвидетельствованный в греческих и грузинских исторических источниках этноним abazg- // apxaz- первоначально обозначал не абхазов, т. е. apswa последующего времени, которые исторически и этимологически скорее увязываются с засвидетельствованным в этих же источниках племенем apsil- // apsil-, а представителей некоторого отличного этноса. Сказанное подтверждается этимологическим анализом самого этнонима abazg- // apxaz-

Поскольку грузинская форма архаг- с точки зрения ее фиксации в текстах более поздняя по сравнению с греческой 'Аβασγ- «абазг», предполагалось, что грузинская форма происходит от греческой или подобной ей формы с соответствующими фонетическими преобразованиями. В самой греческой форме усматривали сходство с этнонимом абаза, обозначающим близкородственных абхазам абазин, населяющих северные склоны Кавказа. Все это как будто удостоверяло абхазско-адыгский характер происхождения формы 'Аβασγ- «абазг» 3. Отсюда выводились и абхазско-адыгские истоки существующей в самом грузинском языке формы архаг-.

Однако никоим образом не видно этимологической связи этнонима abaza с греч. abazg-; исторически они должны были представлять независимые друг от друга формы. Из них форма abazg- служит историческим эквивалентом засвидетельствованного в грузинском языке этнонима ap-xaz-4, в то время как имя abaza передает совершенно иное содержание, соотносящееся с черкесско-адыгской языковой средой.

Вместе с тем возникает вопрос, как следует понимать историческое соотношение самих форм груз. *архаг-* и греч. *abazg-*?

С точки зрения историко-этимологической первичности хронология фиксации форм никакого значения не имеет. В этом отношении греч. abazg- не может считаться источником груз. apxaz-, поскольку в этом случае необъяснимым оказалось бы преобразование засвидетельствованной в греческом формы в груз. apxaz-; иначе говоря, не имеется каких-либо оснований — формальных или содержательных — полагать, что обозначение того этноса, который греки называли абазгами, в грузинском (и в ряде восточных языков — арабском, персидском, армянском) преобразовалось в форму apxaz-, поскольку в грузинском и в восточных языках была возможность обозначения данного этноса так же, как это имеет место в греческом, или посредством близкой к нему формы.

Для аргументации зависимости грузинской формы *архаг*- от формы, засвидетельствованной в греческом, некорректно и допущение возможного чередования гармонических комплексов типа груз. bartq- «птенец» ~

В различных средневеновых восточных источниках (арабских, персидских, армянских) в качестве эквивалента греческого этнонима abazg-фиксируются формы

 $abx\bar{a}z \sim a\phi x\bar{a}z \sim apxaz$ , близкие к грузинскому этнониму apxaz-[10].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Содержащим этот же корень aps- и поэтому исторически связанным с современным apswa должно быть также имя Ancapoc (греч. "Афарос), которое обозначало город и крепость к юго-западу от реки Батис. В этом отношении характерно замечание летописца из «Картлис цховреба»: «Лаша Георгий, что переводится с апсарского языка как (Георгий)-светитель страны...» (ср. абх. a-las a-ra «освещать, свет»).

³ На основе сходства с abaza засвидетельствованная в греческом форма abazg-членилась на элементы \*abas-g-, где-g-рассматривалось в качестве суффикса происхождения -x-, присоединенного к основе: \*abaz-g- < \*abaz-x-(cp. [8, c. 157]). Такая точка арения на анализ этой формы была предложена еще Н. Я. Марром [9]. Однако для такого членения и анализа формы abazg- отсутствуют какие-либо объективные основания.

таг!-, что характерно для современных грузинских диалектов (ср. [11]). Комплекс zg // zγ в грузинском не того структурного типа, который делал бы возможным подобное чередование с гармоническим комплексом px в противопоставлении форм abazg- // abazγ- ~ apxaz-.

Совершенно иное положение складывается, если допустить историческую первичность — по сравнению с греческой — формы, засвидет тельствованной в грузинском (и ряде восточных языков), т. е. что греч. Арасу-//abazg- восходит и представленной в грузинском (и ряде восточных языков) форме apxaz-//  $abx\bar{a}z$ , являя собой его фонетическое видоизменение: apxaz-//  $abx\bar{a}z$ > греч. 'Арасу- «абазг».

Действительно, консонантный комплекс bx // px чужд греческому языку, где он замещен более естественной для него конечной последовательностью bg //  $b\gamma$  с перестановкой в этнониме согласного x в конец слова и характерным озвончением всего слова: apxaz- //  $abx\bar{a}z$  > греч. abazg- //  $abaz\gamma$ - (графически: 'А $\beta\alpha\sigma\gamma$ -).

Когда греки знакомились с племенами, населявшими древнюю Колхиду, и их самоназваниями, они трансформировали последние своими собственными языковыми средствами, что результировало в становлении новых, естественных для греческого, вариантов этнонимов. В частности, самоназвание одного из племен, обитавших в древней Колхиде, apxaz-//  $abx\bar{a}z$ , должно было закономерно дать в греческой речи форму abazg-//  $abaz\gamma$ - (в условиях отсутствия в греческом комплекса px) b. Процесс «грецизации» этого этнонима еще дальше зашел в греческой форме abask-('А $\beta\alpha\sigma$ ×0ί у Флавия Арриана), в которой появляется уже вполне естественный для греческого комплекс sk вместо менее распространенного sg // zg //  $z\gamma$ , представленного в форме 'А $\beta\alpha\sigma$ 00ί (к комплексу sg // zg в греческом ср. формы типа  $\delta\omega\sigma$ 7 ένεια,  $\dot{\omega}\sigma$ 7 ενον и др.).

Обоснованность такой трактовки подтверждается и тем обстоятельством, что ни в одной средневековой традиции этноним apxaz- не отражен формой abazg: в них имеем только  $abx\bar{a}z$  (с b ввиду отсутствия [p] в арабском), apxaz (в армянском) и им подобные формы, совпадающие с apxaz- грузинских средневековых источников. Это еще раз подчеркивает первичность форм, содержащих комплекс px // bx, засвидетельствованных в грузинском и ряде восточных языков, по сравнению с формой abazg-, которая была характерна исключительно для греческой традиции и, представляя собой собственно греческую передачу этого этнонима, не могла иметь ничего общего с именем abaza. Такое допущение устраняет совокупность трудностей этно-этимологического характера, связанных с этими терминами и их историческим осмыслением.

С самим этнонимом abaza этимологически должно увязываться не греч. 'А $\beta\alpha\sigma\gamma$ -abazg- (и, следовательно, не этноним apxaz-// abxāz), а современное самоназвание абхазов-apswa, что вполне естественно с историко-генетической точки эрения.

Отмеченная интенсивным ударением форма ábaza должна была дать

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Аналогичные примеры фонетического преобразования широко отмечаются в различных языках при передаче заимствованных имен. В частности, в качестве эквивалента грузинского топонима tpilis-i имеем арабо-персидско-тюркское taflīs // tiflīs и т. п. ввиду запрета в этих языках на последовательность двух согласных в начальной позиции (начальный комплекс преодолевается вставкой в него гласного). Ср. также Тиблиси и подобные формы в просторечном русскоязычном произношении и т. д. Подобным же образом картвельский гидроним mtkwar- // mtkur- (груз. mtkvar-) был преобразован в форму Корос в греческом (в результате упрощения в греческой передаче эгого имени начального консонантного комплекса); отсюда — русск. Кура (см. [12, с. 909]).

вокалически редуцированный вариант \*ábza \*, который в результате оглушения консонантного комплекса bz > ps \* дал основу apsa: ápsa-wa > ápswa \*.

К исходной форме \*abaza восходит, очевидно, еще один этноним в абхазско-адыгской языковой среде, а именно abadzex // abdzex, обозна чающий народность, проживающую компактно на Северном Кавказе, в Адыгейской автономной области [16].

Таним образом, апсилы // апшилы греческих и грузинских источны ков, по-видимому, являлись этносом, генетически и лингвистически свя занным с абхазами-арѕша, их вероятными предками, а древние «абазги» // «апхазы» представляли собой некоторый отличный от них этнос, обозначение которого было с течением времени, после определенного семантического сдвига, всецело перенесено в грузинской языковой среде на собственно абхазов-арѕша как на один из древних этносов исторической Запал вой Грузии.

Возникает, однако, вопрос, обозначением какого этноса должен был первоначально служить этноним *архаг- // abazg-*, какие племена древней Колхиды должны были скрываться за ним с историко-генетической точки эрения?

Этнокультурный контекст Причерноморья первых веков нашего ле тоисчисления подсказывает нам возможность видеть в «апхазах» // «абазгах» племена собственно западнокартвельского происхождения, которые должны были быть близкородственными населявшим Колхиду сванским и мегрело-лазским племенам 9.

Основное население древней Колхиды составляли в ту эпоху западнокартвельские племена, носители западных картвельских диалектов (получивших свое продолжение в современных сванском и мегрельско-лазском). Об этом свидетельствует не одно западнокартвельское слово, во шедшее в речь греческих «аргонавтов», когорое в дальнейшем утвердилось в древнегреческом (в последнем отношении весьма ингересно др.-греч. «ФГас «руно», микенское греч. ko-wo «шкура», которое должно быть древнегреческим заимствованием западнокартвельского \*tkow-// \*tgow- (груз. tgaw-) [12, с. 908]). Среди этих западнокартвельских диалектов и племен,

? Для аналогичного оглушения комплекса ср. абх.  $\acute{a}-h^wazba>\acute{a}-h^wazba$  кножи при абаз., тап.  $\acute{a}h^waspa$ : комплексу zb в тапантском диалекте отвечает его глухой ва-

риант вр (ср. [14, с. 53]).

\* Переход dpsa-wa > dps-wa с утратой гласного а в заударной позиции объясняется опять-таки влиянием интенсивного ударения. Конечное а основы восстанавливается формах мн. чесла: aps-wa «абхаз» ~ мн. ч. apsa-c<sup>w</sup>a // apsa-k<sup>w</sup>a (см. [13, с. 104]).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> О редукции гласного a под влиянием подвижного интенсивного ударения см. [13, с. 99 и сл.]; ср. [14]. Для аналогичного фонстического явления ср. абаз. ánaša > ánša «дядя, брат матери», ánax $^wa >$  ánx $^wa$  «свекровь, теща», абх. \*á-šax $^wa >$  á-šx $^wa$  «пятка» и мн. др. Вокалически редуцированный вариант \*abz(a) формы abaza можно усмотреть в этнониме abzoe, приводимом Плинием в его «Естественной истории» в качестве обозначения многочисленных племен, обитавших на Севериом Кавказе между Азовским и Каспийским морями. Такое отождествление возможно, если внести в сведения Плиния определенную географическую поправку в плане исторической локализации этих племен (см. [8, с. 162]). С полногласным вариантом формы abaza должны увязываться засвидетельствованные в русских письменных источниках XII—XVI вв. обезь (ср. [15]).

Древнейшее обозначение этих племен архаг, преобразованное в греческой речи в форму abazg-// abazq-, с точки зрения своей структуры вполне «картвельское», содержало распросграненный в этих языках (но педопустимый в греческом) гармоничный комплекс рх, а также начальный гласный а. Ср. в последией связи древнейший грузинский топоним Ačara «Аджария», засвидетельствованный уже в «Картлис цховреба» Леонти Мровели, историк Давида Строителя, «Матиане Картлиса»).

наряду со сванами и мегрело-лазами, следует, как видно, учитывать и те племена, которые скрываются в греческих и грузинских исторических источниках за этновимом abazg- // apxaz-.

Едва ли случайно и то, что «абазги» // «апхазы» упоминаются в античных источниках, как правило, именно в контекстах, передающих этнонимы этих картвельских племен, т. е. наряду с такими племенами, населявшими древнюю Колхиду, как лазы ( $\Lambda \alpha \zeta o i$ ), саны ( $\Sigma \dot{\alpha} v v o i$ ,  $T \dot{\zeta} \dot{\alpha} v v o i$ ), саниги ( $\Sigma \dot{\alpha} v v i \dot{\gamma} \alpha i$ ), макроны ( $M \dot{\alpha} x \rho o v e c$ ), гениохи ( $H \dot{\alpha} v i \dot{\gamma} \alpha i$ ) и др. (относительно картвельского происхождения племен, обозначаемых этими этнонимами, см. [17, 18; 1, passim; 8, 19, 20]) 10.

Картвельское происхождение «абазгов» // «апхазов» следует предполагать также на том основании, что они становятся объединяющим другие обитавшие в древней Колхиде картвельские племена началом в рам-ках единого Западногрузинского царства.

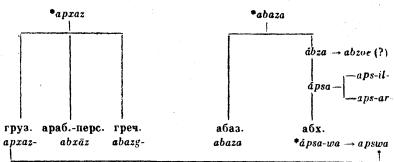
Первоначальным наследником древних колхов и Колхиды, согласно греческим историческим источникам, оказывается царство Лазика (Эгрисв — грузинской традиции), из которого к концу VI в. выделяется «Абазгия». Эта последняя в дальнейшем объединяет земли санигов, мисимианов, апсилов и др., в соответствии с чем расширяется и содержание термина «Абазгия» // «Апхазети».

Еще более возросло значение «Апхазети» в конце VIII столетия, когда произошло объединение «Апхазети» и «Эгриси». С этого времени «Апхазети» охватывает уже всю Западную Грузию, а этноним абазг-// апхазоказывается параллельным к картеел- и вообще обозначает обитателя Западной Грузии [3, с. 9—10]. Следует выяснить, однако, когда и в каких условиях в собственно грузинской среде происходит последующее сужение понятия апхаз- и его перенос на один из населявших Западную Грузию этносов — на собственно абхазов-аряша. Подобные примеры расширения и сужения этнонимов, а также переноса и распространения обозначения одного этноса на другой в этнологии известны (ср. в этой связи историю тюркского термина bulgar: название болгар, одного из современных славяноязычных народов, происходит от обозначения тюркоязычных обитателей региона между Волгой и Уралом конца первого тысячелетия н. э., часть которых в дальнейшем мигрировала на Балканы, смешавшись со славянами).

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующему заключению. Засвидетельствованный в грузинских и восточных источниках этноним архаг- // abxāz является первичной формой и первоначально должен был служить племенным обозначением западнокартвельского происхождения, подобным этнонимам laz-, san-, sanig-, makron-, heniox-и т. п. Засвидетельствованная в качестве его эквивалента в греческом форма 'Аβасу- должна быть результатом фонетического преобразования первичной формы архаг- // abxīz в соответствих с фонетическими нор-мами греческого языка и едва ли может быть связана со сходным с ней на первый взгляд именем abaza, представляющим собой общее обозначение современных абхазов и абазин.

<sup>10</sup> Тря первых этнонима могут быть отождествлены с исторически засвидетельствованными западнокартвельскими племенными названиями laz- «лазы», zan- «заны» (ср. сван. Zān «Мегрели», mɔ-zān «мегрел») и čan- «чаны, лазы», Måxρονες — с megrel- (т. е. \*magral- > margal-, которое в западнокартвельском дналекте обозначало обитателя Эгриси), а 'Ην(οχοι — сɔ swan- «свапы» (согласно иной точке зрения, последний этноним должен быть сванской передачей обозначения чанов [21]).





Сама эта древнейшая форма abaza дает начало самоназванию абхазов apswa, которое должно являться вокалически редуцированным вариантом формы abaza: abaza > abza > apsa. Этот корень apsa лежит в основе современного самоназвания абхазов: \* $\acute{a}$ psa- $wa>\acute{a}$ pswa.

Этноним *арѕа* выступает в древнейшую эпоху в виде форм *abs-il-//* apš-il- и aps-ar-, которые, соответственно, следует считать именами, обозначающими абхазско-адыгские племена.

Cam этноним apxaz- и, соответственно, его греческий эквивалент abazg-. использовавшийся первоначально для обозначения одного определенного западнокартвельского племени, позднее становится обозначением населения всей Западной Грузии, а термин  $A\mathit{pxazet-i}$  становится названием Западногрузинского царства.

После распада единого «Абхазского царства» происходит сужение содержания этнонима арха2- и его соотнесение в грузинской языковой среде только с тем народом, который называл себя apswa. Следует выяснить, однако, когда ранее применявшийся в значительно более широком значении этноним архаг- стал связываться с обитавшими в Грузии арѕwа. Бесспорно во всяком случае, что наречение им абхазов-аруша произошло в собственно грузиноязычной среде и затем распространилось по другим современным языкам.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Флавий Арриан. Путешествие вокруг Черного моря / Перев.; исследование, комментарии и карты Кечагмадзе Н. Тбилиси, 1961 (на груз. яз.).
- 2. Картлис цховреба / Текст установлен по всем основным рукописям Каухчишви-ли С. Т. I. Тбилиси, 1955. С. 235 (на груз. яз.).
- 3. Порокипанидзе М Абхазы и Абхазия. Тбилиси, 1990. С. 8—9 (на груз. и русск. яз.). 4. Ингороква П. Гиорги Мерчуле. Тбилиси, 1954 (на груз. яз.).
- 5. Меликишвили  $\Gamma$ . A. Население юго-восточного Причерноморья в  $\Pi\Pi = \Pi$  вв. до н. э.// Очерки истории Грузии. І. Тбилиси, 1989.
- 6. Анчабадзе З.В. Очерк этнической истории абхазского народа. Сухуми, 1976. 7. Инал-ипа Ш. Д. Вопросы этно-культурной истории абхазов. Сухуми, 1976.
- 8. Инадзе М. К вопросу об этническом составе населения Северо-восточного Причерноморья античной эпохи // Вестник Отделения общественных наук АН ГрузССР. 1960. № 2 (на груз. яз.).
- 9. Марр Н. Я. История термина «абхаз» // Изв. Имп. АН. 1912. Т. VI.
- 10. Giunashwili Dzh. ABKAZ // Encyclopaedia Iranica. V. I, fasc. 2. P. 222-224.
- 11. Гамкрелидзе Т. В., Мачавариани Г. И. Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры. Тбилиси, 1965. С. 365, примеч. 2 (на груз. и русск. яз.). 12. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индосвроиейский язык и индосвропейцы.
- Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. I—II. Тбилиси, 1984. С. 908.

- Ломпатидзе К. Историко-сравнительный анализ абхазского и абазинского языков. І: Фонологическая система и фонетические процессы. Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).
- Аршба Н. В. Динамическое ударение и редукция гласных в абхазском языке. Тбилиси, 1979.
- Пайчадзе Г. Г. Название Грузии в русских письменных исторических источниках, Тбилиси, 1989.
- 16. Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М., 1973. С. 65.
- 17. Джанашиа С. Табал-тубал, тибарен, вбер // Джанашиа С. Труды. Т. III. Тбилиси, 1959 (на груз. яз.).
- Меликишвили Г. А. К истории древней Грузии. Тбилиси, 1959.
   Каухчишвили Т. К вопросу о кавказских племенах по античным источникам // Изв. АН ГрузССР. Сер. истории, археологии, этнографии и истории искусства.
- 1980. № 4 (на груз. яз.). 20. Ломоури Н. Некоторые вопросы ранней истории Абхазии // Изв. АН ГрузССР.
- Сер. истории, этнографии и истории искусства. 1990. № 3. 21. Гигинейшвили Б. К происхождению этнонима Гениох // Изв. АН ГрузССР. Серия истории, археологии, этнографии и истории искусства. 1975. № 1 (на груз. яз.).

© 1991 r.

### храковский в. с., оглоблин а. к.

# ГРУППА ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ ЛО ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИНЦИПЫ. РАБОЧИЕ ПРИЕМЫ

В апреле 1991 г. исполнилось тридцать лет группе типологического научения языков ЛО Института языкозпания АН СССР, основанной проф. А. А. Холодовичем. В настоящее время группа фактически представляет собой коллектив языковедов, который иногда называют «школой Холо повича» или «ленинграпской типологической школой» [1]. Ядро группы составляют ее штатные сотрудники: Агус Салим, Т. Г. Акимова. Л. А. Бирюлин, И. Б. Долинина, Н. А. Козинцева, Е. Е. Корди, В. П. Недял ков, М. А. Смирнова, Н. М. Спатарь, руководитель группы В. С. Храков ский. Кроме них, в работе группы более или менее регулярно принимают участие сотрудники других отделов ЛО ИЯ АН СССР: Н. Б. Вахтив. А. П. Володин, Е. В. Головко, Д. М. Насилов, И. В. Недялков, И. А. Пе рельмутер и др., а также сотрудники других научных учреждений: И. С. Быстров, В. Б. Касевич, А. К. Оглоблин, Г. Е. Рачков, С. Е. Яхов тов (Восточный факультет ЛГУ), В. М. Алпатов (Институт востоковедения АН СССР. Москва). Э. Ш. Генюшене (Вильнюсский университет). Х. Ф. Исхакова (Институт языкознания АН СССР, Москва), В. П. Лит винов (Пятигорский целагогический виститут), Г. А. Отаина (Дальне восточный центр АН СССР, Владивосток), С. М. Кибардина (Вологодский цединститут), Ю. П. Князев (Новгородский пединститут), Г. Г. Сильниц кий (Смоленский пединститут), Н.В. Станкевич (Ханойский универси тет) и др.

Авторы этой статьи являются сотрудниками группы с момента ее основания. Цель предлагаемой публикации они видят прежде всего в том, чтобы познакомить читателя с теоретической программой группы, реали зуемой в ее коллективных монографиях 1. Эта программа была сформули рована проф. А. А. Холодовичем еще в 60-х годах. И тем не менее она не утратила своей актуальности и в наши дни. В 1977 г. проф. А. А. Холодовича не стало. Целый ряд коллективных монографий группы увидел свет уже после кончины ее создателя. В этих работах рассматриваются разные проблемы, привлекается новый языковой материал, однако теоретическая направленность и исследовательские принцицы в основном остаются неизменными. Это, очевидно, требует пояснений в период, когда в языкознании происходит смена ведущих теоретических установок. В меньшей степени авторы намерены касаться научных результатов.

Все опубликованные коллективные монография указапы в приложении. Кроме того в почати находится коллективная монография «Типология императивных комструкций».

полученных в опубликованных работах, полагая, что эту задачу должны решать не участники исследований, а критики и рецензенты <sup>2</sup>. Вместе с тем нам хотелось бы привлечь внимание к специфическим особенностям отпельных публикаций разных лет. В целом данную статью можно рассматривать как продолжение нашей предыдущей работы, посвященной творческому наследию А. А. Холодовича [9].

Феномен создания в 1961 г. проблемной группы типологического изучения языков <sup>3</sup> следует рассматривать в контексте своего времени с учетом той обстановки, которая сложилась в нашей стране в конце 50-х годов. Хрущевская «оттепель» пробудила стремление к обновлению во всех сферах общественной жизни. Заметных успехов добились естественные науки: математика, физика. Подъем переживали космические исследования — полным ходом шла подготовка к полету человека в космическое пространство. Новые веяния коснулись и гуманитарных наук, а в их числе и языкознания, судьба которого в то время была весьма плачевной. В конце 40-х годов языкознание было сковано бесплодной доктриной «нового учения о языке» и деморализовано кампанией «борьбы против низкопоклонства перед Западом». После известной дискуссии 1950 г. развитие лингвистической теории сдерживалось простецкими рассуждениями «вождя народов», немедленно помещенными на «зияющие высоты» советской науки 4. Лишь после 1953 г. ситуация в языкознании изменилась в лучшую сторону и возникла благоприятная обстановка для развития творческих поисков лингвистической мысли.

Железный занавес был приподнят, и языковеды, освобожденные от догм, претендовавших на абсолютную истину, обратились к контактам с мировой лингвистикой, которые практически в значительной степени были ослаблены с начала 30-х годов 5. На русский язык переводятся как труды структурального направления, занимающего важное место в научной парадигме первой половины XX в. («Основы фонологии» Н. С. Трубецкого, «Введение в дескриптивную лингвистику» Г. Глисона), так и серьезные труды других направлений («Принципы истории языка» Г. Пауля, «Общая лингвистика и вопросы французского языка» Ш. Балли, «Философия грамматики» О. Есперсена). В 1960 г. В. А. Звегинцев основывает существующую и в наши дни серию переводов «Новое в лингвистике» (современное название «Новое в зарубежной лингвистике»), которая играла и играет важную роль, знакомя советских ученых с наиболее интересными работами зарубежных языковедов. Для развития лингвистического кругозора оказалась полезной основанная в 1959 г. серия «Языки народов Азии и Африки», хотя уровень описания материала во многих работах этой серии оставляет желать лучшего. Воображение многих захватили идеи машинного (автоматического) перевода, которые впервые были высказаны на Западе в 1946 г., а в 1949 г. в США впервые применены на практике [11; 12, с. 6] <sup>6</sup>.

4 О реакции А. А. Холодовича на сталинский опус см. воспоминания Юрия Рыт-

вода была высказана советским изобретателем П. П. Троянским [12, с. 26; 13, 14].

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> См. следующие рецензии на работы группы [2—8].
 <sup>3</sup> Первоначально группа называлась группой структурно-типологического изучения языков, однако в конце 70-х годов, в период усиленной борьбы со структурализмом, это название было заменено на ныне существующее

б Следует отметить, что именно в 30-е годы на русский язык были переведены такие значительные работы, как «Курс общей лингвистики» Соссюра, «Язык» Э. Сепира, книги Ж. Вандриеса и А. Мейе.

6 Справедливости ради следует отметить, что еще в 1933 г. идея машинного пере-

Знакомство с новыми проблемами, успешно разрабатывавшимися зарубежными лингвистами, поставило в повестку дня вопрос о том, каким образом советские лингвисты могут наиболее успешно подключиться к решению этих проблем. По этому вопросу, с нашей точки зрения, было найдено наиболее разумное решение, а именно — в языковедческих институтах АН СССР были созданы специальные секторы и группы для разработки различных проблем структурного языкознания, лингвистической типологии и машинного перевода: сектор Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова в Институте славяноведения, сектор С. К. Шаумяна в Институте русского языка, сектор А. А. Реформатского в Институте языкознания, группа Ю. К. Лекомцева в Институте востоковедения, группа Н. Д. Андреева и группа А. А. Холодовича в Ленинградском отделении Института языкознания 7.

К ученым старшего поколения, принявшим деятельное участие в создании этих групп, принадлежат А. А. Реформатский и А. А. Холодович, которые еще в 30-е годы познакомились со структурной лингвистикой и приняли ее основные идеи.

В вышеупомянутой статье, посвященной творческому пути А. А. Холодовича, мы уже писали о том, как формировались теоретические интересы этого замечательного востоковеда и лингвиста, который и по своему личному дарованию был склонен к строгому, логически выдержанному размышлению над явлениями восточных языков, не укладывающимися в рамки сложившихся теоретических представлений, основанных на ограниченном материале западных языков. На формирование А. А. Холодовича как ученого помимо структурализма оказали влияние и русское теоретическое языкознание XIX — нач. XX в., и отечественное японоведение, и идеи формализма, развивавшиеся в гуманитарных науках, и творческая атмосфера Института речевой культуры и других языковедческих учреждений в 20-х годах. В 30-х — нач. 50-х годов А. А. Хододович занимался разработкой конкретных вопросов японского и корейского языков — области, мало доступной ревнителям идейной чистоты в языкознании. И хотя любые конкретные вопросы всегда решались им на основе общетеоретического подхода, он в эти годы со свойственной ему осторожностью сравнительно редко выступал на общие темы. Однако после того как в языкознании на какое-то время были сняты запреты с теоретических исследований, не укладывающихся в господствующую доктрину, А. А. Холодович приходит к решению вплотную заняться универсальной синтаксической теорией и разрабатывает проект создания в этих целях специальной проблемной группы. Таким образом, научные устремления А. А. Холодовича вполне отвечали велению времени: он выступает с идеей создания проблемной группы именно тогда, когда это было и необходимо, и возможно.

А. А. Холодович проявил себя как умелый организатор науки. Вопервых, он сформулировал принцип формирования проблемных групп, который был подробно рассмотрен нами в уже упомянутой статье [9], Напомним лишь, что он уподоблял такую группу строительной бригаде, работающей под началом архитектора, или конструкторскому бюро, руководимому главным конструктором. Во-вторых, он очертил в первоначальном варианте и область теоретических изысканий для будущего научного коллектива.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Кроме того, в ряде вузов были организованы специальные отделения, в частности, на филологическом факультете МГУ — Отделение структурной и прикладной лингвистики, а на филологическом факультете ЛГУ — Отделение математической лингвистики.

Эта область была намечена в его статье «Опыт теории подклассов слов», впервые опубликованной в 1960 г. [15, с. 228 сл.] и пользовавшейся в то время широкой известностью. Во втором и третьем разделах этой статьи эскизно намечается теория синтаксических конструкций с финитным глаголом, занимающим центральную (ядерную) позицию в этих конструкциях (состав конструкции, классификация конструкций, отношения между конструкциями, операции с конструкциями, позволяющие выделить подклассы глаголов по валентности и значению). Специфика этой вербоцентрической концепции состоит в том, что в ней была введена довольно развитая система синтаксических понятий универсального характера (ядро, окружение, конфигурация, место и др.). Идеи, близкие концепции А. А. Холодовича, в дальнейшем развивает Ю. Д. Апресян в своем монографическом исследовании, опубликованном в 1967 г. [16], где семантика русских глаголов выявляется в связи с их дистрибуцией в конструкциях и с трансформациями этих конструкций в.

Впоследствии, когда в 1961 г. группа под руководством А. А. Холодовича была создана (первоначально в эту группу вошли В. П. Недялков и В. С. Храковский) и началась разработка плана практических исследований, исходная программа претерпела некоторые изменения. Было признано целесообразным сосредоточиться на типологическом изучении грамматических категорий глагола, связанных с синтаксисом предложения. Конкретизируя этот тезис, следует указать, что исходным объектом исследования были избраны глагольные конструкции, связанные трансформационными и деривационными отношениями типа (1) а)  ${\it Maльчи\kappa}$ прочитал письмо  $\to$  б) Письмо было прочитано мальчиком, (2) др.-кит. а) Чжан хань й по сян лян цэйнь «Чжан Хань разбил армию Сян Ляна» ->  $\rightarrow$  б) Цз $\bar{u}$ нь ся̀н ля́н цз $\bar{w}$ нь  $n\dot{o}$  «Ныне армия Сян Ляна разбита»; (3) индонез. a) Pasukan datang ke kota «Войска приходят в город» -- б) Pemerintah men-datang-kan pasukan ke kota «Правительство вводит войска в город». Такие конструкции образуют оппозиции, аналогичные оппозициям фонологических и морфологических единиц (напомним, что, по мысли А. А. Холодовича, «оптимальные» глагольные конструкции, или конфигурации, представляют собой языковые единицы в соссюровском смысле [15, с. 237]). В этих конструкциях употребляются либо разные категориальные формы одного глагола, см. (1), либо исходный глагол и его однокоренной дериват, см. (3), либо одна и та же глагольная форма, см. (2). Таким образом, разные члены одной синтаксической оппозиции выражают специфические значения одного категориального признака, что маркируется и в морфологии глагола, и в формах его окружения и/или в линейной структуре конструкции.

Выбор в качестве объекта исследования глагольных конструкций, связанных трансформационными и деривационными отношениями, по существу определил и круг вопросов, на которые было необходимо получить ответы в процессе исследования. Вот их примерный перечень. Какие типы категориальных значений реализуются в синтаксических оппозициях глагольных конструкций? Можно ли составить своего рода каталог таких значений («библиотеку смыслов», как часто говорил А. А. Холодович)?

99

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> А. А. Холодович не прибегал к понятиям синтаксической трансформации деривации, предпочитая говорить об «обращении» и «преобразовании» конструкций. В работах группы понятия трансформации и деривации не имеют формального определения, как это делается в генеративной грамматине. Они понимаются как парадигматические отношения конструкций, аналогичные словоизменению и словообразованию в морфологии.

Будет ли этот каталог включать только универсальные значения или также значения, специфичные для языков разного строя или, может быть, разной генетической принадлежности? Можно ли выявить закономерности формальной организации конструкций, выражающих определенное грамматическое значение, и установить типологию формальных средств, используемых для его выражения? Эти вопросы и составили конкретную теоретическую программу группы типологических исследований, в соответствии с которой были исследованы каузатив, залог (актив/пассив), рефлексив и реципрок, объединенные в категорию референтности, результатив, глагольная множественность (мультипликатив/дистрибутив/итератив), императив, а также значения непредикатных глаголов (отрицательные, аспектуальные, темпоральные, пассивные, бенефактивные, модальные, таксисные, каузативные), которые функционально сближаются с содержательными грамматическими категориями знаменательных глаголов.

О том, как теоретическая программа реализуется в конкретных исследованиях, можно судить уже по первой коллективной монографии группы «Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив» [17]. Процитируем в качестве примера начало главы, посвященной чукотскому языку: «Каким образом в чукотском языке разграничиваются значения типа "упасть" и "уронить", или, в более общем виде, значения "состояния" (s) и "каузированного состояния" (ksi), выражаемые глаголами V<sub>i</sub> и V<sub>i</sub>? Исследование текстов и эксперимент показывают, что разграничение указанных значений осуществляется либо на уровне "корней" и уровне флексий одновременно, либо на уровне аффиксов и уровне флексий одновременно, либо только на уровне аффиксов, либо только на уровне флексий» [17, с. 260-261]. Если иметь в виду, что значения «состояния» и «каузированного состояния» анализируются в главе в рамках соотносительных некаузативной и каузативной конструкций, то из приведенной цитаты следует, что исследование чукотского каузатива полностью отвечает научной программе группы.

Нелишне, видимо, подчеркнуть, что типологическое изучение категориальных значений опирается на гипотезу, в соответствии с которой такие значения, как, например, каузативное, императивное и т. п., выражаемые в разноструктурных языках, являются либо полностью семантически тождественными, либо имеют непринципиальные семантические отличия. Именно общность семантики создает необходимую базу для типологического анализа одноименных глагольных категорий (каузатив, результатив, императив и т. п.) в различных разноструктурных языках. Только разделяя эту гипотезу, можно серьезно думать о создании библиотеки универсальных смыслов, разумеется, располагая в этих целях специальным семантическим языком.

В основном в группе изучались такие категориальные значения, которые выражаются либо непосредственно в глаголе, либо в элементах предложения, реализующих его обязательную валентность. В соответствии с этим подходом из двух ситуативно синонимичных каузативных предложений (4) Дождь вынудил нас остаться дома и (5) Мы остались дома из-за дождя в сферу исследования попадает только первое. Однако указанный принцип, ставящий определенный формальный барьер, был нарушен или, если угодно, преодолен в коллективной монографии «Типология итеративных конструкций» [18], где анализировалась «несинтаксическая» (по Пешковскому) категория множественности ситуаций. Основная цель этой работы заключалась в том, чтобы, двигаясь от смысла к форме, установить те грамматические, лексические и контекстуальные сред-

ства, которые используются в предложении для выражения частных значений множественности: итератива, мультипликатива и дистрибутива как в одном и том же, так и в различных языках. Иными словами, в этой работе при описании итератива, мультипликатива и дистрибутива никакие структурные ограничения в расчет не принимаются. Так например, при регистрации формальных способов выражения итеративного значения учитываются и тот случай, когда это значение выражается редупликацией глагольной основы — ср. (6) чамал. иш usba wo?i?ida «Он к-нам часто-ходит», и тот случай, когда это значение выражается итеративным обстоятельством — (7) Мой ребенок в последнее время часто болеет.

Типологическая ориентация исследования категориальных значений создает стереоскопический эффект, позволяющий выделить и описать как универсальные, так и специфические компоненты значений каждой категории в конкретном языке и, кроме того, выделить существенный для типологии набор тех формальных характеристик, которые связаны с выражением значений данной категории как в одном и том же, так и в разных языках.

Изучавшиеся категории, предположительно входящие в искомый универсальный каталог, логически неоднородны и различаются по степени абстрактности, по синтаксическим импликациям, по коммуникативной роли в предложении. Наиболее конкретные категориальные значения могут быть истолкованы с помощью лексических средств. Например. «каузировать» = «делать так, чтобы», «результатив» = «состояние, наступившее в результате предшествующего действия». Такие истолкования, по-видимому, исключаются для более абстрактных залоговых значений. И активная конструкция типа (8)  $Bo\partial umeab$  открывает  $\partial eepb$ . и пассивная конструкция типа (9) Дверь открывается водителем обозначают одну и ту же денотативную ситуацию, а суть залоговой оппозиции сводится к тому, что актив и пассив выражают разные диатезы, т. е. разные соответствия между семантическими ролями — партиципантами ситуапии. называемой глаголом. — и синтаксическими елинипами — актантами ( = членами предложения), обозначающими эти семантические роди. В разных языках с активной и пассивной диатезами оказываются сцепленными определенные аспектуальные, модальные, коммуникативные значения, ноаначение залоговых форм остается одним и тем же в любом языке: каждая из них обозначает определенную диатезу. Заметим, между прочим, что изменение диатез не всегда маркируется с помощью категориии залога. Это обстоятельство подчеркнул еще А. А. Холодович, анализируя соотносительные активную и пассивную конструкции древнекитайского языка (10) Ян ша Пан «Ян убил Пана» и (11) Пан ша юй-Ян «Пан убит Яном». у которых нельзя усмотреть залоговых различий [15, с. 277]. Исчисление формальных способов маркирования диатез недавно было предложено в работе В. С. Храковского [19].

Если диатезы, маркируемые залоговыми формами актива и пассива, представляют собой соответствия двух рядов соотносительных единиц: семантических и синтаксических, то диатезы, маркируемые формами рефлексива и реципрока, традиционно относимыми к категории залога, дополнительно включают ряд референционных единиц, что позволяет вывести эти формы за пределы категории залога и объединить в рамках самостоятельной категории референтности. Рефлексивный глагол бриться отличается от нерефлексивного глагола брить тем, что его семантические роли агенс и пациенс кореферентны и соотносятся с одним актантом. Аналогичным образом реципрокный глагол целоваться отличается от не-

реципрокного глагола *целовать* тем, что в его диатезе два референта выполняют одновременно по две роли, агенса и пациенса, и при этом каждый из референтов соотносится с двумя различными актантами. Итак, кореферентность можно считать общим свойством рефлексива и реципрока в разных языках, которое в различных конкретных языках может сопровождаться регулярными изменениями значения: франц. *jeter* «бросать» — se jeter «бросаться» (моторный рефлексив), expliquer «объяснять» — s'expliquer «объясняться», т. е. «объяснять свои чувства, поведение» (посессивный рефлексив) [20, с. 238].

Изучение категориальных значений потребовало решения и некоторых других, хотя и второстепенных, но достаточно важных синтаксических, семантических и прагматических задач. Так, многие из анализированных категорий оказались тесно связанными с синтаксической валентностью глагола. В частности, при изучении каузатива выяснилось, что эта категория связана с повышением валентности. Иными словами, синтаксическая валентность каузативного деривата обычно на единицу больше, чем у исходного некаузативного глагола. Ср.: чуваш. вил- «умереть» (одновалентный глагол) — вил-ер- мубить» (двухвалентный глагол) — вил-ер- мтер «велеть убить» (трехвалентный глагол).

В свою очередь рефлексив и реципрок связаны с понижением валентности. Это значит, что синтаксическая валентность рефлексива и реципрока в стандартных случаях на единицу меньше, чем у исходного глагола. Ср.: брить (двухвалентный глагол) — брить-ся (одновалентный глагол), целовать (двухвалентный глагол) — целоваться (одновалентный глагол).

Что касается пассива, то он связан в ряде случаев с ослаблением валентности. Иными словами, одна из синтаксических валентностей пассива, а именно валентность на агентивное дополнение, часто является необязательной. Ср.: (12) Грабитель сломал дверь — (13) Дверь была сломана (грабителем).

Анализ явлений, связанных с изменением валентности, позволил внести коррективы в понятийный аппарат валентностной теории. В коллективной монографии «Категории глагола и структура предложения. Конструкции с предикатными актантами» [21] было предложено «все семантические эдементы, которые обладают обязательными валентностями, или открывают места для других семантических элементов, называть функторами» [21, с. 15]. Места, открываемые функторами, могут занимать либо функторные переменные, либо нефункторные, иначе предметные переменные. Особо была отмечена важная роль при классификации функторов их первых двух валентностей. С учетом этой роли в отдельный класс были выпелены функторы, первые две валентности которых не могут быть пропозиционными. Именно эти функторы и только их было предложено называть предикатами. При таком подходе к предикатам относятся и функторы типа спать, сидеть, давать, все места которых заняты предметными переменными, и функторы типа благодарить, награждать, которые обладают валентностями на пропозиционные переменные, занимающие. однако, места не выше третьего.

Как известно, описание языка может моделировать либо языковую компетенцию говорящего, либо языковую компетенцию слушающего. В первом случае описание идет в направлении от смысла к форме, во втором случае описание идет от формы к смыслу. В принципиальном плаже типологическое описание является описанием первого типа, ибо исследователя прежде всего интересует, как некоторое категориальное значение выражается в различных конкретных языках. Вместе с тем для типо-

логии представляет интерес в известном смысле противоположная запача а именно установить эмпирические пределы семантической неоднозначности грамматических показателей изучаемых категорий. При таком полходе исходным объектом исследования служит грамматический показатель с опрепеленным значением, а цель исследования заключается в том чтобы установить, какие другие значения могут быть присущи этому показателю, случайна ли обнаруженная комбинация значений или жа она не случайна и в принципе можно прогнозировать допустимые комбинации определенных значений. Эта задача с той или иной степенью полробности решалась в ряде коллективных монографий группы, начиная с первой — «Типология каузативных конструкций» [17], где было показано, что каузативные морфемы могут выражать и другие значения, которые либо комбинируются с каузативным значением. либо вытесняют его. В качестве иллюстрации первого случая можно привести инструментативно-каузативное значение, когла показатель обозначает. «чтосубъект использует для определенного действия какой-нибудь предмет (как бы "заставляя" его действовать), например: ...индонез. gosok "тереть" → gosok-kan "тереть чем-л."» [17, с. 37]. В качестве иллюстрания второго случая можно привести бенефактивное значение, когда показатель обозначает, что действие выполняется в интересах некоторого лица. например, индонез, membeli «покупать» -> membeli-kan «покупать пля кого-л.». Результаты проведенных исследований подводят к мысли. чтозначения, выражаемые изучаемыми формальными показателями, «по-випимому, не выходят в основном за определенные смысловые пределыв

Важный аспект семантики, которому постоянно уделяется внимание в работах группы, — дифференциация исследуемых категориальных значений. Так, например, каузативное значение подразделяется на фактитивное и пермиссивное. В первом случае импульс каузации исходит от каузатора: (14) Я велел ему прийти. Во втором случае импульс каузации исходит от каузируемого субъекта: (15) Я разрешил ему прийти.

На двух уровнях осуществляется дифференциация значения неопределенной множественности ситуаций. На первом уровне в рамках исчисляющей классификации неопределенное множество ситуаций делится на мультипликатив: (16) Больной кашлял всю ночь, дистрибутив: (17) За неделю лисица перетаскала соседских цыплят и итератив: (18) Мальчик каждый год ездит к бабушке. Этим значениям дается относительно строгое толкование.

Mult  $\{P(X, Y, ..., Z)\}$  = «имеет место неоднократное осуществление ситуации P(X, Y, ..., Z); во всех повторяющихся ситуациях представлены тождественные наборы актантов; повторение происходит в один период времени T (который может включать момент речи или любую другую точку отсчета)».

Distr  $\{P(X, Y, \ldots, Z)\} = \epsilon$ имеет место неоднократное осуществление ситуаций  $P_1, P_2, \ldots, P_n$ , отличающихся от ситуации  $P(X, Y, \ldots, Z)$ тем, что каким-либо одним и тем же актантом/сирконстантом каждой  $P_i$  ситуации является один из единичных представителей  $x_1, x_2, \ldots, x_n/y_1, y_2, \ldots, y_n/z_1, z_2, \ldots, z_n$  совокупного актанта/сирконстанта  $X/Y/\ldots$ .../Z; повторение происходит в один период времени T (который может включать момент речи или любую другую точку отсчета)».

Iter [P(X, Y, ..., Z)] = «имеет место неоднократное, относительно регулярное осуществление ситуации P(X, Y, ..., Z); во всех повторяющихся ситуациях представлены тождественные наборы актантов; каждая

повторяющаяся ситуация происходит в отдельный период времени T (не включающий момент речи или любую другую точку отсчета), т. е. ситуация  $P_1$  происходит в период времени  $T_4$ , ситуация  $P_2$  — в период времени  $T_2$ , ситуация  $P_3$  — в период времени  $T_4$ ».

Классификация второго уровня не исчисляющая, а эмпирическая; в рамках этой классификации осуществляется субкатегоризация мультипликатива, дистрибутива и итератива. К разновидностям мультипликатива относятся: 1) альтернатив, обозначающий неоднонаправленное движение. например арм. vaz-vz-el «бегать туда-сюда»; 2) дупликатив, обозначающий антонимичные лействия: чамал. b-ikuka «зажигаться и гаснуть» = «мерцать»: 3) раритив, обозначающий большие интервалы межлу повторяющимися пействиями и/или слабый звуковой/зрительный эффект, производимый повторяющимися действиями: селькуп. lap-t-ympygo «хлопать время от времени»: 4) сепетив, обозначающий небольшие интервалы межлу повторяющимися действиями и/или сильный звуковой/зрительный эффект, произволимый повторяющимися пействиями: индонез, mengg-el-egar «сильно грохотать»: 5) пелимитатив, обозначающий, что повторение пействий осуществляется в ограниченно длительный период времени: тоф. кыла-с - кыла-с кын- «посверкать»; 6) пуратив, обозначающий, что повторение пействий осуществляется в неограниченно длительный период времени: индонез. mencicit-cicit «пищать долго».

В зависимости от того, какой актант является совокупным, среди дистрибутивов различаются: 1) субъектный дистрибутив: no-nadamь; 2) объектный дистрибутив: nepe-ломать; 3) адресатный дистрибутив: pas-damь.

Среди частных значений итератива отметим: 1) дисконтинуатив, обозначающий, что интервалы между повторяющимися ситуациями больше нормы: (19) татар. Фәрид кинога бар-гал-п торды «Фарид в-кино иногдаходил»; 2) фреквентатив, обозначающий, что интервалы между повторяющимися ситуациями меньше нормы: (20) япон. Кокова ари-цукэтэ-иру мити-да «Это часто-хожу дорога-есть» — «Это дорога, по которой я часто хожу»; 3) узитатив, обозначающий, что ситуации повторяются с некоторой эмпирически наблюдаемой вероятностной закономерностью: (21) Мы обычно отдыхаем в деревне.

Обобщая сказанное, можно утверждать, что в центре внимания практически всех коллективных монографий, подготовленных в группе, выступают значения какого-либо категориального признака, которые реализуются в семантически и формально противопоставленных синтаксичеких конструкциях, связанных трансформационными или деривационными отношениями. Что касается формальных средств выражения этих значений, то они каталогизируются и в ряде случаев либо самостоятельно, либо с учетом некоторых семантических свойств используются для типологической классификации языков. Например, в монографии «Типология итеративных конструкций» описываемые языки делятся на три группы в зависимости от формальных особенностей средств, используемых для выражения мультипликатива, дистрибутива и итератива. В одну группу вошли языки (алеутский, эвенкийский и др.), в которых используются специализированные грамматические средства для выражения указанных значений. Другую группу составили языки (например, эве, литовский), в которых используются как специализированные, так и неспециализированные грамматические средства для выражения итератива. Третья группа включает языки (например, армянский, кхмерский), в которых для выражения итератива в основном используются лексические средства.

В монографии «Типология результативных конструкций» исследуемые языки пелятся на пять групп. В одну группу вошли языки (например, китайский, нивхский), для которых характерен объектный результатив с конкретно-результативным значением. В следующую группу вошли языки (например, русский, литовский), в которых объектный результатив имеет общерезультативное значение и при этом результатив формально совпалает с пассивом. В третьей группе представлены языки (например. немецкий, армянский), в которых объектный результатив также имеет общерезультативное значение, но пассив либо отсутствует, либо пассив и результатив преиставлены полностью или частично различающимися формами. Четвертую группу составляют языки (например, эвенкийский, грузинский), в которых есть две формы объектного результатива: одна имеет конкретно-результативное значение, а пругая — общерезультативное, и при этом эта форма формально совпадает с пассивом. В пятую группу, в которой объектного результатива нет, вхолит только один язык фула.

Такие нестрогие классификации в основном носят регистрирующий характер. Исследований, в которых бы вскрывались причины, детерминирующие распределение определенных языков по определенным группам, пока еще не проводилось, хотя важность их не подлежит никакому сомнению.

Еще одна семантическая проблема, которая, не будучи профилирующей, тем не менее затрагивается в работах группы, — это проблема семантической классификации глаголов. Дело в том, что глагольная семантика может либо способствовать, либо препятствовать реализации определенного категориального значения. Так, в коллективной монографии «Залоговые конструкции в разноструктурных языках» [20] было, в частности, показано, что «возможность образования пассивной диатезы прежде всего определяется значением глагольной лексемы. Больше других иметь эту диатезу "предрасположены" глагольные лексемы ... обозначающие конкретные физические действия субъекта с объектом, имеющие следствием эксплицитно наблюдаемые результаты. Таковы, например, предельные глаголы (типа открывать, строить, убивать и т.п.), составляющие значительную часть глагольной лексики любого языка» [20, с. 8].

«Нулевыми потенциями пассивного преобразования в различных языках обладают глаголы "не-действия", к числу которых относятся, например, глаголы меры (стоить, весить), наличия и содержания (иметь, владеть, содержать, вмещать), отношения (соответствовать, превосходить)... Глаголы физического действия и глаголы не-действия по своим потенциям к пассивному преобразованию как бы относятся к двум полюсам, между которыми располагаются другие смысловые группы глаголов (например, глаголы отчуждения и присвоения, речи, восприятия, глаголы интеллектуальной, эмоциональной и психической деятельности, движения и положения в пространстве и др.), которые в различных языках либо употребляются в пассивной конструкции, либо нет» [20, с. 9].

Подобные наблюдения имеют эвристическую ценность, поскольку предсказывают вероятность наличия аналогичных свойств у глаголов со сходной семантикой в еще не обследованных языках.

Рассмотрим исследовательские принципы и приемы работы с материалом, которые «взяты на вооружение» сотрудниками группы типологических исследований. Несколько упрощая реальное положение вещей, исследовательский процесс можно разделить на три этапа. На первом этапе происходит «первоначальное накопление» эмпирического материала. Ав-

торы конкретных глав будущей коллективной монографии работают с письменными текстами, пользуются помощью информантов, составляя картотеку примеров, в которых представлены формы, выражающие изучаемые значения. Иначе говоря, создается корпус примеров, в котором представлена определенная синтаксическая конструкция. будь то каузативная, пассивная, результативная, императивная и т. п. Опновременно авторы конкретных глав анализируют существующие описания отцельных языков, извлекая всю необходимую информацию. После того, как материал собран, анализу подвергаются синтаксические конструкции, образующие грамматическую оппозицию, например, активная и пассивная, с тем, чтобы самым тшательным образом зафиксировать их семантические и формальные отличия. Одна из двух сравниваемых конструкций обычно является исходной, базисной, а другая ее производной, иными словами, мы имеем пело с явлениями перивационного синтаксиса. Олнако иногла сравниваемые конструкции оказываются равноправными, т.е. ни одну из них нельзя считать ни исходной, ни производной. Именно такая ситуапия характерна для активной и пассивной конструкции в яванских языках (подробнее см. [22, с. 251-258]).

Заметим, что проводимые в группе исследования являются установочно синхроническими, что накладывает соответствующие ограничения на отбор эмпирического материала, при этом ограничений на выбор какой-либо одной формы существования языка нет. Например, в монографии «Типология результативных конструкций» отдельные разделы были посвящены русскому литературному языку и русским говорам.

Из сказанного следует, что на первом этапе проводится необходимая подготовка к последующему типологическому исследованию, которое составляет второй этан работы. На этом этапе серьезную работу выполняют авторы концептуальных глав, открывающих каждую коллективную монографию. Учитывая данные, собранные на первом этапе авторами конкретных глав, а также всю необходимую литературу, авторы-теоретики строят универсальное смысловое определение исследуемой категории, которое не зависит от формальных особенностей конкретных языков. В основу этого определения положен относительно небольшой набор исходных понятий и операций семантико-синтаксического плана. Идеальными представляются такие определения, которые позволяют строить исчисляющие классификации изучаемой категории. Особенность исчислений состоит в том, что базу их составляют диагностические признаки, комбинаторика значений которых исчерпывает все теоретические возможности реализации изучаемой категории. Исчисления моделируют потенциальные особенности языковой системы, тогда как в конкретных языках обычно реализуется лишь часть логических возможностей, предусмотренных исчислением. Иными словами, исчисления объясняют и наблюдаемые факты, и факты, которых в данном языке или вообще в языках нет, но в принципе могли бы быть. Исчисления важны как пля типологического. так и для конкретно-языкового описания категорий, поскольку некоторые логические возможности, предусмотренные исчислением, могут не соотноситься с формальными парадигматическими системами конкретного языка и потому не учитываться в традиционном описании. Исчисляющие классификации были использованы при описании залога, множественности, императива [23, 18, 24].

Ко второму этапу относится и составление анкеты, включающей те вопросы, на которые должен отвечать исследователь данной категории в конкретном языке. Наличие анкеты с постоянным порядком следования вопросов предопределяет стандартную форму описания, хотя, разумеется, в конкретных описаниях могут отсутствовать ответы на некоторые вопросы анкеты, что связано с типологическими особенностями данного языка. Если в первых коллективных монографиях группы анкета существовала, так сказать, в имплицитной форме, то впоследствии анкета начинает оформляться эксплицитно, см. например [25].

Важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, состоит в следующем. У каждой концепции, у каждого исчисления, у каждой анкеты есть конкретные авторы, которые несут за них полную ответственность. Однако реально в их создании участвует весь авторский коллектив, поскольку все они неоднократно обсуждаются на заседаниях группы и фактически являются плодом коллективного разума. Именно это обстоятельство и позволяет авторам конкретных глав в коллективных монографиях на третьем заключительном этапе исследования строить конкретные описания в полном соответствии с концептуальными установками, выработанными на предыдущем этапе исследования. На заключительном этапе мы совершаем восхождение от абстрактного к конкретному, но по сравнению с первым этапом описание оказывается цельным, системным, концептуально обоснованным, и при этом допускает сравнение с другими языками, описание которых проведено на той же основе.

Нелишне, видимо, заметить, что деление исследовательского процесса на три этапа является скорее логическим, чем временным, ибо в конкретной работе авторы нередко могут одновременно решать задачи, относящиеся к разным стадиям исследования.

Завершая наши заметки, мы хотели бы подчеркнуть, что для группы характерен свой подход, своя методика исследования, достоинства которых можно усмотреть в том, что, независимо от избираемого объекта исследования, от степени его изученности, удается получать новые результаты, важные как для типологии, так и для описаний конкретных языков.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Дэже Л. Универсальная грамматика и школа Холодовича // ВЯ. 1987. № 5.
- Macháčkova E., Daneš F. // Sas. 1975. V. 36. No 3. Rec.: Sovetska prace o tipologii pasivnich konstrukcij.
   Veyrenc J. // BSLP. 1975. T. 70. No 2. Rec.: Tipologia passivnych konstrukcij (diatezy i zalogi). Leningrad, 1974.
   Babby L. H. // Language. 1976. V. 52. No 3. Rec : Tipologija passivnyx konstrukciji diatezy i zalogi.
- cij: diatezy i zalogi. 5. Дэже Л. // ВЯ. 1977. № 3. Рец. на кн.: Типология пассивных конструкций. Диа-
- тезы и залоги. Л., 1974. 6. *Шубик С. А.* // ВЯ. 1978. № 6. Rec.: Satzstruktur und Genus verbi. Hrsg. von
- Lotsch R. und Ružička R. B., 1976. 7. Козинский И. Ш. // ВЯ. 1985. № 5. Рец. на кн.: Типология результативных ком-
- струкций (результатив, статив, пассив, перфект).

  8. Knott J. M. The Leningrad group for the typological study of languages // School of Oriental and African studies. L., 1988.

  9. Оглоблин А. К., Храковский В. С. А. А. Холодович. Творчество и научная шко-
- ла // Типология и грамматика. М., 1990.

- ла // Інпология и грамматика. м., 1990.
   Рымхзу Ю. Путешествие в молодость, или Время красной морошки // Дружба народов. 1989. № 5. С. 19—20.
   Машинный перевод. М., 1957.
   Мельчук И. А., Равич Р. Д. Автоматический перевод. 1949—1963. М., 1967.
   Ахманова О. С., Мельчук И А., Падучева Е. В., Фрумкина Р. М. О точных методах исследования языка. М., 1961.
   Переводная машина П. П. Троянского. М., 1959.
   Халодовия А. И проблемы грамматической теории П. 1979.
- Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
- 16. Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. M., 1967.

47. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969.

18. Типология итеративных конструкций. Л., 1989.

19. Храковский В. С. Маркировка диатез (опыт исчисления) // Всесоюзная конф. по лингвистической типологии: Тез. докл. М., 1990.

20. Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.

- 21. Категории глагола и структура предложения. Конструкции с предикатными актантами. Л., 1983.
- 22. Оглоблин А. К. О соотношении актива и пассива в языках яванской группы // Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.

23. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л., 1974.

24. Храковский В. С. Володин А. П. Семантика и типология императива. Русский

императив. Л., 1980. 25. Храковский В. С. Типологическая анкета для описания побудительных конструкций // Функционально-типологические проблемы грамматики: Тез. научно-практ. конф. Вологда, 12-13 июня 1986 г. Ч. 2. Вологда, 1986.

ПРИЛОЖЕНИЕ

## козинцева н. а.

## РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГРУППЫ ЗА 30 ЛЕТ

Рассматриваются семь коллективных трудов: Типология каузативных конструкций (Л., 1969); Типология пассивных конструкций (Л., 1974); Залоговые конструкции в разноструктурных языках (Л., 1981); Категории глагола и структура предложения (Л., 1983а); Типология результативных конструкций (Л., 19836); Typology of resultative constructions (Amsterdam, 1988); Типология итеративных конструкций (Л., 1989).

Приведем список языков, исследовавшихся в коллективных моногра-

фиях (в скобках указаны годы публикаций):

1) абхазский (1969); 2) алеутский (1988, 1989); 3) английский (1981, 1983а, 1989); 4) арабский (1969, 1983б, 1988, 1989); 5) арчинский (1983б, 1988); 6) армянский (1974, 1981, 1983а, 19836, 1988, 1989); 7) бацбийский (1969); 8) бирманский (1974, 1981); 9) бурятский (19836); 10) валлийский (1974); 11) венгерский (1969); 12) вьетнамский (1974, 1981, 1983а, 1989); 13) грузинский (1969, 19836, 1988); 14) дагестанские языки (1983a); 15) догон (1988); 16) древнегреческий (1974, 1981, 19836, 1988); 17) древнекитайский (1969, 1974, 1981, 1983а, 19836, 1988, 1989); (18) индонезийский (1969, 1974, 1981, 1983a, 19836, 1988, 1989); 19) ительменский (1969, 1989); 20) испанский (1974); 21) кламат (1989); 22) кетский (1983а); 23) кхмерский (1983а, 1989); 24) литовский (1974, 1981, 1983а, 1983б, 1988, 1989); 25) монгольский (19836, 1988); 26) немецкий (19836, 1988, 1989); 27) нивхский (1974, 1981, 1983б, 1988); 28) норвежский (1983б, 1988); 29) русский (19836, 1988, 1989); 30) русские говоры (19836, 1988); 31) суахили (1969); 32) тагальский (1983a); 33) таджикский (1969); 34) тамильский (1974); 35) татарский (1974); 36) тонга (1988); 37) тюркские языки (1989); 38) узбекский (1983а, 1983б, 1988); 39) финский (1969, 1983б, 1988); 40) франпузский (1974, 1981, 1983a, 1989); 41) фула (19836, 1988); 42) xayca (1981, 1989); 43) хинди и урду (1989); 44) чамалинский (1989); 45) чувашский (1969); 46) чукотский (1969, 1983а, 1983б, 1988); 47) эве (1988; 1989); 48) эвенкийский (1983а, 1983б, 1988; 1989) 49) эскимосский (1981, 1983а, 19836, 1988, 1989); 50) японский (1969, 1974, 1989).

Результаты по уровню общности можно разделить на следующие группы: 1) конкретно-языковые; 2) общеязыковые, связанные с разработкой 
схемы описания (изучения) данной категории в разных языках; 3) общетеоретические, связанные с реализацией нового подхода к изучению языка, 
углублением общетеоретических представлений о языке, языковом знаке, 
методе типологического анализа, направлении типологических исследований. Границы между этими уровнями, естественно, нечеткие. Ниже приводятся результаты преимущественно второго и третьего уровней.

## Типология каузативных конструкций

Уровень 3: Реализация направления исследования от референтного уровня к грамматическому. Последовательное использование понятия ситуации как элемента языковой семантики («действительность может быть представлена как множество ситуаций или событий», с. 5). Введение и развитие представления об аналогии между деривацией синтаксических конструкций и словообразованием. Включение каузатива в общий механизм изменения валентности глагола. Осмысление каузатива как грамматической категории, воздействующей на структуру предложения. Конкретизация постановки вопроса о соотношении синтаксиса и морфологии.

Уровень 2: Выработка универсальной классификационной схемы каузативных конструкций по ряду признаков: 1) по способу выражения каузации; 2) по служебному или знаменательному характеру каузативной связки; 3) по семантике и частеречной принадлежности каузативной связки. Разработка классификации каузативных глаголов. Классификация элементов окружения каузативной связки — сегментов. Выделение семантических типов каузации. Сводка данных о многозначности каузативных морфем. Сводка данных о полисемии антикаузативных морфем. Разработка программы исследования конкретных каузативных оппозиций в разных языках. Выявление многообразия семантических типов связей каузативных, некаузативных и околокаузативных значений, выявление неоднозначности соотношения каузатива и некаузатива. Выявление несовпадения смысловых областей, покрываемых лексическими и морфологическими каузативными оппозициями в различных языках.

Уровень 1: Классификация структурных типов каузативных конструкций русского языка. Выражение каузативности с помощью порядка слов в древнекитайском языке и мн. др.

# Типология пассивных конструкций

Уровень 3: Анализ соотношения между синтаксической структурой предложения и семантикой глагола. Введение двух уровней рассмотрения членов предложения — синтаксис и семантика. Определение понятия языковой ситуации как включающей не только коммуникативную ситуацию, но и отношение говорящего к этой ситуации. Построение грамматической теории залога, опирающейся на понятие синтактики знака. Разработка принципов деривационного синтаксиса и их реализация на языковом материале. Сформулированы признаки, характеризующие исходную конструкцию в терминах соотношения актантов, единиц семантического уровня и референтов, а также введено представление об иерархии семантических и синтаксических понятий. Выявление четырех уровней синонимии синтаксических конструкций: 1) лексикографического толкования глагола, 2) лексем, 3) грамматических значений, 4) коммуникативной рамки.

Уровень 2: Выявление соотношения эргативного и номинативного строя и категорий актива и пассива. Исследование круга значений, выражаемых показателем пассива: 1) состояние предмета, являющееся результатом действия, 2) каузативность, 3) модальные значения (потенциальность), 4) возвратное и взаимное значения, 4) неопределенность, неизвестность, или несущественность субъекта, 5) актуальное членение предложения—тематизация объекта; 7) стилистическое значение. Выделение типов образования пассивных конструкций в зависимости от валентности глагола. Анализ соотношения актива и пассива. Связь ограничений на возможность образования пассива с семантикой актантов. Выявление особенностей семантики видовременных форм в пассивных конструкциях. Выявление условий употребления двучленного пассива.

## Залоговые конструкции в разноструктурных языках

Уровень 3: Развитие теории семантической структуры предложения — выделение уровней партиципантов, актантов и референтов. Обобщение понятия диатезы как соответствия между тремя уровнями. Семантическая и синтаксическая классификация актантов. Переориентация приоритетов морфологических и синтаксических понятий в практике описания рефлексива и реципрока.

Уровень 2: Обоснование грамматического статуса рефлексива, реципрока и декаузатива как отдельных от залога грамматических категорий. Синтаксическая и семантическая классификация рефлексивных и реципрокных конструкций. Деление языков на группы по рецессивности/нерецессивности рефлексива: 1) армянский, греческий, литовский, нивхский (рецессивный); 2) бирманский, вьетнамский, индонезийский, китайский (нерецессивный); 3) русский, французский (рецессивный и нерецессивный).

# Категории глагола и структура предложения

Уровень 3: Развитие теории пропозиции и рамки. Классификация функторных глаголов. Обоснование включения в сферу грамматического исследования строевой лексики. Преодоление морфологического подхода к грамматике. Развитие предпосылок для выработки единого языка для описания грамматики и лексики. Углубление представления об асимметрическом дуализме языкового знака на примере асимметрии синтаксической и семантической структуры предложения с фазовыми глаголами. Развитие деривационного подхода к описанию языковых фактов при изучении способов оформления предикатных актантов.

Уровень 2: Описание специфических особенностей функторных глаголов в отдельных языках. Выделение смысловых классов предикатноактантных глаголов и установление их неглагольных соответствий в языках различных типов.

# Типология результативных конструкций Typology of resultative constructions

Уровень 3: Постановка вопроса об изучении одноименных грамматических категорий в разных языках (результатив, перфект, пассив), анализ их общих и специфических особенностей. (Если в предшествующих работах речь шла о типологии языков по способу выполнения ими общего смыслового задания, то в этой и в последующих работах сама «общность

смыслового задания» является предметом специального анализа.) Установление генетических связей между результативом и перфектом в индоевропейских языках.

Уровень 2: Выделение семантических категорий результатива и статива. Установление их соотношения с перфектом и перфективом. Классификация языков по наличию специальных/совмещенных форм, выражающих перфект, результатив и статив. Исчисление специфических особенностей результатива и классификация языков по наличию результатива с этими особенностями. Выделение диатезных типов результатива: субъектный, объектный, посессивный, косвенно-объектный, субъектно-имперсональный, объектно-имперсональный. Изучение структурных типов форм результатива. Типы соотношения результатива, видовременных и залоговых форм; классификация языков по типу соотношения указанных форм и т. д.

# Типология итеративных конструкций

Уровень 3: Вовлечение в синтаксический анализ традиционно морфологической или лексической проблематики. Исчисление системы значений множественности действия и разработка терминологии. Группировка языков на три типа по характеру выражения значения множественности.

Уровень 2: Обоснование тезиса о том, что аспектуальные значения карактеризуют не только предикат, но все предложение. Выявление связи типов множественности действия и средств их выражения с типами глагольных предикатов. Анализ видовременных систем ряда языков с точки врения выражения множественности. Установление универсальных связей между лексическим типом предиката и возможностью/невозможностью его квантификации (счета, итератива). Установление связей между множественностью и ирреальностью (в русских конструкциях с формами настоящего-будущего СВ, англ. формы с would), множественностью и таксисом. Разработка вопроса о связи категорий имени и глагола при выражении множественности действия — участие числа имени, категории определенности / неопределенности, местоименных кванторных слов в выражении значений множественности действия.

## из истории науки

© 1991 г.

#### ЖУРАВЛЕВ В. К.

# теория языковой эволюции е.д. поливанова

(К 100-летию со дня рождения)

Пристальное внимание к научному наследию Е. Д. Поливанова диктуется тем, что он был выдающимся представителем блестящей плеяды отечественных ученых 20-30-х годов. Именно в эти годы формировались новые принципы научного мышления, наиболее ярко проявившиеся в физике, математике, биологии и химии. В процессе закладки фундамента НТР отечественная наука вообще и лингвистика в частности играли достойную роль. Что касается собственно лингвистики, то именно в этот период она пересматривала свои основополагающие принципы, завершая ту эпоху, когда единственно научным признавался сугубо исторический подход к явлениям языка, эпоху крупнейших достижений сравнительно-исторического метода, разработанного на материале индоевропейских языков. Необходимо было обобщить достижения индоевропейского сравнительноисторического языкознания и наметить пути экстраполяции его научных достижений на материал других языков. И, наконец, именно в этот период, именно в нашей стране лингвисты разрабатывали теоретические основы «языкового строительства».

В центре научных интересов Е. Д. Поливанова — самые разнообразные проявления языковой эволюции. Его деятельность пронизана поисками наиболее общих закономерностей развития языка, что должно было в конечном итоге привести к созданию общей теории. Постепенно создается книга «Теория эволюции языка». Удалось, однако, издать в 1923 г. на узбекском языке в Ташкенте лишь ее первый небольшой вариант или фрагмент «Понятие эволюции языка». Рукопись целой книги, о которой неоднократно говорил и писал Поливанов, пока не обнаружена [1, с. 318]. По отдельным публикациям можно судить о целостной концепции языковой эволюции Е. Д. Поливанова.

Наиболее характерной ее особенностью является строгое разграничение сферы непосредственного воздействия социальных факторов и собственно внутренних законов развития «языковой техники». Такое разграничение восходящее к бодуэновской концепции внешних и внутренних «сил», имеет огромное методологическое значение общенаучного характера, являясь непременным условием вскрытия причин и механизма эволюционных процессов. Оно так или иначе напоминает сходное разграничение в биологии: именно в эти годы рядом с генетикой встает популяционная генетика, зародившаяся в недрах отечественной науки. На месте своеобразного ламаркизма с его абсолютизацией внешних факторов, а в данном случае — социального воздействия на развитие языка (во Франции — социологическая школа, а также А. Мейе, А. Одрикур, в СССР — Р. О. Шор, Н. Я. Марр и др.) Поливанов выдвинул фундаментальную формулу: «экономический быт влияет на субстрат языка, а изменение субстрата от-

ражается на эволюции языка» [1, с. 222, примеч. 21], но существуют и иные», «(не социального) порядка факторы звуковых и грамматических изменений» [1, с. 85—86].

Любопытно, что Поливанов глубоко осознал и четко сформулировал положение о недопустимости объяснения звуковых изменений непосредственными экономическими сдвигами, весьма схожее со следующим замечанием Энгельса относительно «передвижения согласных»: «Едва ли удастся кому-нибудь, не сделавщись посмещищем, объяснить экономически... происхождение верхненемецкого передвижения согласных» [2]. «Требовать, чтобы какой-либо фактор экономического или политического порядка,— писал Поливанов,— изменил направление этого изменения, чтобы, например, вместо  $\mu$  или  $\nu$  (из  $\kappa$  смягченного) получился какойнибудь другой звук —  $\phi$ , x, x или x. x., ведь это равносильно было бы допущению, что от известного общественного сдвига (допустим, от такого крупнейшего факта, как революция) могло бы измениться направление в движении поршней паровоза, чтобы они задвигались не параллельно, а перпендикулярно направлению рельсов» [1, с. 226, ср. с. 86, 211].

Уделяя огромное внимание проблеме языковых контактов, глубоко вскрывая механизм межъязыкового взаимодействия, Поливанов все же предпочитал искать внутренние причины звукового изменения. Так, выявляя происхождение мягкостной корреляции согласных в дунганском, он подчеркивал, что постороннее, иноязычное влияние не исключено, но оно «...может быть только с о п у т с т в у ю щ и м у с л о в и е м, но н е м а т е р и а л о м самого процесса» [1, с. 117]. Материалом для такой корреляции послужили исконные сочетания согласных при наличии отдельных мягких согласных, еще не составлявших корреляцию.

Положение о принципиальной попустимости «самолвижения» «языковой техники», языковой материи ни в коей мере не противоречит постулату о социальной сущности языка. И наоборот, «признание зависимости языка от жизни и эволюции общества (и, значит; от экономического развития прежле всего) вовсе не отменяет и не отрицает значение естественноисторических теорий эволюции языка» [1, с. 226]. Поливанов неоднократно подчеркивал, что одностороннее объяснение причин языковой эволюции лишь внешними факторами, вне учета саморазвития — уже преодоленный этап развития науки: «Действительно, совершенно нелепым упрощенством будет попытка объяснить все факты современного, например, русского, языка экономическо-политической историей последних ста, трехсот или пятисот, а тем более последних двадцати лет, если объяснитель... упустит из вида технический момент эволюции языка: и материал эволюции..., и технические законы языкового развития» [1, с. 181]. Это положение Поливанова, весьма существенное и чрезвычайно смелое для эпохи 30-х годов, актуально и для наших дней. Глубокое осознание различий внешних и внутренних сил, внешней и внутренней лингвистики привело к расщеплению истории языка на две лингвистические дисциплины со своими специфическими задачами, предметом и методом: историческую грамматику и историю литературного языка. Отечественное языкознание раньше, чем зарубежная лингвистика, смогло преодолеть синкретизм истории языка, заложив основы новых дисциплин исторического цикла: истории литературного языка, с одной стороны, а с другой — диахронической фонологии и диахронической морфологии. В зарубежной романистике, например, объяснение языковых изменений стараются найти либо в доисторическом субстрате романских языков, либо непосредственно в политических или экономических процессах. Отечественная русистика традиционно нацелена на вскрытие внутренних закономерностей даже там, где субстрат русского языка зафиксирован и отдален от современного состояния русской речи на той или иной территории десятилетиями [3].

Отрицание непосредственного влияния социальных факторов на развитие языка при безоговорочном признании социальной сущности языка и положения о необходимости изучать эволюцию языка в теснейшей связи с эволюцией его носителей Поливанов объединил удивительно простым решением: социальные факторы непосредственно влияют на социум, а речевая деятельность последнего — на его язык. Он постоянно подчеркивал, что «...экономическо-политические слвиги вилоизменяют контингент носителей (или так называемый сопиальный субстрат) панного языка или диалекта, а отсюда вытекает и видоизменение отправных точек его эволюции» [1, с. 86]. Собственно объем и социальное содержание. «количественные и качественные изменения контингента носителей ланного языка» оказывают определенное воздействие на характер и теми языковой эволюции [1, с. 189, 191]. Сопиально-экономические и политические условия определяют характер «...кооперативной пеятельности этого коллектива. обусловливающей как экстенсивность.... так и интенсивность языкового общения» [1, с. 177], а в конечном счете — объем и содержание социального субстрата языка. На месте бинарной оппозиции «язык и общество» (непосредственная связь истории народа и его языка), преобразованной Бодуэном де Куртенэ в трехуленную (добавлено разграничение «внешнего» и «внутреннего»). Поливанов различал, с одной стороны, понятия «общества» (resp. «народа») и языкового коллектива, социального субстрата данного языка, диалекта или иной его формы (литературный язык и т. п.) и с другой — понятия народа, общества. Так, например, если социальным субстратом русского стандартного языка предреволюционной эпохи была русская интеллигенция, то после революции его субстрат не только значительно демократизировался, но и расширился за счет прежних «инородцев» [1, с. 214]. Эволюцию понятийного аппарата фундаментальной проблемы взаимоотношения языка и общества можно представить следующим образом 1:

1) Традиционная 2) Бодуэновская концепции	$\left. egin{array}{l} \mathbf{R} & \leftarrow \mathbf{O} \\ \mathbf{B} \mathbf{T} & \\ \mathbf{B} \mathbf{m} \end{array} \right\} \leftarrow \mathbf{O}$
3) Поливановская	ви.) Вт. ← Сб. Вш. ← О

Выдвижение во главу угла языковой эволюции социального субстрата данного языка еще недостаточно осознано, но это положение постепенно становится отправным пунктом при построении истории литературного языка и диахронической социолингвистики. Более того, это положение имеет огромнейшее значение в теории и практике языкового строительства. В решении проблем создания или реформы литературного языка центральной задачей является выбор «опорного диалекта». Если опорный диалект литературного языка выбран без учета перспектив динамики развития соответствующего языкового коллектива, то такой литературный язык рано или поздно с неизбежностью будет переживать сдвиг диалектной базы, перестройку своих норм. Постепенный сдвиг диалектной базы переживают сербскохорватский, болгарский и некоторые другие литературные языки.

¹ Сокращения: Я — язык; О — общество; Вт.— Внутренняя структура языка («языковая техника»); Вш.— Внешняя система языка; Сб.— Социальный субстравязыка.

В их основу были положены сельские территориальные диалекты. Сдвиг идет в сторону увеличения характерных черт столичных городских диалектов (соответственно Белграда и Софии), оказавшихся вне территории опорных диалектов. В эпоху формирования современного узбекского языка Е. Д. Поливанов резко возражал против попыток положить в его основу диалект сельских узбеков как наиболее «чистый», характерный, народный, массовый и т. п. Он предложил взять за основу литературного языка говор городских узбеков. Этот говор, хотя он и не свободен от инородных черт (иранизация, отсутствие сингармонизма), более перспективен в плане социально-экономического развития всех узбеков. И жизнь полностью подтвердила концепции Е. Д. Поливанова [5].

Исключительный интерес представляет выдвинутая Н. Д. Поливановым проблема «языковой преемственности»: «Знание языка и состав, языка, утверждал он, -- определяются не индивидуумом, а диктуются индивидууму коллективом» [1, с. 180]. Способы «языкового преемства» социально и исторически обусловлены, связаны с различными формами воспитания детей (коллективными или семейными) [1, с. 86], характером коммуникативных связей подрастающего поколения со сверстниками и старшими, характером работы над усвоением языка [1, с. 57] и т. п. Любопытно, что в многочисленных работах по теории литературного языка упущен его важнейший дифференциальный признак. Именно литературный язык нуждается в особом способе «преемства», сохранения и передачи последующим поколениям — в особом институте пеленаправленного обучения литературному языку, в различного рода школах. Родной устный разговорный язык передается из уст в уста, усваивается с молоком матери, спонтанно. В то же время нередко у носителей литературного стандарта «языковыми родителями» будут не «физические родители», а другие лица [1, с. 77].

Специфику эволюции «литературного стандарта» вслед за Е. Д. Поливановым можно обобщить в виде следующей антиномии: развитие литературного языка заключается отчасти в том, что он все меньше развивается. Чем больше культурных ценностей на данном литературном языке, тем больше люди дорожат языком как своим культурным достоянием, тем более ревностно усваивают нормы, принятые в языке, тем устойчивее

его фонетическая и морфологическая структуры (см. [4]).

Строгое разграничение внешних и внутренних факторов языковой эволюции позволило выявить специфику и механизм действия как одних, так и других и заложить фундамент как «внешней», так и «внутренней» лингвистической «историологии», сформулировать задачу создания общего учения «о действительных для всех языков принципах и причинах звуковой эволюции». Е. Д. Поливанов создал оригинальную теорию конвергентно-дивергентных процессов. Общепризнано, что эта теория является отправным пунктом (фундаментом) диахронической фонологии [5] и, безусловно, - других разделов диахронической лингвистики, разрабатывающих теорию внутренней эволюции, внутренние причины и механизм спонтанных изменений «языковой техники». Цель такой диахронической фонологии (как и всей диахронической лингвистики), по Поливанову, - «... уже не просто установление историко-фонетических фактов на разных этапах языковой истории, но прагматическая мотивировка этих фактов, в итоге дающая логически разъясненную картину всей данной эволюции...» [1, с. 135].

И в самом деле, концепция младограмматиков (как, впрочем, и современных генеративистов) позволяет устанавливать и хорошо описывать звуковые изменения. Их концепцию звуковых законов можно представить следующей формулой:  $L\left\{rac{a>b}{P}
ight\}$  T: звук (a) переходит в звук (b) в опре-

деленном фонетическом окружении позиции (Р) в данном языке на панном этапе его развития. В центре их внимания переход одного звука в другой сульба отдельного звука [6. с. 45]. Поливанов обратил внимание на судьбу звука (a), который не переходил в (b) вне условий перехода (позиции не-P). Оказывается, что (а) не просто переходит в (b), а расшепляется, пивергирует:  $a \rightarrow b$  —: —с. Более того, «дивергенция... есть не что иное, как обратная сторона двух конвергенций» [1, с. 71]. Естественно, дивергенты (b) и (с) полжны совпасть, конвергировать с какими-то другими звуками данного языка на данном этапе его развития: «в громалной массе случаев дивергенция сопутствуется той или иной конвергенцией, и при этом диктуется ею» [1, с. 71]. Формула конвергенции имеет следующий вид:  $a \times b \rightarrow$ → с. Эту взаимосвязь конвергентно-ливергентных процессов, формализуя поливановский конкретный пример [1, с. 111-112], можно выразить общей формулой:  $\mathbf{c} \leftarrow \mathbf{c} \times \frac{a_1}{p_1} : \frac{a_2}{p_2} \times \mathbf{b} \rightarrow \mathbf{b}$ . Таким образом, (a) дивергирует, варьируя в соответствующих позициях, расщепляется на (a<sub>1</sub>) и (а.), которые уже самостоятельно конвергируют с (b) и (c). Знесь отдельные звуковые изменения как бы сами собой связываются, взаимно мотивируя друг друга, превращаясь в цепь взаимосвязанных и взаимообусловленных событий. Формула Поливанова уже не просто удобный аппарат для описания историко-фонетических изменений [1, с. 111-112], но и совершеннейший аппарат, позволяющий вскрыть внутреннюю логику картины «всей данной эволюции». Применяя аппарат конвергентнодивергентной теории Е. Д. Поливанова, в принципе можно вскрыть весь ход эволюции фонологической системы данного языка. И в самом деле, наблюдая дивергенцию, следует искать рядом конвергенцию ее дивергентов, а далее - дивергенцию конвергентов; можно таким образом «прошить» всю историю данного языка [6, с. 188]. Глубина конвергентно-дивергентной теории Поливанова до сих пор не осознана во всей полноте: лингвисты черпают из нее отдельные детали, оставляя в стороне другие, не менее пенные.

Так, Р. О. Якобсон перевел поливановскую теорию на язык своей (и Н. С. Трубецкого) фонологической теории и, как бы сложив формулы Поливанова, получил формулу мутации фонологических оппозиций:

$$\frac{+\left\{\begin{array}{ccc} \mathbf{a} & \mathbf{x} & \mathbf{b} \rightarrow \mathbf{c} \\ \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b} - \mathbf{:} - \mathbf{c}. \\ \mathbf{A}_1 : \mathbf{B}_1 \rightarrow \mathbf{A}_2 : \mathbf{B}_2. \end{array}\right.}$$

При этом выпала центральная идея поливановской концепции, идея взаимосвязи, взаимообусловленности конвергентно-дивергентных процессов, выпала позиционная обусловленность звуковых изменений и мн. др. Кроме того, выпала связь с концепцией «фонетических законов», объяснение их непреложности и логическая необходимость исключений из них, различие собственно фонетических и фонологических процессов, выявление длительного этапа полготовки конвергентного скачка и т. п.

Вполне возможно, что отсутствие разграничения фонетического и фонологического аспектов во всех (за редчайшим исключением) работах по исторической/диахронической фонетике/фонологии вплоть до самых новейших объясняется тем, что Поливанова не было среди нас, а его работа «Мутационное изменение в звуковой истории языка» длительное время пылилась в архиве [1, с. 111]. А между тем «подготовительный этап» дивер-

генции — это фонетический закон младограмматиков с его непреложностью в самом чистом виде. Собственно акт дивергенции или конвергенции — уже фонологический процесс. Речь идет о фонологизации комбинаторных вариантов, что достигается снятием жесткой позиционной обусловленности. Это находит выражение в последующей конвергенции и нарушении прежнего фонетического закона путем порождения исключений [6, с. 198—203].

Все это богатство поливановских идей осталось вне поля эрения  $P. O. Якобсона. И все же именно с модификации <math>P. O. Якобсоном конвергентно-дивергентной теории <math>E. \ \mathcal{A}. \ Поливанова начинается диахроническая фонология. <math>P. O. Якобсон как бы сложил формулы конвергенции и дивергенции <math>E. \ \mathcal{A}. \ Поливанова и получил формулу фонологической мутации <math>-A_1: B_1 \rightarrow A_2: B_2.$ 

Две составные части эволюционной теории Поливанова при всей строгости их разграничения составляют единое целое как части целостной лингвистической концепции, однозначно и непротиворечиво проявляющейся как при решении проблем диахронии, так и синхронии. Основные элементы его лингвистической концепции максимально просты и немногочисленны.

Отправным пунктом всей лингвистической концепции Поливанова является четкое представление о коммуникативной функции языка, опрепеляющей как цели его развития, так и тенленции сохранения его коммуникативной пригодности: «... конечная пель языкового развисопровождающего социально-экономическую перегрупцировку коллективов, связываемых кооперативной потребностью в перекрестном общении: при всяком таком изменении "человеческого циального) субстрата" является создание единообразного языка для его нового "социального субстрата"» [1, с. 212]. Перегруппировка коллективов, конвергентно-ливергентные процессы сопиумов сопровождаются конвергентно-дивергентными процессами языковых образований (языков и диалектов). При этом социально-экономический и культурный уровни коллектива определяет преобладание ливергентных или конвергентных процессов, расшепление праязыка либо сближение языков независимо от их родства. Лексика, в отличие от «языковой техники», более подвижна и теснее связана с изменением социальных и культурно-исторических условий [1, с. 76-77]. В центре внимания Е. Д. Поливанова «работа над усвоением языка», своего или чужого [1, с. 57]. Злесь Е. П. Поливанову принадлежит выпающееся открытые закономерностей восприятия иноязычной речи: «...слыша чужое незнакомое слово.... слушающий пытается найти в нем комплекс... с в о и х фонологических представлений, т. е. разложить на с в о и фонемы, и даже сообразно с в о и м (т. е. присущим родному языку слушающего) законам сочетания фонем» [1, с. 236]. Оказывается, слушающий иноязычную речь первоначально не слышит звуки и звукосочетания, отсутствующие в фонологической системе родного языка. Для методики преподавания неродного языка это положение фундаментально: чтобы научить правильно говорить, надо научить правильно слышать, т. е. сформировать фонологическую систему изучаемого языка. Это положение фундаментально и для фонологии как особой дисциплины лингвистического цикла: нет непосредственной связи между физическим звуком и фонемой как элементарной единицей языка. между «фоном» и фонемой. Один и тот же звук может соотноситься с разными фонемами, одной фонеме может соответствовать несколько звуковых реализаций, один и тот же отрезок речевого потока может различно члениться представителями различных фонологических систем как в синхронии, так и в истории данного языка. Это положение является пентральным и в пелостной концепции языковой эволюции. Злесь и механизм усвоения устных заимствований, и механизм систематического влияния опного языка на другой, например, процесс иранизации узбекского языка. санскритизации дравидийских и дравидизации индоиранских языков и т. п. и т. д. 11. с. 252—2531. Разграничение анализа и синтеза речевого потока, по мнению Поливанова, теснейшим образом связано с признанием положения о коммуникативной функции языка. В этом положении заложены и основы сопоставительной фонетики (и грамматики) неродственных языков, и теории билингвизма, и научные основы обучения неродному языку (как способа целенаправленного «языкового преемства»), вскрывается механизм интерференции при разного рода языковых контактах. При этом ни «внешние», ни «внутренние» факторы языковой эволюции не остались в тени. С точки зрения Поливанова, весьма существенна специфика каналов заимствования и наличие посредника в передаче книжной культуры и т. П. 11. c. 252—2531.

Всю лингвистическую концепцию Поливанова характеризует последовательный психологизм. В свое время И. А. Бодуэн де Куртенэ, движимый идеей единства науки о языке, распространил психологизм морфологии на фонетику, заложив основы «психофонетики» (фонологии). Пражисты вслед за Ф. Ф. Фортунатовым во имя единства науки о языке поставили задачу освобождения и фонетики и морфологии от психологизма. Поливанов, оставаясь верным бодуэновскому направлению, распространил психологизм на весь язык в целом, на все его проявления, заложив тем самым основы современной психолингвистики. На месте традиционной психологии индивида у Поливанова выступает социальная психология, психология языкового коллектива. Целостность лингвистической концепции Е. Д. Поливанова базируется на синтезе психологизма и социологизма.

Важнейшей чертой поливановской лингвистической концепции, чертой, имевшей первостепенное значение в эпоху кардинальной перестройки фундаментальных принципов научного мышления, является подчеркнутая преемственность научных знаний, то, что Н. Бор сформулирует как «принцип соответствия»: не отвергать предшествующие теории, а включать их в новую концепцию как частный и предельный случай. Поливанов многократно повторял: «...нельзя игнорировать лингвистическую культуру, созданную предшествующими поколениями, нельзя не знать установленных ею фактов, как и методов, позволяющих убедиться в математически точной доказательности этих фактов...» [1, с. 52]. Принции кумуляции научных знаний, на котором упорно настаивал Е. Д. Поливанов в 30-е годы, не утратил свое ведущее значение и в наши дни. «Работа над созданием марксистского языкознания, - писал он, - должна выражаться не в виде похоронного шествия за гробом естественноисторической лингвистики, а в построении новых лингвистических дисциплин на том фундаменте бесспорных фактов и положений, которые даны лингвистикой как естественноисторической дисциплиной. Бессмысленно, например, отрицать конкретную картину звуковой и всякой другой эволюции, добытую компаративным языкознанием, ибо она, как и сам компаративный метод, достаточно уже проверена эмпирически; нужно не браковать, а пополнять те стороны картины, где остался пробел, - именно дать фантам социологическое обоснование» [1, с. 185]. В эпоху интенсивных поисков специфики марисистского языкознания Е. Д. Поливанов убежденно подчеркивал: «... в лингвистике ... нет утверждений, противоречащих марксизму,—точно так же, как, например, и в области математики, математической физики, ботаники и т. д.: те результаты, которые добыты лингвистикой как наукой естественноисторической, остаются в полной мере приемлемыми и для представителя марксистского мировоззрения» [1, с. 51]. Поливанов с глубочайшим уважением относился к своим предшественникам (младограмматикам) и учителям (Бодуэн де Куртенэ, Шахматов), а также к современникам (Якобсон, Трубецкой), споря с ними. Он был непримирим лишь по отношению к претенциозному невежеству. Хорошо зная состояние зарубежной и отечественной науки, он гордился успехами последней: «... не нужно думать, что новейшие продукты западноевропейской лингвистической мысли всегда представляют нечто действительно новое для советского лингвиста. Проработка общелингвистических вопросов в русской науке во многих отношениях далеко опередила то, что делалось на Западе [1, с. 184—185].

Создавая целостную и принципиально оригинальную концепцию, Поливанов включал в нее лучшие достижения науки своего времени. И в новож концепции собственно нет детали, не известной современникам и предшественникам. Однако каждая деталь, становясь частью новой концепции, значительно преобразовывалась, приобретая новое содержание. И связы истории языка с историей народа, и психологический подход, и анализ коммуникативной функции языка, и закономерности фонетических изменений — все это содержалось в трудах предшественников, но став частью целостной концепции Поливанова, приобрело фундаментальный характер.

Конвергентно-ливергентная теория Поливанова относится, безусловно, к наиболее фундаментальным открытиям сравнительно-исторической фонетики, сопоставимым лишь с открытием фонетических законов младограмматиками. Новая теория ни в коей мере не зачеркивает опыт предшественников, являясь действительно фундаментальным обобщением их теорин и практики. Прогресс науки заключается в совершенствовании способов сжатия информации. В свое время Ньютон обобщил весь предществующий опыт изучения движения планет в простой и изящной формуле. Поливановские формулы обобщают весь препшествующий опыт исследования звуковых изменений, включая все фонетические законы младограмматиков (как частные и предельные случаи). И в самом деле, позиционное варычрование фонем в истории любого языка - предпосылка дивергенции, а большинство зарегистрированных в исторических фонетиках изменений сводится в конечном счете к конвергенциям. Характерна реакция Ушакова на доклад Поливанова о конвергенциях: «Что же еще, кроме конвергенций, существует в области историко-фонетических изменений?» [1, с. 99, примеч. 91.

Фундаментальный закон или теория должны удовлетворять требованиям концептуальной универсальности, т. е. все исходные понятия должны иметь универсальный характер. И в самом деле, за символами а, b, с конвергентно-дивергентных формул могут скрываться определенные фонемы любого языка, на любом этапе его развития. Более того, конвергентно-дивергентная теория может быть применима и в морфологии, и в синтаксисе, и в лексике. Всю силу этой теории Поливанов успел продемонстрировать лишь в фонологии, на примере фонетических изменений, что казалось ему наиболее трудной проблемой. Разработать эту концепцию и для других разделов языкознания он не успел. Лишь в небольшом примечании к статье, опубликованной посмертно, в 1968 г. [1, с. 114, примеч. 1], Поливанов дает примеры из историко-морфологических явле-

ний: 1) композит типа  $npaвo \times yvenus \rightarrow npasoyvenue$ ; процессы грамматикализации типа лат.  $viva \times mente > \phi$ ранц. vivement; 2) морфологическая конвергенция двух членов (в частности, падежей) в одной и той же парадигме, например, образование синкретического дательно-местного в узбекском из конвергенции дат.  $(-gei/kei) \times mecth.$   $(-dei/tei) \rightarrow gat./mecth.$  (-gei/kei) [1, с. 114]. Конвергентно-дивергентная теория может быть применена и к процессам расщепления и смешения языков и диалектов. На месте одностороннего подхода традиционной компаративистики с ее дивергентной моделью родословного древа, конвергентной модели «пирамиды языков» Н. Я. Марра у Поливанова выступает конвергентно-дивергентными процессами языковых коллективов, их социально-экономическим и культурным уровнем.

Другим признаком фундаментальности является возможность логически выводить из фундаментальной формулы (закона, положения и т. п.) другие законы и формулы. Так, формула мутации Якобсона логически выведена из формул Поливанова. В свою очередь формула мутации  $A_1: B_1 \to A_2: B_2$  стала фундаментальной в диахронической фонологии, включив в себя как формулу конвергенции (при  $B_2 = \emptyset$ ), так и дивергенции (при  $B_1 = \emptyset$ ), вскрыв, кроме того, и еще один тип фонологических изменений, рефонологизацию (оппозиция сохраняется, но на других основаниях).

Сопоставив формулы Поливанова  $a \to b \div c$ ,  $a \times b \to c$  с формулой синхронной нейтрализации  $\frac{a:b}{P_r} \to \frac{c}{P_n}$ , можно чисто логическим путем прийти к выводу, что конвергенция и дивергенция фонем обязательно проходят стадию нейтрализаций, ибо первые от последней отличаются отсутствием позиционной обусловленности [6, с. 96; 188—198]. С этой точки зрения, фонологическая суть конвергентно-дивергентных процессов и заключается в снятии позиционной обусловленности путем постепенного увеличения (либо уменьшения) позиций релевантности  $(P_2)$  или позиций нейтрализации  $(P_n)$ . Через позиционное снятие противопоставлений, от позиции к позиции, путем постепенного увеличения числа позиций нейтрализации  $(P_n)$  оппозиция исчезает полностью, фонемы  $(a \times b)$  конвергируют. Смысл конвергенции аллофонов двух дивергирующих фонем—в увеличении позиций релевантности новой, зарождающейся оппозиции.

Экстраполируя понятийно-формальный аппарат поливановской конвергентно-дивергентной теории, можно логическим путем вывести формулу морфологической конвергенции (A, B, C — план выражения; a, b, с — план содержания):

$$\frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\mathbf{A} \times \mathbf{B}} \right\} \longrightarrow \begin{cases} 1) \frac{\mathbf{a} - : -\mathbf{b}}{\mathbf{c}}; \\ 2) \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{A} - : -\mathbf{b}}; \\ 3) \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{C}} \end{cases}$$

Действительно, до введения понятия «фонетического закона» переходы одних звуков в другие ничем не ограничивались. Младограмматики ввели ограничения, «запреты» на «свободу» переходов:

$$L\left\{\frac{a>b}{P}\right\}T$$

Звук (a) переходит в (b) в строго определенном «фонегическом окружении»

в определенных позициях (P) в данном языке ( $L_1$ ) на данном этапе его развития ( $T_1$ ). Система налагает запрет на «переходы» другого рода, например, а > с. Наличие рефлексов иного перехода — свидетельство заимствования из другого языка или диалекта, либо обусловлено иной позицией ( $P_1$ ), или относится к другому периоду в развитии языка ( $T_2$ ). Исследователь, задавшийся целью вскрыть закономерности «переходов», открыть тот или иной фонетический закон, вынужден ограничить свою фантазию строгими условиями постулата о непреложности фонетических законов, вынужден упорно выискивать позиции (P), которые обусловливали данный «переход». Фундаментальное положение сравнительно-исторического языкознания породило целую лавину открытий конкретных фонетических законов. При этом некоторые из них были сформулированы одновременно разными исследователями независимо друг от друга.

Опыт экстраполяции методов компаративистики, выкованных в недрах индоевропейского языкознания, на материал других языковых групп неоспоримо свидетельствует о необходимости «младограмматического

этапа» с его постулатом о непреложности фонетических законов.

Р. О. Якобсон ввел новое ограничение, формулу мутации  $A_1: B_1 \to A_2: B_2$ . Изменяется фонема  $A_1$  не сама по себе. Изменяется соотношение между данной фонемой и другими фонемами данного языка на данном втапе его развития, изменяется фонологическая оппозиция A: B. Теперь нельзя изучать историю фонемы b в славянских языках как постепенное изменение  $\ddot{a} \to e a \to e^a \to e \to e^a$  и т. д. Теперь необходимо изучать историю оппозиций  $e_1 : e_2 (< \bar{e} : ai)$ ,  $e_2 : a$ ,  $e_3 : e$ ,  $e_3 :$ 

Как заметил П. Ивич [7], в формуле мутации и в диахронической концепции Р. О. Якобсона опущено понятие позиции, игравшее значительную роль у младограмматиков, а также в конвергентно-дивергентной теории Е. Д. Поливанова. Спустя несколько десятилетий фундаментальное понятие позиции было вновь введено генеративистами и поставлено во главу угла.

Из фундаментального положения о ведущей роли оппозиции в историко-фонетических процессах можно сделать конкретный и частный вывод,
что в славянских языках, как и в литовском, в древнюю эпоху строго
соблюдалась зависимость согласных и гласных по отношению к твердым
и мягким звукам, т. е. различие твердых и мягких слогов, которое с течением времени постепенно слабеет [8]. Понадобилось целых полвека, чтобы положение о «мягкостной корреляции слогов» было осознано и заново открыто [9], а еще через два десятилетия это положение независимо от предшественников и вполне самостоятельно было еще раз
открыто как «эпоха силлабем» [10]. А это положение — фундаментальное
для истории праславянского и славянских языков.

Е. Д. Поливанов вскрыл строгие запрегы, налагаемые системой на произвол звуковых изменений: характер и качество дивергентов и конвергентов, аллофонное варьирование фонемы как подготовительный этап дивергенции, направление конвергенции, будучи тесно взаимосвязанны-

ми, определяются в конечном счете фонологической системой данного языка на панном этапе его развития. При этом наклалываются и ограничения на фантазию исследователя. После Поливанова нельзя реконструировать промежуточные этапы звуковых изменений на основании внеисторического «удобства произношения» либо универсалий или фреквенталий. ибо арбитром является прежде всего сама фонологическая система, наличие соответствующего потенциального конвергента либо ливергента. Так. «переход» праиндоевропейской фонемы /\*s/ в определенных фонетических условиях (после i, u, r, k) в x < \*s (слав.), s < \*s (скр.), s < \*s (литов.) нельзя реконструировать на основании внешней реконструкции как последовательную смену, скажем,  $*s > s > \check{s} > x$ . Ни для стадии s, ни для сталии к у славян не было полхолящих условий, не было ни соответствуюшего потенциального конвергента — ни признака «палатальности». ни «перебральности». Был признак гуттуральности, отсюда и характер ливергенции  $s \to s = :-x$ . У литовцев был соответствующий конвергент k' > s, отсюда и  $*s \rightarrow s = :-s$ ; фонема /s/ явилась результатом конвергенини \*s (> š)  $\times$  \*k' (> š)  $\rightarrow$  š. У славян рефлекс палатального /k' «поллержал» немаркированный член оппозиции, конвергенция элесь получила иной характер:  $s_i$  (не  $x_i$ )  $\times$   $s_i$  ( $< k'_i$ )  $\rightarrow$   $s_i$ . Таким образом, применив поливановскую конвергентно-ливергентную теорию, нам удалось вскрыть теснейшую взаимосвязь между аллофонным варьированием с послепующей дивергенцией фонемы /s/ и процессами сатемовой палатализации в сатемовых языках [11]. Вскоре, вероятно вполне самостоятельно и неаависимо, связь между этими процессами установил Х. Андерсен [12] не только пля славян, но и пля балтов. Палее, цепь конвергентно-пивергентных процессов приводит к конвергенциям рядов  $k^w \times k \to k$ .  $*a \times *o \rightarrow a$  (у славян) и т. п. Так, вся история фонологической системы праславянского языка выстраивается в последовательную и непрерывную пель конвергентно-ливергентных процессов, связанных межлу собой причинно-следственными отношениями [13].

Если конвергентно-дивергентная теория Поливанова является бесспорным фундаментом диахронической фонологии и внутренним стимулом ее пальнейшего совершенствования, то и при создании диахронической морфологии она постепенно начинает выполнять роль фундамента, Опыт построения теории диахронической морфологии [14] свилетельствует о плолотворности экстраполяции поливановской конвергентно-дивергентной теории на область морфологии. Во всяком случае вскрывается механизм лействия аналогии в морфологических изменениях. Проблема аналогии получает, наконец, собственно лингвистическую трактовку [14, с. 35]. Как и следовало ожидать, целая серия морфологических процессов. анализируемых аппаратом конвергентно-дивергентных процессов. страивается в цепочку взаимообусловленных процессов, связанных друг с другом причинно-следственными отношениями. Так, оказались взаимосвязанными процессы утраты двойственного числа (конвергенция Du × × Pl.), усиление падежных оппозиций (G:L), (D:I), (N:A) (последнее проявляется как развитие категории одушевленности) и ослабление корреляций вертикальных рядов парадигм (унификация типов склонения, ослабление родовой корреляции) и т. п. — вся деклинационная система в славянских и балтийских языках. Есть опыты применения концепции конвергентно-дивергентных процессов к анализу истории глагольной системы. На очереди стоит экстраполяция этой концепции в область истории словообразования (кое-какие мысли на этот счет есть у самого Е. Л. Поливанова). Можно сказать, что творческое освоение поливановского наследия только начинается. И следует надеяться, что прежде всего в трудах соотечественников его фундаментальные идеи получат новую жизнь.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968,

2. Энгельс Ф. Письмо И. Блоху // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изп. Т. 37. M., 1965.C. 395.

3. Журавлев В. К. Введение в диахроническую морфологию // Linguistique balkanique. 1976. XIX.

4. Жураелее В. К. Социолингвистический аспект истории литературных языков // Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка. М., 1988.

5. Jakobson R. O. Principes de phonologie historique // TCLP. 1931. IV.

6. Жураелее В. К. Днахроническая фонология. М., 1986.
7. Ivić P. Roman Jakobson and the growth of phonology // Linguistics. 1965. V. 18.

- 8. Бодуэн де Куртенэ И.А. О древнепольском языке до XIV столетия. Лейппиг. 1870. C. 39.
- 9. Jakobson R. Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves // TCLP. 1929. 2.

10. Аванесов Р. И. Из истории русского вокализма. Звуки /1/ и /у/ // Вестинк МГУ. 1947. № 1.

11. Журавлев В.К. Реконструкция праславянской системы шумных согласных древненшего синхронного состояния // Изв. на български език. 1967. Кн. XIV.

12. Andersen H. IE\*s after i, u, r, k in Baltic and Slavic // AL. 1968. 11.

13. Журавлев В. К. Развитие группового сингармонизма в праславянском языке. Минск. 1963.

14. Журавлев В. К. Диахроинческая морфология. М., 1991.

#### из наследия е. д. поливанова

Данная публикация включает в себя начальную часть («Предварительные замечавия» и четыре первых раздела) ранее не публиковавшейся рукописи Е. Д. Поливанова «Звуковой состав японского языка», представлявшей собой, по замыслу автора, пер-

вый выпуск «Краткой фонетики японского языка».

Рукопись сохранилась в Литературном музее памятников народной письменностъв Праге в фонде Р. О. Якобсона. Она входит в состав работ Е. Д. Поливанова, пересланных автором из Ташкента в Прагу Р. О. Якобсону в начале 30-х годов (вероятнея всего, в 1931 г.), когда прекратилась публикация трудов Е. Д. Поливанова в Москвъ Ленинграде. Автор рассчитывал на ее публикацию за рубежом, однако она, как в большинство других посланных в Прагу рукописей, так и не увидела свет, оставшись в Праге и после того, как Р. О. Якобсон покинул ее в 1939 г. Это, по-видимому, та работа, которую читал и рецензировал в письме Якобсону Н. С. Трубецкой (см.: N. S. Trubetskoy's letters and notes. The Hague; Paris, 1975. P. 255—258).

На титульном листе хранящейся в пражском архиве тетради написано: «Сталинский комвуз. Секция родных языков. Проф. Е. Д. Поливанов. Краткая фонетика японского языка. Выпуск 1: Звуковой состав японского языка. 1 Тетрадь. Фонетическое представление слова. Москва, 1927». Таким образом, рукопись предназначалась как учебное пособие в одном из вузов, где работал Е.Д. Поливанов в московский период своей деятельности (1926--1929), и была написана (или, по крайней мере, закончена) в 1927 г. Судя по пометкам на титульном листе и последней фразе «Предвари» тельных замечаний», рукопись должна была быть размножена на стеклографе. Однакс никаких данных о ее издании, даже стеклографическом, нет: по-видимому, оно не осуществилось в 1927 г., когда положение Е. Д. Поливанова еще было благополучным, но после начала его травли в 1929 г. издать эту работу в СССР уже не было никакой возможности. В опубликованной в 1924 г. статье Е. Д. Поливанова «К работе о музыкальной акцентуации в японском языке (в связи с малайскими)» говорится о работе «Фонетика японского языка», «издаваемой Московским институтом востоковедения» (см.: Статьи по общему языкознанию. М., 1968. С. 146). Л. Р. Концевич в списке не-найденных работ Е. Д. Поливанова, приложенном к книге В. Г. Ларцева (Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности. М., 1988. С. 323), предполагает, что это и есть та работа, которая была отправлена Р. О. Якобсону. Однако вероятнее, что в 1924 г. Е. Д. Поливанов писал об очерке, который был в конце концов издан тем же Московским институтом востоковедения в составе грамматики, написанной Е. Д. Поливановым вместе с О. В. Плетнером (см.: Плетнер О. В., Поливанов Е. Д. Грамматика японского разговорного языка. М., 1930). Вопросов японской фонологии и фонетики Е. Д. Поливанов касался во многих

Вопросов японской фонологии и фонетики Е. Д. Поливанов касался во многих своих работах от самых ранних до самых поздних; среди его изданных сочинений наиболее подробно эти вопросы изложены в ранней книге, посвященной описанию нагасакского диалекта (Психофонетические наблюдения над японскими диалектами. Пг., 1917), и в упомянутой книге, написанной совместно с О. В. Плетнером. Однако эти работы ограничиваются описанием одной системы (нагасакского диалекта в первом случае, литературного языка во втором) и ограничены по объему особенно вторая. В данной же рукописи дается наиболее полное из известных нам трудов Е. Д. Поливанова описание всех основных аспектов японской фонологии в четырех изученных им системах: литературной и трех диалектных (иногда приводятся данные и по другим диалектам); в изданной Московским институтом востоковедения книге вопросы, отражаемые в предлагаемой публикации, занимают лишь четыре страницы (с 144—148). Поэтому данная работа значительно расширяет наши представления о японистических, а в некоторых случаях и об общелингвистических идеях Е. Д. Поливанова.

Работа ученого публикуется без изменений текста и транскрипции. Опущены иероглифы, дублируемые транскрипцией. Транскрипция тюркских примеров унифицирована.

Наши комментарии к тексту Е. Д. Поливанова помещены после статьи. Ссылки на них даны в тексте статьи цифрами со звездочкой.

Annamos B. M.

#### поливанов Е. Д.

# КРАТКАЯ ФОНЕТИКА ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА ВЫПУСК І. ЗВУКОВОЙ СОСТАВ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА

## Предварительные замечания

1. Фонетическое описание японского языка в целом, т. е. совокупности японских говоров (хотя бы и без говоров Рюкюских о-вов, т. е. так называемого рюкюского языка), конечно, невозможно в пределах одного. хотя бы и пространного очерка. В настоящей работе имеется в виду прежде всего язык, объединяющий все районы Японии (за исключением Рюкю) и являющийся «литературным» или «стандартным» языком современной Японии. Но таковых «стандартов» оказывается два: с одной стороны, письменный язык, представляющий собою вариацию «классического» японского языка (т. е. диалекта, на котором ныне уже никто не говорит) и имеющий вполне тождественную графическую форму во всех районах. несмотря на глубокие фонетические различия, видоизменяющие произношение читаемого текста в отдельных диалектах 1; с другой стороны, разговорный «стандартный» язык, сравнительно недавно <sup>2</sup> выступивший в роли общеяпонского языка (точнее: общего языка японской интеллигенции) и, с известными оговорками, отожествимый с токиоским говором (образованных токиосцев). Разумеется, нашему фонетическому описанию надлежит иметь в виду лишь второй из этих стандартов: разговорный общеяпонский язык: иначе говоря, мы будем рассматривать просто токиоский говор как таковой, а те отступления, которые от него обнаруживаются у уроженцев других местностей (говорящих именно на «стандартном», т. е. токиоском языке), мы будем просто игнорировать (так как они вполне зависят от особенностей местного родного диалекта и представляют поэтому значительное разнообразие 3].

Однако, как мы увидим ниже, весьма многие из говоров центральной (в широком смысле) Японии (в том числе относящиеся к западной группе <sup>3\*</sup>), обнаруживают почти тождественный с токиоским состав консонантизма и вокализма [т. е. перечень фонем будет тот же или почти тот же, хотя звуковой состав отдельных слов будет часто различным], несмотря на коренные расхождения в характере и составе музыкально-акцентуационной системы. Таким образом, многое из того, что ниже говорится по поводу «стандартных», или токиоских черт фонетической системы (в частности

<sup>2</sup> Широкое распространение по всем районам для токиоской «койнэ» [греч. хогуй

διάλεκτος] констатируется лишь в эпоху Мэйдзи и Тайсё 2\*.

 $<sup>^1</sup>$  Особенно отличается произношение письменного языка на перифериях япоиской территории: на Кюсю (о Рюкюском районе говорить не приходится, так как он обладает своим письменным литературным языком  $^{1*}$ ) и, с другой стороны и в особенности, на северо-востоке: Ямагата, Акита, Аомори, Иватэ и т. д. Например, в Аомори знак слоговой азбуки, читающийся в Токио как se, получил чтение hi, вм. токиоского  $\mathfrak{c}i$  читается  $s\ddot{\imath}$  или  $fs\ddot{\imath}$ , вм. ki —  $k^s\ddot{\imath}$  (комбинаторно ks) или  $kg^2\ddot{\imath}$  (внутри и на конце слова), вм. i —  $2\ddot{\imath}$  и т. д. и т. д.

<sup>3</sup> Местные дналектические особенности отражаются в речи провинциалов больше всего именно в фонетике [хотя нужно сказать, что в «койнэ» оказываются приемлемыми и некоторые морфологические дублеты не токиоского, а западнояпонского промсхождения], и среди фонетических явлений наиболее устойчивыми оказываются местные особенности в кцентуационных систем.

консонантизма и вокализма), оказывается справедливым и для таких пентральнояпонских говоров, которые я поэтому позволю себе условно именовать «нормально-японскими» 4.

- 2. Кроме «стандартного», т. е. токиоского говора, я позволяю себе включить в настоящую работу и некоторый ориентировочный диалектологический материал, без которого было бы затруднительно понимание сдедующего моего очерка — уже по и с т о р и ч е с к о й фонетике японского языка. Здесь я ограничиваюсь минимальными заданиями:
- 1) дать характеристику двух остальных главнейших типов музыкально-акцентуационной системы (вслед за восточной системой, представителем которой является токиоский говор); именно — а) западной системы, в двух разновидностях — в киотоском и в говоре Тоса (префектуры Коти: в частности, описывается мною язык местечка Мороги и прилежащей к нему рыбачьей древушки Тобара); б) южной — кюсюской (хотя и не объединяющей весь о. Кюсю 5) акцентуационной системы, для чего вводится схематический очерк фонетического состава одного из нагасакских говоров (т. е. говоров префектуры Нагасаки) — именно говора большой рыбачьей деревни Mue 6 [mi] је по местному произношению] уезда Ниси-Соноки.
- 2) дать опорные и отправные пункты для сравнительно-исторического описания главнейших фонетических явлений, имевших место в истории японского языка (включая и наиболее характерные диалектические процессы); для этого мне служат, во-первых, характеристики вышеупомянутых уже говоров (именно — кроме токноского — Киото, Тоса, Нагасаки), во-вторых, отдельные экскурсивные замечания по поводу дифференциальных к токноскому особенностей того или другого диалекта (например, северо-восточной подгруппы, или же рюкюского языка).

Это дает, следовательно, известный подбор современных статических фактов, на основании которых можно будет (пользуясь сравнительноисторическим методом) говорить с ходе фонетической эволюции.

И, наконец, в качестве восстановляемых этим методом отправных пунктов изложения японской исторической фонетики я присоединяю таблицы фонетического состава двух исходных эпох: 1) общеяпонской и 2) до-японской (имея в виду до-японское состояние того из двух формантов японского языка, который обнаруживает сходства с «аустронезийской», или «малайско-полинезийской» группой языков 7) 5\*.

В настоящем выпуске эти две реконструкции приводятся голословно, без мотивировки. Последняя найдет место во втором — историко-фонетическом — выпуске, где, однако, удастся осветить лишь область консонантизма <sup>6\*</sup> [что же касается древнейших явлений в области вокализма и акцентуации, то здесь выводы оказываются возможными не столько на

Миэ [в M. Ф. A. mi'e].

Таков, например, киотский говор, являющийся, с точки зрения акцентуации, типичным представителем западной группы и в то же время имеющий тот же состав гласных и согласных, что и токиоский,— за исключением той лишь особенности, что начальное N возможно в Киото не только в виде m (например, mme «слива»), **но** и в виде y (yyok-u).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> В некоторых районах, например, в Кумамото <sup>4\*</sup>, упрощение акцентуации дошло до предела: до появления системы с постоянным местом и характером [если не считать явлений эмфаза] ударения.

6 Для стандартного произношения следовало бы писать (в моей транскрипции):

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> О втором, — континентальном, источнике японского языка возможно будет говорить лишь в связи с компаративным анализом японо-корейских и вообще японоалтайских параллелей.

основании японских фактов, сколько на основании иноязычных параллелей; этим и обусловливается ограничение темы второго моего выпуска «Краткой фонетики японского языка» одним лишь консонантизмом

(в сравнительно-историческом освещении)].

3. Практическое задание, поставленное настоящей брошюре нуждами Кафедры Языка Стал. Ком. Ун-та, заставляет меня выделить в особую (заключительную для I выпуска) главу те выводы, которые можно сделать из сравнения японской фонетической системы с русской преподавателю русского языка в японских кружках СКУ. Я имею в виду указать, какие из русских звуков и звукосочетаний представляют наибольшую трудность для японской аудитории, а также предложить способы, обеспечивающие преодоление этих трудностей. Практический опыт в этом отношении был проделан мною лично — на преподавании русского языка японцам-первокурсникам (в течение 1½ семестра), и, как показывает отзыв моего заместителя о достижениях, сделанных данной группой, результат моих приемов «постановки русских звуков» оказывается очевидным.

4. За содействие в издании настоящей брошюры я приношу горячую благодарность тт. Шумяцкому  $^{7*}$ , Покровскому, Новикову, Зам. Пред. Иннарвоса т. Тюрякулову  $^{8*}$  и, наконец, работникам стеклографив СКУ  $^{9*}$ .

## Фонетическое представление слова

Нормальный количественный состав японского слова — сочетание нескольких, по крайней мере, двух слогов. Сравнительно редко встречаются слова, состоящие из одного долгого слога, например: a:, so:, kai (-kai), au (-au; морфологическая граница  $^8$  проходит внутри дифтонга: a-u), kau (-kau-ka-u),  $o\eta$  (-oN; о знаке N см. ниже),  $ho\eta$  (-hoN) и т. п.

И в виде совершенной аномалии (как лексической, так — мы увидим ниже — и фонетической) наблюдаются слова из одного краткого слога,

например: e, ki, ko, ka («комар»), ke, to («дверь»), ne и т. п.

Уже из этого принципиального и статистического различия между словами из долгого и словами из краткого слога можно заключить, что в качестве единицы количественного измерения слова недостаточно пользоваться понятием «слога», а нужна еще более мелкая единица, именно «мора» — принципиально равновеликая краткому слогу. И так как для токиоского и сходных с ним говоров  $^9$  можно утверждать, что долгий слог принципиально расценивается как два кратких (что ясно, например, из техники стихосложения), то в дальнейшем мы будем понимать под термином «мора» представление количества краткого слога или половины долгого слога. Слова e, ki, ke, ko, ka, to, ne — будут одноморными, а слова a:, so:, kai, kau, og, hog (как, с другой стороны, и слова из двух кратких слогов: ana, hana, koke, cuki [- $c(u)^cki$ ]) — двухморными.

 $^{8}$  Черточка (т. е. дефис.— A . B .) имеет в данной транскрипции только морфологическое значение; ею отделяется (в случае особой надобности) одна морфема от другой.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Но не для рюкюского языка [я называю рюкюский — языком, а не диалектом японского языка, главным образом потому, что он обладает своим собственным литературным языком], где количественные моменты слогового представления принципиально отличны (это отражается и в особенностях рюкюского стихосложения: долгий рюкюский слог идет в стихе за одну единицу с кратким, и при рецитации поэтической речи фактически сокращается; иными словами, в рюкюском поэтическом языке отсутствуют долги гласные и обусловленное ими представление долгого слога).

Тогда вышеприведенное определение количественной нормы японского слова будет означать, что количественно-нормальными являются слова из двух и более м о р, слова же, состоящие из одной моры, являются аномалией. Следовательно, кратчайшим видом нормального слова является комплекс из д в у х м о р, каковой поэтому и является нормой для морфологически-элементарного (=простого) слова, т. е. слова, состоящего из одного лишь лексической (=коренной) морфемы. Говоря конкретно, сюда отойдет большинство имен существительных с «простой» (т. е. одноморфемной) основой в форме Casus indefinit., т. е. бессуфиксального чадежа 10.

Примеры:  $i^{\dagger}nu$  «собака»,  $a^{\dagger}si$  «нога»,  ${}^{\dagger}aki$  «осень»,  $\overline{take}$  «бамбук»,  ${}^{\dagger}take$  ж. имя «Бамбук»,  $\overline{hana}$  «нос»,  $ha^{\dagger}na$  «цветок»,  ${}^{\dagger}asa$  «утро»,  $a^{\dagger}sa$  «конопля»  ${}^{11}$ ;  $\bar{a}$ : «так»,  ${}^{\dagger}ho$ : «щека», (киот.  $ho\hat{.}$ , что указывает на праформу \* $pop\hat{o} \leftarrow popom$  [?]),  $ho\hat{.}$  «закон» (\*popu и \*papu — из китайского \*fap)  ${}^{11}$ \*, sai (-sai) «закуска (овощи)», og (-oN) «звук»,  ${}^{\dagger}og$  (-oN) «милость, благодеяние».

Однако статистически вторая из этих категорий (двухморные основы из одного долгого слога: ho:, sai и т. д.) значительно уступает первой (т. е. двухморным из двух слогов: i'nu, a'si и т. д.), на что легко находится историческое объяснение.

Долгие (двухморные) слоги современного языка все возникли в историческую уже эпоху: они имеют место — 1) или в заимствованиях (главным образом китайских) или 2) в результате стяжения двух слогов, в японских словах, например в  $^{r}ho$ : (ср. киот. ho:, нагас.  $\phi u^{r}$ :), где ho: из  $^{*}\phi \phi \phi \hat{o} \leftarrow ^{*}pop \hat{o}$  (общеяпонская акцентуация с  $^{\wedge}$  в последнем слоге востанавливается на основании киотоской формы ho: с нисходящим повы-

шением внутри второй моры: 🚺 и в свою очередь указывает на на-

личие конечного носового в еще более древнюю, чем общеяпонская, — в до-японскую эпоху).

Таким образом, если норма простого слова может быть определена для современного состояния языка в виде двухморного комплекса, то для древнего состояния это определение может быть уточнено: нормой про-

п Слово это в токиоском, вероятно, заимствовано из западных говоров: иначе мы ждали бы ударения на 1-м слоге (согласно общему закону), так как в западных вмеется форма  $a^{-}$  sa.

стого слова (а следовательно, и лексической морфемы <sup>12</sup>) можно считать двухсложное сочетание. Это находит ряд этимологических подтверждений: с одной стороны, многие современные трехсложные и четырехсложные простые основы объясняются как древние Composita — вз двух двухсложных морфем

(например, abari — \*ambari — \*am(i)-pari 知者)

м.с другой стороны, нынешние односложные историко-фонетически возводятся к двухсложным (например, токноск. de- Д

- из \*n'de/n'du, на что указывает класс. ide/\*idu

и рюкюская форма (Praesens) na/iju(-n) --n'deru) 13.

# Признаки единства слова

Основным внешним (фонетическим) признаком единства слогосочетаняя, являющегося словом <sup>14</sup>, служит признак музыкально-акцентуационный. При этом музыкально-акцентуационная характеристика слова будет в разных говорах различной в зависимости от различия в самих системах акцентуации, но всюду, однако, будет обнаруживать следующий принципиальный момент: на протяжении всего слова имеется о д н н, и только один, период высокого голосовего топа.

Правда, в западных говорах (нак, очевидно, и в древнем языке: в общеяпонскую эпоху) этот период высокого голосового тона можетмметь самую различную длику — начиная от половины моры и

(в киотоском: в выа ≱А и г. п. словах, имеющих мелодит (С)

целой моры, до длинного ряда смежных слогов, и может обнимать даже весь

<sup>12</sup> Это не относится к местовменным морфемам, тяначный состав которых характеризуется, наоборот, односложностью (например, o-, wa-, ko-, so-, a-). Этого, собственео геворя, мы могля бы ожидать и априорне (— поскольку односложность характерна для формальные морфемы; ябо по своему значению местовменные морфемы; авляются в той же мере а б с т р а к т в ы м к, как и формальные морфемы.

Праязиковое \*de дало в рюкюском не \*di, но

з'i, благодаря "прогрессивному смягчений" под влиянием

\*n' (ср. уз'иси(-q)) — \*p'goku 1/7; уз'і //

нагас. ідее "шип"); такое же "смягчающее" влияние оказивает предпествующее \*i, — ср. рюк. фіз'і (вм. ожидавшегося \*фіді. ) из \*pige [япон. ток. фіде,

Тоса hige, нагас. фиде]— 1/2 //2.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Разумеется, суффиксы (так называемые «тэнкоха»), как и префиксы, не являются самостоятельными словами, а лишь частими слов (морфемами). Доказательства-этому приводится ниже.

состав слова, даже очень многосложного. И лишь в таких говорах, как токноский,— значительно упростивших уже древнюю (общеяпонскую) систему, период высокого голосового тона (т. е. иначе говоря, м у зы к а л ь н о е ударение) сосредоточивается на одной море, что напоминает уже наши, европейские представления об ударении.

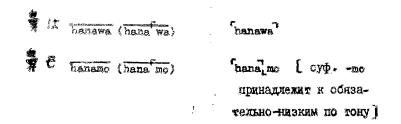
Тем не менее общий основной акцентуационный признак единого слова повсюду сводится именно к вышеуказанному наличию о д н о г о периода высокого голосового тона на все данное слогосочетание 15.

Располагая этим фонетическим (акцентуационным) критерием для определения границ слова в каждом отдельном случае, мы можем извлечь из этого дополнительное доказательство того, что суффиксы (и префиксы), так часто рассматриваемые в грамматиках японского языка на праваж самостоятельных слов (или «частей речи»), на самом деле являются лишь частью сложного (многоморфемного) слова.

Именно: присоединение суффикса (или префикса) не увеличивает число «музыкальных ударений», т. е. периодов высокого голосового тона: суффиксальная (или префиксальная) форма имеет одно «музыкальное ударение», как и простое слово (голая основа). Это будет справедливо и для тех случаев, где «музыкальное ударение» и е р е н о с и т с и на суффикс (с последней моры основы). Например:

В токноском	В киотоском
ik hefis	ha na
ik hi ha maqa	ha nans
花 lt ha Thawa	ha nawe
it t ha mamo	ha namo
hana ( r.e. ha na 16)	hana
hanana (hana na)	hanana.

<sup>16</sup> Особого упоменания заслуживают некоторые Sandhi-ческие явления, на первый взгляд, казалось бы, противоречащие данному акцентуационному определению слова (— в качестве комплекса, заключающего в себе период, и именно один период, высокого голосового тона): например, в кнотоском говоре окситонное слово (т. е. слово, имеющее повышение только на последней море, например, слово hási- ya) перед начальным высоким тоном следующего слова может утрачивать свое конечное новышение, превращаясь, таким образом, в сочетание одних только и и з к и х по тону слогом (например, hasi- ya sara-ni может быть произносимо — при условии тесного контакта обоих слов — в виде hasiya sarani ). Правда, можно было бы оспаривать — для данного случая — нарушение здесь вышеуказанного общего закона (— «на одно слово — один период высокого голосового тона»), усматривая в таких сочетавиях, как hasiya загапі , уже Neocompositum. Но я предпочту допустить, что вышеназванный закон оказывается справедливым постольку, и о с к о л ь к у в е к ж е о т с я в в и д у ф а к у л ь т а т и в н ы е S a n d h i-ч е с к ж е я в л е в и д у



#### & T.A

Еще с большей очевидностью обнаруживается этот принцип акцентуационного единства сложного (суффиксального) слова в нагасакском, где мелодическая характеристика всегда переносится на конец слова, т. е. в суффиксальных формах — на слоги суффиксов (обнаруживаясь или в виде понижения или повышения голосового тона к исходу слова, причем в многосложных комплексах это понижение или повышение выявляется на протяжении трех последних мор):

## В нагасакском (дер. Mue):

Dat.-Locativ. han'a\_:.Instrumentalis han'a: re, Subjectiv.

hana : и т.д.

Примечание. Знак перед последней морой слова означает (в транскрипции нагасакских форм) «окситонный» тип акцентуации— с повышением голосового гона к исходу слова. Знак (перед последней морой)—, наоборот, «баритонный» типакцентуации— с падением голосового тона к исходу слова.

Мы видим, таким образом, что в японском акцентуация выполняет в общем ту же роль внешнего признака единства слова, что и в прочих языках, например, в русском или же в турецких 12\* и т. д. Принципиальная разница с турецкими языками (помимо различия в самой фонетической природе акцентуации, которая в японском носит музыкальный характер 17 состоит, впрочем, в том, что в турецких 18 языках кроме ударения показателем единства слова служит еще и сингармонизм, или так называемая «гармония гласных» (а в известной мере и согласных), обпаруживающих сходный качественный состав на протяжении всего данного слова. В японском же сингармонизм отсутствует (и значит, указанная функция, — внеш-

18 Если не иметь в виду исключения в виде пранизованных говоров узбекского

языка, где сингармонизм отсутствует.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Черта над словом (в токиоск.) означает «безударный» тип слов с факультативжым повышением на последней море.

<sup>17</sup> Даже в тех говорах (— восточных), где повышение регулярно сопровождается и усилением тона, японская акцентуация все же является музыкальной (= Musikalischer Wortakzent), так как существенным для языкового мышления моментом служит именно высота голосового тона.

него выражения единства слова, выполняется одной лишь акцентуацией <sup>19</sup>), и взамен «гармонии гласных» <sup>13\*</sup> можно указать лишь на существование своеобразной «гармонии тонов» (в западных и, особенно, южных, — именно в нагасакских, говорах), напоминающей турецкий сингармонизм в том отношении, что мелодия суффиксальных слогов предопределяется мелодией основы (подобно тому, как в турецких языках вокализм суффикса зависит от вокализма основы).

Эта «гармония тонов» (и обусловленное ею чередование мелодий голосового тона в суффиксах) носит различный характер в западных говорах (например, Киото, Тоса, Хёго), с одной стороны, и в южных (нагасакских) — с другой.

В Киото, Тоса и т. п. говорах «чередуются по тону» не все суффиксы, а лишь известная (хотя и значительная) их часть (остальные же всегда, т. е. после любой основы, обладают низким голосовым тоном  $^{20}$ ). При этом тон (высокий или низкий) суффикса непосредственно зависит обычно лишь от последней моры основы. Так, в киотоском «чередующиеся по тону», в склонении, обычно  $^{21}$  продолжают собою тон, которым заключалась основа, например —

В последнем примере низкий голосовой тон приходится лишь на последнюю половину конечного слога основы; этого достаточно, однако, чтобы слог суффикса обладал также низким тоном. В тосаском же, где исчезло представление нисходящего повышения (^), служившее причиной низкого тона суффикса после основы  $*as\hat{a}$ , результат его, однако, сохранился: Nom, от (Тоса  $a^rsa \leftarrow *as\hat{a}^{22}$ ) имеет форму  $a^rsa_lga - c$  низким слогом -ga

21 Если не считать «перенесения музыкального ударения» на суффикс с последшей моры окситонной основы в киотоском, например, hasi-¬ра (от ha¬si) [из •ра¬si-

ya; cp. Toca ha siga.

<sup>19</sup> Если не иметь в виду еще наличие определенных законов анлаута и инлаута, о которых речь будет ниже. Но они имеют уже совсем иное и вторичное значение, же являясь принципиальным признаком общего фонетического представления слова.

<sup>20</sup> Например: -\_mo, -\_e (Illativ.; в кнотоском -\_e /\_-i,), -\_made, -\_na (Attributiv., жапример, --mame -\_na «здоровый»), кнот. -\_ia (Praedicativ., экв. Токноск. -da),-\_to, заключающее прямую речь (но не -to Sociativi), и т. д.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Восходит же это нисходящее повышение к конечному носовому ( $^{\bullet}m$ ) в до-япов ской форме: ср. корейск. ac'am, ac'am «утро»; другой пример: япон.  $^{\bullet}tur\hat{u} \rightarrow$  киот с $ur\hat{u}$  // корейск. turum «журавль» (ср. также якут, turuja, узб. turnæ &).

Тут мы имеем, следовательно, исторический результат «гармонии тонов», служащий, однако, нарушением ее с точки зрения современной системы (ибо фактически слог -ga оказывается и и з к и м, несмотря на то, что

следует за последним высоким тоном основы a sa- 🦆 ).

Гораздо более значительные размеры приобретает «гармония тонов» в нагасакском, где она служит основным акцентуационным принципом для всякого рода морфологических явлений. Подобно тому как лингвальный (язычный) сингармонизм турецких языков предусматривает две категории основ (- задних [например, казак. bala] и передних [например, казак. eše]), так и нагасакская акцентуация знает два мелодических типа основ: окситонный и баритонный. После основ первого типа (окситонных) следуют суффиксы с конечным тоноповышением (- потому что все данное сложное слово становится окситонным, а концом его, на протяжении которого осуществляется «окситонность», оказываются именно суффиксы): после основ же второго типа (баритонных) эти суффиксы аналогичным образом снабжаются тонопонижением. Важно отметить, что здесь — в отличие от западнояпонского — повышение и понижение являются принадлежностью не суффикса как такового, а именно к о н ц а с л о в а, мелодия которого предопределена стоящей в начале слова основой (точнее: начальной морфемой данного слова). Этому закону повинуются не только суффиксальные образования (склонение, спряжение и т. д.) <sup>23</sup>, но и Сотposita, тип акцентуации которых определяется типом начальной морфемы. Например, слово из 11 слогов kara-η-kuni-no-tatemon-no-go to («подобно зданию китайской страны») оказывается окситонным потому, что первая его морфема (kara «Китай») принадлежит к окситонному типу.

Наконец, существенным отличием общеяпонской и современной — в большинстве говоров — систем акцентуации от акцентуации в турецких языках (и вообще в «алтайских» языках, включая корейский) является свободное место тоноповышения, тогда как в турецких языках ударение обычно приходится на последний слог слова (а в других языках «алтайского» семейства или на первый или на последний).

Однако по мере эволюции и упрощения системы эта свобода позиции музыкального ударения постепенно суживается. Уже в Токио мы находим ограничение позиции ударения — для большинства слов — последними тремя морами [что до известной степени напоминает древнегреческий (аттический) Dreisylbengesetz  $^{14*}$ ], в определенных морфологических условиях возможны, однако, исключения из этого закона: например, Ablativ. от  $^raki = ^raki$ -kara (ср. Nom.  $^raki$ -ya, Subj.  $^raki$ -wa, Acc.  $^raki$ - $^wox$ ).

В нагасакском — с его двумя типами слов — мы видим уже значительное приближение к системе постоянного места ударения (и опять-таки

принцип Dreisylbengesetz'a). Дальнейшие этапы этой эволюции мы наидем в других диалектах той же южной группы: в рюкюском и, наконец, в Кумамото, где вместо двух нагасакских типов имеется уже голько один, т. е. установлены постоянное место и постоянный характер <sup>24</sup> ударения.

Примечание по поводу мнимых исключений из закона о единстве музыкального ударения (т.е. периода высокого голосового тона) на протяжении слова.

В моих записях японских текстов (например, по западным и южным говорам) вередко приводятся два возможных дублета акцентуации одного и того же многосложного (и многоморфемного) комплекса: в одном из этих дублетов данный комплекс имеет только одно тоноповышение — на правах единого слова (Сомрозіті); в другом — он разлагается на два самостоятельных (с точки зрения акцентуации) слова, каждое из которых снабжено своим тоноповышением. Эти переходные случаи не должны рассматриваться как противоречащие вышеуказанному закону: здесь мы имеем дело с Neocomposita, которые, действительно, допускают двоякую квалификацию (в зависимости от различных психологических условий фонации) — и в качестве единого, и в качестве двух самостоятельных акцентуационных слов. Простейшим из относящихся сюда случаев являются четырехсложные (редупликационного типа) опоматороётіса [или «звуковые жесты»], допускающие, в западных говорах, двоякую акцентуацию: например: рі ka-ріka и рі ka-рі ka (— проблеск молнии), и т. п.

# Анлаутные и инлаутные признаки фонетического представления слова

Кроме акцентуации, фонетическое представление слова характеризуется также известными звуковыми нормами для начала и, наоборот, для середины слова. Именно, некоторые звукопредставления оказываются принципиально недопустимыми для позиции в начале слова (—Anlaut) и возможными, следовательно, лишь внутри слова (в Inlaut'e <sup>25</sup>).

Сюда относится для современного японского языка (по крайней мере, для всех наблюдавшихся мною говоров  $^{26}$ ) недопустимость в начале слова согласного  $\eta$  [между тем  $\eta$  слогообразующее (-N перед следующим задненязычным согласным) в начале слова оказывается возможным — по крайней мере в некоторых говорах: например, в киотоском и нагасакском].

Именно, в токиоском и киотоском (и прочих «нормально-японских» говорах, обладающих двумя разновидностями

в начале слова допускается только неносовой -g, а внутри слова, наоборот, только носовой - $\eta$  (например, garasu,  $a\eta o$ ,  $a\eta eru$  и т. д.; равным образом, суффикс Nominativi произносится в виде - $\eta a$ , но отнюдь не - $ga^{27}$ ).

 $^{26}$  Оставляю открытым вопрос о наличии начального g в некоторых восточнояпомских говорах (о чем есть упоминания в японской диалектологической литературе),

так как мне не представлялось возможности проверить эти сведения.

 $^{27}$  Но, разумеется, в Тоса и в южной группе (где чередование «g / -g» отсутствует) будет соответствовать и токиоскому g и токиоскому g (ago, ageru, -ga).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Эмфатические вариации в счет не идут (в том числе специфическая интонация собственных имен типа hana «Цветок», curu «Журавль» (имеющих в о в с е х говорах ударение на первом слоге), объяснимая из их вокативного употребления).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Рассуждая априорно, мы должны были бы ожидать, что фонема, недопустимая в начале слова, будет возможна внутри, а также на конце слова. Но, ввиду особенностей японского представления слога <sup>15\*</sup>, первый элемент слога (способный быть и первым элементом слога) принципиально отличен от конечного элемента (в слоге и слове); и потому о конце слова здесь не приходится упоминать.

Примечание 1. Единственным исключением из закона о наличии у в инлауте (и g в авлауте, т. е. закона, который можно формулировать так: «g/-у») служат редупликационные формы onomatopoëtica с начальным g, повторяющимся и во второй части редупликации: например. 

— guru-guru.

части редупликации: например, *guru-guru*.

Примечание 2. Наличие рв суф. - ра является частичным доказательством:
вышеуказанного положения, что суффиксы не являются самостоятельными словами <sup>28</sup>

Второй отличительной принадлежностью инлаута (невозможной в анлауте) является наличие долгих согласных (например, atta=at:a и т. п.), которые (в современном языке) в начале слова принципиально- невозможны [если не иметь в виду m в m в m м. m и т. п., которое с точки зрения современного языкового мышления квалифицируется не как долгий согласный (\*m:), а как сочетание слогообразующего носового с согласным (Nm)].

Есть и другие отличительные признаки инлаута (например, наличие Gleitlaut'ов  $^{1}$  w перед гласными e, o — начинающими собою один из непервых слогов слова; и т. п.), но о них речь будет идти в другом месте (при

обзоре вокализма).

Для древнего же состояния языка характерна была недопустимость согласного r в анлауте. Этим объясняется и тот факт, что в ряде говоров (например, Кумамото) в китайских заимствованиях вместо обычного r (соответствующего китайскому l) имеется d (например, dakuda вм. rakuda «верблюд» и т. д.)  $^{18*}$ .

(Конец 1-й тетради: «Фонетическая характеристика слова»).

### Слог

Слоговые представления в японском языке гораздо более элементарны, а в связи с этим обладают большим значением для языкового мышления, чем, например, в языках русском, польском или немецком. Из сочетаний, подобных русским, kak, tak, katka, элементы t и k выделимы, конечно, легче, чем из японских kata и taka. Иначе говоря, представление слога в японском м е н е е д е л и м о, — с меньшей отчетливостью разлагается на элементарные фонетические представления (фонемы), чем в русском я т. п. языках. И значит, д о и з в е с т н о й с т е и е н и можно в самом понятии японской силлабемы (слогопредставления) усматривать характер элементарной фонетической единицы.

Однако говорить о «слоге — фонеме» можно было бы лишь для такого языка, где был бы всего один гласный (например, а) и только открытые слоги (ta ka sa ma na ja и т. д.); или же — для такого, где каждый гласный сочетался бы исключительно с одним согласным, т. е. была бы проведена до крайности японская тенденция исключительно-возможных сочетаний для известных согласных (фи, си, wa — причем фа, са, wu оказываются невозможными). В языке же, допускающем слоги вроде ka ko ku ta to tu и т. д., элементы слога (согласные и гласные) могут, конечно,

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Впрочем, не надо думать, что кроме внешних (фонетических) доказательствесамостоятельности суффиксов (—в виде акцентуации и законов инлаута, в частности «g/-у» для суф.) у нас нет других средств убедиться в том, что суффиксы -уа (и префиксы) не являются отдельными словами. Ведь словом мы называем такой отрезок речи, который может быть изолируемым в качестве единственного члена фразы (предложения); иначе говоря, «слово есть потенциальный minimum предложения». А между тем нельзя представить себе фразу, состоящую из одного только суффикса того или другого падежа (или из одного только префикса.

выделяться (в качестве фонем). Но поскольку одна категория этих элементов,— согласные ( $k\ t$  и пр.), не мыслятся произносимыми отдельно, без гласного, постольку их представления (т. е. согласные фонемы) должны обладать меньшей самостоятельностью, чем в русском.

В японском же дело обстоит именно так: в виде общего правила возможны только открытые слоги — типа (С)V (т. е. из согласного <sup>29</sup> и гласного <sup>30</sup> [или дифтонга], причем согласный может и отсутствовать) <sup>19\*</sup>: например —

ka ki ku ke ko (ИЛИ ka:, ki:, ku:, ke:, ko:)
na ni nu ne no (ИЛИ na:, ni: И Т.Д.)
a i u e o (ИЛИ a:, i:, u:, e:, o:);

или с дифтонгом в качестве второго элемента -

kai kin kun ken kou и т.д.

Уже один этот «закон открытых слогов» обусловливает сильное ограничение числа допустимых в языке слоговых комплексов (их должно оказаться не в пример меньше, чем в русском, например, языке, где возможны такие ряды слогов, как rok srok fsrok stro fstro и т. д., и т. д.).

А кроме того, в японском языке наблюдается еще, в известных пределенных сочетаний согласного с гласным. В каждом диалекте она сказывается, правда, по-разному [например, в токиоском и вообще в «нормально-японских» говорах ф возможно только в слогопредставлении  $\phi u^{31}/\phi(u)$ , а в нагасакском допустимо кроме того сочетание  $\phi i$ :  $^{32}$ ; согласный c, допускаемый в Токио лишь в  $cu^{31}/c(u)$ , в нагасакском возможен в слоге ca:  $^{33}$ ; невозможное в «нормально-японских» сочетание wu оказывается вполне нормальным для рюкюского языка; и т. п.]; тем не менее в каждом из данных говоров число возможных слоговых комплексов оказывается уменьшенным (по отношению к числу теоретических комбинаций типа CV из данного наличия согласных и гласных звукопредставлений).

Число различаемых в языке слогов является, следовательно,— в силу двух вышеупомянутых причин — весьма ограниченным и легко поддается учету. А это ведь и оказывается необходимым условием для того, чтобы слоговые представления играли бы, — хотя бы отчасти, — роль элементарных фонетических представлений <sup>34</sup>. Это значит, что если с точки зрения русской психофонетики представление р у с с к о г о с л о в а состоит из ряда з в у к о п р е д с т а в л е н и й (одно из которых — из относящихся к категории слогообразующих — обладает также признаком ударяемости), то японское слово разлагается, наоборот, прежде всего на 1) ряд с л о г о п р е д с т а в л е н и й <sup>202</sup>, в свою очередь делимых на согласные и гласные фонемы, и 2) музыкально-акцентуационное представление (относящееся, в отличие от мелодических представлений китайского языка, не к слогу как таковому, но ко всему словопредставлению, — т. е. «Musikalish. Wortakzent», а не «Musikalisch. Silbenakzent» <sup>21\*</sup>).

- natu-wa).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> C — символ согласного (Consonans).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> V — символ гласного (Vocalis).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> А также при долгом и: (т. е. фи: resp. cu:).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Например, śe:çi: — Dat.-Loc. от śe:çu // Ток. se:çu.

<sup>33</sup> Например, naca: — Cas. Subject. от nacu (в Токио nacu-wa, в Тоса nata --

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ср. относительно и большое число и возможность учета силлабем, различаемых в современном китайском языке, где также (хотя и в отличных от японского условиях) роль элементарного фонотического представления играют, в известной мере, именно слоговые представления [см.: «Краткая фонетическая характеристика китайского языка». М., 1927].

#### КОММЕНТАРИИ

- После полного присоединения о-вов Рюкю к Японии (1872) рюкюский литературный язык начал вытесняться японским и ко времени написания работы Е. Д. Поливанова уже почти не функционировал.
- 2°. Эпоха Мэйдэн 1868—1912 гг., эпоха Тайсё 1912—1926 гг.
- К западной группе японских диалектов традиционно относят диалекты западной части о-ва Хонсю, включая район Киото-Осака, и о-ва Сикоку. Е. Д. Поливанов исследовал два диалекта этой группы: Киото и Тоса (на юге Сикоку).

4°. Как показали последующие исследования японских диалектологов, акцентуация префектуры Кумамото (запад Кюсю) сходна с нагасакской, постоянное место

ударения свойственно диалектам восточного побережья Кюсю.

5°. Е. Д. Поливанов впервые выдвинул гипотезу о японо-австронезийском языковом родстве, развиваемую в ряде его работ. Однако современные исследователи в большинстве развивают существовавшую и до Е. Д. Поливанова концепцию о принадлежности японского языка к алтайской семье, а лионо-австронезийские параллели считают контактными по происхождению (С. А. Старостин, Р. Э. Миллер и др.).

6. По-видимому, этот второй выпуск был опубликован Е. Д. Поливановым в виде статьи: Поливанов Е. Д. Историко-фонетический очерк японского консонантизма// Уч. зап. Ин-та языка и литературы РАНИОН. Лингвистическая секция. 1931. Т. 4. См. также посмертную публикацию: Поливанов Е Д. Категории согласных

в японском языке // Японский лингвистический сборник. М., 1959.

7°. Шумяцкий Борис Захарович (1886—1938) — член ВКП(б) с 1903 г. В то время ректор Института, в котором подготавливалась данная работа. В 30-е годы пред-

седатель «Союзкино». Репрессирован и погиб.

8°. Тюрякулов Назир Тюрякулович (1893—1937) — видный узбекский революционер, просветитель, языковед, друг и последователь Е. Д. Поливанова. В то время председатель правления Центроиздата народов Востока и зам. директора Института народов Востока, где работал и Е.Д.Поливанов. Репрессирован и погиб.

9°. В этом месте рукописи — надпись другим почерком: «Имена их (работников стеклографии. — А. В.) здесь надо вписать» и подписи Е. Д. Поливанова по-

русски и в иероглифической записи.

10°. Трактовка *wa* как показателя именительного падежа была в дальнейшем отвергнута, поскольку он может оформлять любой тематический член предложения, а не только подлежащее.

11. Упоминаемые далее sai, oN, oN — также заимствования из китайского.

12°. Здесь и далее имеются в виду тюркские языки.
13°. Как показали не известные Е. Д. Поливанову исследования японских ученых (Хасимото Синкити и др.), в древнеяпонском языке сохранялись заметные реликты сингармонизма, см.: Сыромятников Н.А. Древнеяпонский язык. М., 1972. С. 30-32. Но в современном языке следов этого явления уже нет.

14. Закон трех слогов (нем.).

15°. См. ниже, раздел «Слог».

16°. Имеется в виду регулярное чередование g/ŋ: первый вариант выступает в начале слова, второй — внутри (в том числе в тех же самых морфемах). В написании япон-

ской каной оба звука записываются одинаково.

17°. Концепция падежной суффиксации, отраженная и в ряде опубликованных работ Е. Д. Поливанова (*Плетнер О. В., Поливанов Е. Д.* Грамматика японского разговорного языка. М., 1930. С. XV—XX и др.), стала в 30—50-е годы господствующей в советской японистике. Сейчас, однако, большинство японистов считает падежные элементы служебными словами.

18\*. В японском языке все слова с начальным r — либо заимствования из китайского

или европейских языков, либо ономатопоэи.

 19°. Ряд исследователей, работавших после Е. Д. Поливанова (Хаттори Сиро, С. А. Старостин и др.), не признает возможности отсутствия согласного, усматривая в начале таких слогов гортанную смычку.

20°. С точки зрения концепции Е. Д. Поливанова, точнее было бы говорить о моро-

представлениях.

21. Перечислим критические замечания Н. С. Трубецкого по данному разделу рукописи (опубликованные ранее, чем рецекзируемая работа): неясны признаки начала и конца фразы, звуковые средства ее членения; неясно, есть ли в японском языке более чем двухморные морфемы (см., однако, у Е. Д. Поливанова: «Многие современные трехсложные и четырехсложные простые основы объясняются как древине Composita», из этой фразы следует, что лакие морфемы есть); не полностью перечислены анлаутные и инлаутные признаки слова; следовало бы дать список всех японских слогов (см.: N. S. Trubetskoy's letters and notes. The Hague; Paris, 1975. P. 255-256).

# КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## **РЕЦЕНЗИИ**

Michelini G. Linguistica stratificazionale e morfologia del verbo: con applicazione alle lingue baltiche. Brescia: Editrice La Scuola, 1988. vi + 314 p.

Рецензируемая книга является приложением принципов стратификационной грамматики к исследованию балтийского глагола. Первые две главы содержат иолезное общее изложение теории, но наиболее близки они могут быть русскоали англоязычным читателям. Интересная же для балтистов часть начинается с третьей главы, так как здесь обсуждается вопрос о категориях вида и времени в балтийских языках. В литовском, по мнению автора (с. 153), категория вида включает класс детерминированных и недетерминированных глаголов.

Эти классы, каждый с особым набором семантических функций, мотивированы системой литовского языка. По большей -части лексемы, которые характеризуются отсутствием префиксальных монем, относятся к классу недетерминированного вида, а лексемы детерминированного аспекта всегда содержат префиксальные монемы. По мнению автора, лексемы типа rasti «найти» являются явными исключениями, и можно утверждать, что в этих лексемах класс недетерминированного аспекта в соответствии с теоретическими принципами, изложенными в первой главе, актуализует свою вторичяую функцию, которая присутствует как первичная в другом, более маркированном классе лексем; иными словами, эти лексемы контекстуализуются и в сфере язы ка выбирают комплекс вторичных функций. Далее, при определении класса -префиксальная монема должна быть хотя бы частично сопутствующей. Следовательно, она выполняет функцию аспектуального индикатора, изменяющего аспектуальную семантику корневой монемы, 🕏 которой она соединяется. Если это правило не соблюдается, то лексема, содержащая префиксальную монему (например, atrodyti «казаться», pataikauti «угождать»), может только соединиться с недетерминированным классом, а префиксальная монема перестает аспектуальность. Таким образом, можно -объяснить, как лексема, включающая префиксальную монему, способна принадлежать к обоим классам (в этих случаях, очевидно, можно предполагать наличие двух лексических значений). Следовательно, соединение этих условий нельзя рассматривать только на основании морфологии, так как классификация лексем, содержащих префиксальную монему, должна отталкиваться от понятия лексемы как идиоматизированного единства и использовать лексическую информацию с точки эрения этого единства. В этом смысле литовский аспект может рассматриваться как грамматико-лексическая категория; однако с точки эрения семантики его статус аналогичен аспекту, времени н наклонению в том по крайней мере, что их значение носит сопутствующий характер, но выражается вовсе не сопутствующими фундаментальными морфологическими категориями.

С точки зрения морфологии один из основных классов (детерминированных глаголов) включает в себя по крайней мере две различные монемы: корневую и префиксальную. Авторская классификация аспектов более подробна, чем то, что я изложил: она включает в себя также информацию о литовском итеративном классе.

В общем во всех балтийских языках имеются глубоко укоренившиеся способы выражения аспекта, времени и наклоне-иия. Для лингвиста-историка особенно интересна последняя глава (V), в которой рассматриваются аспект, время и наклонение в общебалтийском.

По мнению автора имеется три возможных понимания аспекта (с. 262):

- 1) В славянском сохранилась общебалто-славянская картина, тогда как в балтийском она в корне изменилась.
- 2) В балтийском сохранилась общебалто-славянская картина, тогда как в балтийском (? — Я думаю, что автор имел в виду «в славянском». — Ш. У.) она в корне изменилась.
- Балтийский и славянский развивались независимо друг от друга из индо-

европейского (с определенными конвергенциями благодаря географической общности).

Из этих трех гипотез первая наименее убедительна, так как нельзя ожидать, что балтийский мог утратить аспектуальный характер суффиксов и не утратить его в префиксах. В то время как наиболее убедительной кажется третья гипотеза, вторую нельзя с ходу отбрасывать, так как балтийский был более консервативным диалектом предполагаемого балтославянского единства.

Вторичный класс итеративов (извест вый только в литовском) включает в себя глагольные лексемы (с префиксами или без), сочетающиеся с суф. -dav- (в диалектах -lav-), который может быть расчленен на -d-(-l-) + -av-(c. 263-264). Формант -d- фигурирует и в других литовских глагольных суффиксах, например, в каузативном -dy-(ti), где он служит не только для устранения зияния между корневой и суффиксальной гласными (cp. ardyti «разрушать»), но также в суф. интенсивов -de-(ti). Поскольку этот формант -d- с полным основанием может считаться в этих суффиксах показателем процессуаль... ности, сходная интерпретация вероятна для того же суффикса в морфеме -dav-. Подобный же анализ форманта -1- в суффиксах типа -lin-(ti), ly-(ti), l(i)o-ti позволяет установить сходное значение процессуальности у дналектного суф. -lav-. Элемент -av- восходит к •-o-, и его можно соединить с глагольным суф. с помощью которого от первичных глагольных лексем образуются вторичные со значением повторяющегося или длительного действия. Если предположить, что вторичные лексемы с таким суффиксом могут актуализоваться в сочетании с показателями претеритального класса в функции (+ обыкновенный (usual), + неопределенный или итеративный), то можно утверждать, что в литовском (в период незадолго до фиксации) суф. •-ō- (-av- в сочетании с суф. •-а- претерита) был способен приобретать в сочетании -d-/-l- новую роль «контекстуализатора», который ограничивал в лексеме выбор глагольных видов следующим образом: (+ обычность, + неопределенность и итеративность).

Автор обсуждает гипотезу, согласно которой (балто-славянские?) корни с мовемой •-ē-, производной от и.-е. •-ē(типа литов. sēdēti — ст.-слав. свовти),
переосмыслили эту монему •-ē- с изначально атематической флексией (и суф. в),
как претеритальный суффикс и распространили его на претерит от других корвей, не имевших изначально расширения
•-ē- (с. 272). В действительности исконная
монема •-ē- фигурирует только в инфилитиве и формах, образованных именно

от этого корня. Если признать, что обще балт.  $\bullet$ - $\bar{e}$ - восходит к и.-е.  $\bullet$ - $\bar{e}$ -, то един $\bullet$ ственно возможный путь ее развития выглядит так: поскольку время обобщения корней на •-е- не установлено и эта монема имеет значение, сопоставимое с реконструированными показателями перфекта в греческом и древнеиндийском, она должна быть разделена на две монемы -ē-, одна из которых имела стативное значение, а другая — процессуальное, определяемое с точки зрения аспекта как (— неопределенное, 🛨 итеративное). Эта последняя монема могла произвести претериальную монему. Слабая сторона такой гипотезы в том, что расщепление такого типа должно было произойти в сфере одной системы.

Микелини пишет (с. 273), что удовлетворительная альтернативная гипотеза такова: монема •-е- в протобалтийском претерите происходит не из и.-е.  $\bullet$ - $\bar{\epsilon}$ -, а из  $-i - + -\bar{a}$ -, причем суф. -i- проник в претерит из презентной основы. Это предположение убедительно, оно восходит к Куршату [1, с. 280], который полагал, что литовский претерит на -ė есть преобразование претерита на (<балт. •-ā-) под влиянием мягкого консонанта. Согласно Остгофу [2, с. 60, 63], литовский претерит  $\bullet eda-u * n en * = n.-e.$  ēda (= греч. - - йба в ёбуба, ёбубы́ = гот. fr-ēt, др.-сев. āt, др.-в.-нем. āz, др.-инд.  $\bar{a}da$ ) + -u. Наличие -i- в основе претерита (ėdžiau) может быть приписано влиянию презентных основ на -i-.

Следует отметить, однако, что имеются такие глаголы, как литов. nèšti «нести», věžti «везти», věsti «вести», dègti «жечь», kèpti «печь» с тематической гласной -а (н.-е. •-e/o). В этих глаголах не обнаруживается следов этимологического в презенсе, но они регулярно образуют претерит на \*-ё-. Нужно вспомнить, что эти глаголы соответствуют славянским глаголам класса IA Лескина, у которых не имеется •-;- в презенсе, но образуется тематический аорист, ср. ст.-слав. *нести*--Зл. ед. ч., аор. несе, везти — везе, вести — веде, жешти — жьже, пешти — пече. Я могу утверждать, что претерит на • ēв балтийском сформировался под влиянием тематического аориста. Можно следующим образом представить, к примеру, спряжение протобалтийского тематического аориста: (1 л. ед. ч.) • neš-am (< н.-е. •nek-om), (2 л. ед. ч.) •neš-es (< н.-е. •nek-es), (3 л. ед. ч.) •neš-et (< •nek-et) и т. д. При выравнивании тематической гласной типичный балтийский глагол приобретает следующий вид: (1 ед. ч.) •neš-em, (2 ед. ч.) •neš-es, (3 л. ед. ч.) • neš-ēt и т. д. В то же время наличествовала парадигма (1 л. ед. ч.) • pirk-ām «я продал», (2 л. ед. ч.) • pirk-ās, (3 л ед. ч.) \* pirk-āt, но сокращение таутосилла

бического долгого дифтонга \*-ām > \*-am должно было привести к образованию новой парадигмы: (1 л. ед. ч.) pirk-am, (2 л. ед. ч.) pirk-ās, (3 л. ед. ч.) pirk-āt. Пропорция -am, -ās, -āt привела к -em, -ēs, -ēt, откуда (1 л. ед. ч.) neš-em, (2 л. ед. ч.) neš-ēs, (3 л. ед. ч.) neš-ēt и т. д. Альтернативное, но сходное предположение связано с замещением древних вторичных окончаний на (1 ед. ч.) -и, (2 л. ед. ч.) -і, (3 л. ед. ч.) - в, т. е. neš-eu, neš-ei, neš-e и т. д., в оппозиции к pirk-au, pirk-ai, pirk-ā. Пропорция -au, ai, -ā привела к -eu, -ei, -ē, т. e. к neš-eu, neš-ei, neš-ē и т. д. Это и отражается в современном литовском nešiaũ, nešeĩ, nešė. Часто предполагается, что претеритальное 1 ед. ч. -и происходит из презенса, этимологически — первый элемент дифтонга (из и.-е. \*-о); но это предположение отрицается альтернативной гипотезой, согласно которой развитие \*-о в -ио есть специ-

фически литовское явление (развившееся независимо в латышском, ср. [3]). С другой стороны, претеритальное -и может быть одним из древнейших индоевропейских окончаний, ср. тох. В 1 л. ед.ч. lak-au от корня läk- «видеть», см. [4—7].

Здесь может быть влияние этимологических *j*-корней, как я уже отмечал (см. [8]), которое, по-видимому, привело к более последовательному использованию претерита на \*-е в этих глаголах, но определенное влияние тематического аориста можно видеть в отступлении от фонетического закона, в соответствии с которым \*-tjā в литовском репрезентируется скорее как \*čio, чем как \*tē.

Автор предполагает следующие праформы для балтийских глагольных основ, принадлежащих к классу литов. myli-/ myleti «любить»

Презентная основа *xC-i-*

Общая основа xC-ē-

(а) литовский

(и латышский)

(b) древнепрусский

xC-e- xC-i

Приводя только один пример, а именно paskolle (Encheiridion 115, 16), он пишет, что в немногих примерах -ei- не встречается, а только -е-. Но эта форма на самом деле выглядит как paskollē, с ясной долготой, как это показано у Траутмана [9, с. 406 (71, 27)] и у Мажюлиса [10, с. 227, 16; 11, с. 220, 16]. Здесь нет возможности дискутировать о роли долготы в прусской орфографии, но остается неясным, рассматривает ли ее автор как незначащую. Иными словами, необходимо понять, является ли это опечаткой или ошибкой. Вдобавок автор не разъясняет специально, какие древнепрусские глаголы он приписывает этому классу, поэтому трудно определить их положение: только -е встречается в глаголах этого класса. К примеру, я могу отнести др.-прусс. глагол turit «иметь, долженствовать» к тому же классу, что и родственные литов. turéti «иметь» и лтш. turet «держать». Свидетельства 3 л. ед. ч. turei «sol» таковы: [19, с. 43, 2 = 10, с. 175, 16; 9, c. 55, 10 = 10, c. 199, 1; 9, c. 59, 27 = 10, c. 207, 2; 9, c. 65, 23 = 10, c. 217, 5; 9, c. 65, 30 = 10, c. 217, 17; 9, c. 20, 32, 34 = 10, c. 219, 12; c. 221, 3, 4 и т. д.]. Форма turri (3 л. ед. ч.) засвидетельствована в следующих случаях: [9, с. 23, 4 == = 10, c. 139, 4; 9, c. 29, 23 = 10, c. 29, 15; 9, c. 33, 23 = 10, c. 159, 5; 9, c. 39, 23 = 10, с. 169, 23 и т. д.]. Траутман [9, с. 452] указывает на единственный пример формы ture в 3 л. мн. ч. Я серьезно сомневаюсь в том, что свидетельство древнепрусского может помочь установить

очевидные грамматические категории, не

известные в других балтийских языках.

Я уже высказывал [12, с. 122—123] и повторю здесь мысль о том, что эта категория глагола отражает этимологический суффикс (или суффиксы) -o-i, который переходил в -ē- перед согласным (в инфинитиве -e-ti) и сохранялся как -oi перед гласным. Так, развитие 3 л. ед.ч. в балтийском было таково:  $-ai > -\bar{e}_2 >$ > -ie > -i (аналогично — номинатив мн. ч. у имен на \*-о). По образцу глагольных основ на \*-е/о 3 лицо возвратного залога \*-ie-si было заменено на засвидетельствованное -i-si. (Это произошло до становления различия между 2 л. ед.ч. -ie-si и 3 л.). Это 3 л. -i было обобщено в 1 и 2 л. дуалиса -i-va, -i-ta и в 1 и 2 л. мн. ч. -ime-, -i-te по образцу глагольных основ на •-e/o.

В заключение можно поздравить автора с написанием книги, побуждающей к размышлению и представляющей большой интерес для балтистов и специалистов по общему языкознанию благодаря новому и интересному анализу балтийской глагольной системы.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kurschat F. Grammatik der litauischen Sprache. Halle, 1876.

 Osthoff H. Zur Geschichte des Perfekts im Indo-germanischen. Strassburg, 1884.
 Levin J. Dynamic linguistics and Baltic historical phonology // General linguistics. 1975. 15.

4. Schmalstieg W. R. The Baltic first person singular ending -u// General

linguistics. 1975. 15.

50 Erhart A. Studien zur indoeuropäi-

schen Morphologie. Brno, 1970.

6. Bezzenberger A. Got. bairau, konjunktiv von indogerm. bhéro(u) // Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. 1901. Bd 26. S. 152-154.

7. Wiedemann O. Das litauische Pre-

terit. Strassburg, 1891. 8. Schmalstieg W. R. Baltic ei and depalatalization // Lingua. 1960. V. 10.

9. Trautmann R. Die altpreussische Denkmäler. Göttingen, 1910.

10. Mažiulis V. P. Prusų kalbos paminklai. I Vilnius, 1966.

11. Mažiulis V. P. Prusų kalbos paminklai. II. Vilnius, 1981.

12. Schmalstieg W. R. Indo-European linguistics: A new synthesis. Univ. Park and London, 1980.

Шмальстиг В.Р.

Перевел с английского Красухин К. Г.

Doerfer G. Grammatik des Chaladsch. Wiesbaden: Harrassowitz, 1988. 258 S. (Turcologica. Bd 4).

В изучении уникального тюркского языка — халаджского сделан еще один заметный шаг: известный западногерманский тюрколог Герхард Дёрфер опубликовал полную «Грамматику халаджского изыка». Эта книга значительно расширяет знания тюркологов об островном языке, первые материалы по которому были опубликованы полвека тому назад (1940 г. — В. Ф. Минорский и М. Мокаддам) и которые в то время не привлекли к себе, к сожалению, широкого внимания. Лишь в 70-е годы благодаря усилиям Г. Дёрфера и его учеников началось монографическое изучение халаджского языка, в результате которого сложилась концепция об особом месте этого языка среди тюркских как языке смешанном, но с большой долей весьма архаичных черт. Среди важнейших публикаций эдесь следует напомнить «Халаджские материалы» (1971) [1], «Словарь халаджского языка: Диалект Харраба» (1980) [2], были также описаны отдельные грамматические категории и фонетические особенности (с. 5-9); см. также [3].

В новой Грамматике используется традиционный подход к толкованию грамматических категорий, в фонетике широко учитываются экспериментальные данные. Между тем следует сказать об особенностях халаджского языка. Это смешанный изык, носители которого проживают среди пранцев или азербайджанцев и являются поэтому би- или трилингвами; их около 17 тысяч и живут они в 48 поселениях. Как говорит автор, речь может идти, фактически, о 48 диалектах (может, точнее говорить, о говорах — ?!). Халаджский язык — практически бесписьменный, и ни один из многочисленных диалектов не претендует на роль ведущего или базового в становлении какой-либо общеязыковой нормы. Наблюдается сложная картина взаимодействия диалектов между собой, а также с каждым из окружающих их другим языком. Естественно, в таких условиях перед автором Грамматики стояла очень трудная задача выделить в непростом конгломерате те явления и факты, которые можно было бы определить как общехаладжские. Однако представляется, что в Грамматике найдено

удачное решение указанных проблем. Г. Дёрфер рассматривает современный халаджский язык как результат длительного и сложного исторического развития языка того типа, который Махмуд Кашгарский в своем «Диване» определяет как «аргу», и автор стремится установить и отождествить признаки, объединяющие (с учетом исторических закономерностей) древний аргу и современный халаджский [4]. Такое соотношение значимо для каждого современного халадж. диалекта, и древнетюркское состояние служит для автора отправной точкой отсчета при анализе процессов в отдельных диалектах. В то же время Г. Дёрфер выявляет закономерности, которые охватывают халадж. язык в целом. Однако это осуществить сложнее, чем в первом случае, здесь в плане диахронии речь должна идти скорее о тенденциях развития, которые не всегда охватывают целиком все халадж. двалекты; в некоторых случаях можно даже фиксировать той или иной степени устойчивости «агрегатные состояния» в эта устойчивость определяется часто географическими или социолингвистическими факторами (особенно в области фонетических соответствий). Таким образом, халадж. язык для автора не абстрактная схема и статичная система, а динамический, весьма подвижный и изменчивый продукт длительного исторического развития. Совокупность диалектных данных, наличие засвидетельствованных в письменных памятниках форм, использование приемов сравнительно-исторического метода позволяют Г. Дёрферу прежде всего в случаях фиксации «устойчивого агрегатного состояния» — ремонструировать прахаладжские формы (Urchaladsch). Его «прахаладжский» локализуется «где-то между аргу XI в. и современным халаджским» (с. 108).

Указанный подход автора и его исторические построения создают общую картину развития языка, а это, в свою очередь, становится тем фоном, на котором выявляются борющиеся тенденции воздействия на халадж. язык как иранской, так и огузской языковой стихии. И здесь результаты контактной конвергенции этих языков весьма показательны. Взять для примера хотя бы послелоги и служебные имена (в терминологии автора — «пространственные имена»). В халадж. язык из персидского языка вошли служебные имена и даже предлоги типа дар «в», ба: «с», аз «из», которые сочетаются без изафета и могут стоять перед персидскими пространственными именами; ср. аз пиш-е шаһр «от города с передней стороны»; в свою очередь, указанные пространственные имена сочетаются с существительными c помощью персидского изафета:  $(\partial ap)$ мийан-е шаһрһа «между городами», оны свободно конкурируют в языке с тюркскими по происхождению послелогами и служебными именами: била = ба: «с», сару = аз барайе ~ аз сабаб-е «из-за», ист = ру: «на, над», орта = мийан, ваcam «в середине», uu = my:,  $\partial axux$  «в, внутри» и др. Интересно, что тараф «сторона, направление» в пространственном значении употребляется с именем в направительном падеже и без притяжательного аффикса — мана тараф бахмиш «посмотрел в мою сторону», но в пассивной конструкции при обозначении агенса имя принимает притяжательный показатель — ..кидан айдиси тарафида... « дается хозяевами невесты...». Эти примеры показывают, что персидский изафет проник в структуру халадж. языка и в сфере служебных имен конкурирует с тюркскими притяжательными конструкциями. редки случаи его использования и для связи тюркских форм. Такая прямая синтаксическая интерференция объясняется, конечно, иранско-тюркским двуязычием халаджей. Однако она проявляется и на других уровнях языка, и автор Грамматики очень чутко относится к подобным фактам языкового влияния, обращая внимание и на влияние на халадж. язык местных азербайджанских говоров, что весьма важно, если вспомнить полемику о месте халадж. языка как отдельного тюркского языка [5]. Не следует забывать, что халадж. язык находится под сильным влиянием не только иранского, но и азербайджанского языка, и многие халаджи владеют тремя языками, хотя в разных ареалах воздействие азербайджанского языка сильно колеблется (скажем, в говоре селения Халтабад азербайджанских слов больше, чем в других местах).

Вообще огузское воздействие на ха ладж. язык Г. Дёрфер исследует особенис тщательно, что определяется историей формирования этого языка. Автор на основе исторических сведений и оценки ряда языковых признаков приходит к выводу, что аргу были тюркизированнымж согдийцами и их язык уже в XI в. (по данным Махмуда Кашгарского) четко отделился от других тюркских языков. Однако аргу имели тесные древние контакты с огузами, и огузское языковое влияние явно прослеживается и в дальнейшей истории халадж. языка. в фонетическом разделе Грамматики (гл. З «Вокализм», с. 10-40; гл. 4 «Консонавтизм», с. 41—66), так и в разделах, посвященных морфологии и синтаксису. Г. Дёрфер последовательно отмечает факты, подтверждающие огузское влияние на этот язык. Так, появление форм аввм. has- «вещать», уіт- вм. іт- «собирать», gayn-nänä 1 вм. gadin-äbä «теща», dämir вм. tämir «железо» и др. автор объясняет огузским влиянием (с. 43), в области морфологии тонким и убедительным примером анализа взаимодействия древнетюркских, древнехаладжских и огузских моделей является показ становления в халадж. языке форм аориста (с. 152—161) и форм императива (с. 184-193). Интересно, что в области вокализма халадж. язык испы~ тал более сильное влияние иранской фонетики, а в отношении консонантизма огузской. Среди огузских по происхождению морфологических форм автор упочислительные количественные doxsan «90» и min «1000» и порядковые на -minji, форму желательности на -mAl(U)G, будущее время на -(y)AjAK, плюсквампертипа -mišdUm и др. (с. Все эти примеры показывают, как сложно формировался морфологический строй халадж. языка, чем и объясняется нередко гетерогенный состав его грамматических парадигм.

Специального упоминания заслуживает приведенный в Грамматике иллюстративный материал. В силу указанных выше свойств халадж. языка каждый из его говоров может оказаться носителем неповторимых особенностей любого яруса, поэтому автор бережно относится к фиксации примеров, обязательно давая ссылку на их источник и локализацию (см. список населенных пунктов, с. 6—8); таким об-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Авторская транскрипция примеров несколько упрощена.

разом, каждый пример в Грамматике документирован. Выборка сделана всех магнитофонных записей, из известных изданемх халаджских текстов, из специальных словарных сводок, из составленной с помощью информанта М. Арабгула грамматики, а также из использованных грамматических вопросников; во всяком случае, автор стремился охватить полностью имеющиеся сейчас источники по халадж. языку. Благодаря этому внимательный и дотощный читатель может составить достаточно полную картину огдельного халаджского говора как стороны его фонетических особенностей, так и морфологических, хотя сам автор ареальную и лингвогеографическую интерпретацию материала относит к следующему этапу изучения языка. В целом избранная в Грамматике методика подачи материала и его иллюстративное использование заслуживают всяческого одобрения: любое языковое явление подтверждается всегда рядом репрезентативных примеров. Ценно также и то, что тасто даются и социолиштвистические сведения; например условия употреблеяня тех или иных форм, их звучание в зависимости от темпа речи, релевантпость форм в условиях билингвизма и диглоссии и пр.

Фонотический раздел Грамматики включает характеристику фонем халадж. языка, их позиционных вариантов и фонетических явлений в потоке речи. Г. Дерфер применяет очень точную фонетическую транскрищию, фиксирующую, например, постоянно 3-5 (до 6) вариантов гласных фонем и 1-2 согласных (при необходимости). Следует заметить, что, поскольку отдельные стороны халадж. фонетики были детально проработаны предшествующих публикациях, автор в Грамматике ограничивается, как правило, приведением лишь дополнительных аргументов (то же и в морфологическом разделе). Как знают тюркологи, большую полемику вызвало установление тройственной количественной градации гласных в халадж. языке: краткие, полудолгие я долгие [6, 7]. Г. Дёрфор подтверждает свою точку эрения о фонологической значимости указанного противопоставления, проявляющегося в тех же самых позициях. К тому же халаджское распределенио статистически соответствует реконструируемым отношениям у Махмуда Кашгарского и в караханидских памятниках (прежде всего относительно полудолгих), и, следовательно, оно не является уникальтюркских языках (с. 11-12). Оппозиция краткий: полудолгий проявляет себя и качественно: крагкие в диалектах реализуются чащо как открытые, а полудолгие — как более закрытые. Как показывают монгольские соотвег-

ствия, краткие гласные выступали в закрытых слогах (халадж. hal - монг. письм. ауtа «конь»), а полудолгие открытых (халадж. sa t- < \*sata- «покупать»). Краткие в халадж. в других языках способствуют геминации согласных в структурах CVC; ср.: äkki «2», hottus «30», saqqal «борода», hissi-g «горячий». Однако, по мнению Г. Дёрфера, тройственная оппозиция, являя собой переходный этан развития тюркского вокализма (а халадж. язык сохранил арханчные черты), не была свойственна древнетюркскому языку (пратюркскому — ?): знал бинарную оппозицию по длительносги. В современном халадж. языке система оппозиций находится в состоянии распада, о чем говорят колебания ее по ареалам, ее неустойчивость даже в речи одного информанта (влияет даже теми речи) ж другие признаки, т. е. здесь этот язык повторяет путь других тюркских языков. Однако сам факт существования полудолгих не безразличен для исторической фонстики: ок позволяет выявить в пратюркском в структуре слова открытые слоги.

Система гласных фонем в халадж. языке представлена 7 членами:  $a/\ddot{a}$ ,  $o/\ddot{a}$ ,  $u/\ddot{u}$ , (i)/i, которые, как видно, могут выступать количественных проявлениях, следовательно, гласные фонемы (в тех говорах, где это фиксируется) в реальной презентации образуют более сложную систему (подсистему). Фонема ї в своем развитии приблизилась в своей реализации к фонеме і (возможно, под иранским влиянием), хотя наличие ее в системе др.-халадж. языка четко доказывается вокализацией присоединяемых аффиксов (с. 11, 16-17, 20). Конкретные особенности речевых проявлений указанных фонем, характеристика аллофонов даются автором в соответствующих разделах, причем исходным всегда принимается тюркская или древнехаладжская реконструкция. Тем самым видна историческая судьба того или иного гласного в конкретном тюркском слове при его отражении в халаджском. В целом данные процессы заслуживают специального анализа

Гласные непервых слогов Г. Дёрфер рассматривает как сингармонические альтернангы одной фонемы: -А- представлена вариантами -a- и -ä-, -O- -- -o-/-5-, но фактически в халадж. языке здесь произошло развитие -O->-U- (= u/u-) Следовательно, в языке в непервых слогах реализуются только три фонемы A/, U/, i/В Грамматике описывают:я также спепифические особенности проявления гласных в непервых слогах; например, чередование гласных в исходе слова (-i > > -u/-ü, отражение в этой позиции древнего -о и др.), различные типы ассимиляцин, гласные рядом с -г и -3, элизия и пр. Халаджский консонавтизм в целом общетюркского типа и весьм: близок древнетюркскому (руническому): в начале слов глухие согласные, хоти возможно облим т, п- выступает только в па «что», однако в условиях внешнего сандхи возможно озвончение, равно как и в попавших под огузское влияние говорах или в огузских заимствованиях типа tam >

> dam «крыша», tämir> dämir «железо». Специфической особенностью халадж. языка является сохранение в тюркских словах начального фарингального л-, который Г. Дёрфер считает этимологическим (он восходит к • p-); ср. оппозиции «с вокалическим анлаутом: has- «вешать»: .as «внизу», häk- «сеять»: äk «нить», hulu-«тошнить»: ulu- «выть». Первичность лподтверждают внутритюркские системные факты (особенности рунической и древнеуйгурской орфографии), сопоставления с заимствованиями в других алтай-«СКИХ ЯЗЫКАХ, СООТВЕТСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ · языках (сообенно в кабульско-афшарском); признание этого факта также вызывало «большую полемику среди тюркологов, в разных разделах Грамматики Г. Дёрфер приводит дополнительную аргументацию своих положений. Автор прослеживает последовательно отражение начальных др.-халаджских согласных (отталкиваясь от общетюркского состояния) в отдельных диалектах халадж. языка. Как уже указывалось, задача автора отделить соб-·ственно халаджское отражение, выявить его на фоне иранских и огузских влияний; представляется, что это сделать удается, • в то же время мы видим широкий спектр реальных репрезентаций согласных в языковых ареалах. Подробно в Грамматике показаны реализации звуков в ина ауслауте. Здесь интересна судьба интервокальных -t-, -d- и -б-. Др.-тюрк. -f- остается неизменным: a: tum «мое имя», др.-тюрк.  $-\delta$ ->-d-: be dik «большой», boda- «красить», hadur- «разделять», yidu-«Пахнуть», хотя в некоторых случаях возможна и реализация -6-: beбük «большой», boδi «его тело». Интервокальное -q-, как правило, сохраняется, возможны переходы  $-x-\sim -\gamma$ -; картину конкретного поведения в отдельных говорах отражает таблица (с. 49—50). Интересны отражения согласных в ауслауте (с. 55-58).

Среди комбинаторных явлений описываются случаи ассимиляции, диссимиляции, метатезы и падения согласных фонем, все эти процессы очень важны для понимания путей сложения тех или иных морфологических форм в халадж. языке ср.: tolyannarti «он бродял», billämis « bilur-ärmis «он энал».

Морфологическая часть Грамматики представлена в двух больших разделах—«Имя» (с. 67—116) и «Глагол» (с. 117—204). Словообразование дается в минимальном

объеме, часто при пояснении производной словоформы.

В раздел «Имя» включено описание имеж (c. 68-99),существительных (с. 100-103), местоимений (с. 103-109), прилагательных (с. 109—110) и числительных (с. 111—116), здесь охвачены все из грамматические категории. В халадж. языке сохраняется в целом тюркская грамматическая система и общетюркскиз показатели, однако в нее основательно вторгаются и иранские грамматические элементы, которые, конкурируя с тюркскими, образуют как бы синонимичный грамматический ряд. Вообще приведенны**е** в Грамматике данные предлагают очевь своеобразный и интересный материал по проблемам межъязыковой интерференции в области грамматики, и этим следовало бы заняться специально, как, впрочем, и применительно к тюркским языкам нашей страны. Так, в выражении экватива участвуют восходящие к иранским по-«способ, вяд», va:ra казатели гадат «как», towr «вид», хотя есть и тюрк.  $t\ddot{a}kin < \text{др.-тюрк.}$   $t\ddot{a}g + ki(n)$ ; а у местоимений сохраняется тюрк. näččä «сколько», inay-ča «Tak».

В падежной системе обращает на себя внимание исходный падеж, представленный -da (как в руническом) и -dan (диа-лектный вариант), и местный падеж на -сб (сопоставим с древним эквативом), есть инструментальный падеж на -lA(n), все формы сильно варьируют по говорам.

В системе принадлежности также интересны ее репрезентанты в диалектах; например, во 2 л. ед. числа отмечены варианты -i:, -iy, -i:, -üy, -i:n, которые можно возвести к двум формам — • Uy м -UG, последняя известна в древнетюркских памятниках. Весьма разнообразны проявления падежных показателей в посессивном склонении (ср. аккузатив, гентив), каждый раз автор предлагает реконструкцию форманта.

В халадж. языке своеобразна система местоимений, отражающая особенности их фонетического развития от древнетюркского состояния по говорам. Числительные испытали сильное иранское влияние, сохранившиеся тюркские формы демонстрируют большое разнообразие (среди них нередки архаичные образования); так, порядковые числительные по диалектам имеют 12 способов образования.

Г. Дёрфер различает «глагольные имена» и «глагольные предикаты», последние представлены финитными глаголами (возможны и именные предикаты). Глагольные имена включают субстантивные, адвербиальные (деепричастные) и адъективные формы; все они сохраняют глагольное управление. Соответственно этому делению идет рассмотрение форм глагола в разделе «Глагол». Однако сначала рассматриваются общеглагольные категории: днатезы (залоги) (с. 117—121), возможность в языке фактически представлена как формой глагола bil- «знать» в аналитической конструкции — kāli-bil-mām «я не могу придти» (с. 122—123) и отрицание (-ma-) (с. 123—124).

В халадж. языке фиксируются глагольиме имена на -GU, -mA, -mAK, -Um(редкое архаичное образование — bi: suv ičümdä soy «после глотка воды»), -dUk,  $extstyle ag{GUlUk}$ , как видно, эти формы почти совпадают с древнетюркскими, они часто в сочетании с падежами выступают в качестве глагольных актантов и зависимых предикатов в развернутых предложениях. Деепричастные формы функционально не отличаются от общетюркских, их показатели — -a...-a, -Gali,  $-x\ddot{a}n$ , -di/-dUи деепричастие с нуль-показателем (т. е. формально совпадает с 2 л. ед. ч. императива). Интересно деепричастие на -di, и автор предлагает несколько этимологий аффикса, сюда можно бы еще привлечь тофаларский и хакасский языки, в которых афф.-дА/-ды образует «адвербы» от глаголов и считается продуктивным [8, 9]. Что касается В-аффикса, то возможны, конечно, фонетические причины, связанные с исходом слова (ср. падение в тофаларском или тувинском), но и не исключены исторические основания — основа глагола выступала как самостоятельная морфологическая единица [10, 11].

Адъективные формы представлены в халадж. языке следующими формантами: -dUK, -An, -AKan, -AGan, -Gili (<др.-тюрк. -XGli), -GUlUK, -GUči, -Gur, -mAlU, -mAlUG, -miš; здесь виден смешанный их характер и сосуществование как архаичных, так и новых образований.

Описание предикативных форм (финитных) (с. 146—204) включает временные формы (аорист на -Vr, презенс с вспомогательными глаголами типа «стоять», «ходить», претерит на -di, перфект на -mis, будущее на -A/AK и ряд аналитических форм с ärti, ämis), формы с модальным значением [условные на -sa, необходимости на -mAlU (G) и намерения на -GA]. Здесь же характеризуются формы связки при именном сказуемом (они восходят к формам глагола är- «быть»; turв халадж. не проник) и предикативы (связки существования) va:r и yo:k.

В халадж. языке своеобразна парадигма императива, которая включает 10 типов образования 2 л. ед. числа (в зависимости от семантического класса глагола, исхода его основы или слоговой
структуры) и ряд модификаций по личвым окончаниям в других лицах. Эти 10
типов характеризуются неизвестными в
других тюркских языках показателями,
возникающими часто в результате стя-

жения аналитических форм с участием вспомогательных глаголов или модальных частиц (ср. интересные якутские императивы): ve:r-i «дай!», bākt-i:r «закрой!», qa:l-up «останься!», yet-üv «уноси!», tula:r «располагайся!», yä-kä «приходи!» и пр. Характерно, что прохибитив здесь имеет обычную тюркскую форму с -ma-и ничем не отличается от других языков.

Следующий раздел Грамматики «Синтаксис предложения» (с. 205-245) посвящен функциональному использованию морфологических форм. Вначале описываются времена в контексте «рассказа» (с. 205-227), здесь особенно интересно функциональное распределение времен в связи с влиянием иранской темпоральной системы, через которую, однако, дают себя знать тюркские оппозиции. Сам способ анализа навеен работой Л. Юхансона [12], и времена рассматриваются в условиях темпоральной локализованности действия, их транспозиций; учитываются также и аспектуальные признаки (длигельность, точечность, фактичность и др.), и жанровое распределение текстов, принадлежность к функциональным стилям. Такое описание, проверенное на литературном турецком языке, впервые приложено к языку диалектно пестрому, ненормированному [13] 2, результаты большой текстовой выборки представлены статистически.

Вторая часть раздела отведена характеристике типов предложения, прежде всего «придаточных», выраженных именными предикативными формами, а также и финитными (предложения причины, следствия, условия и пр.). Здесь же описаны принципы согласования субъекта и предиката, порядок слов, связи между предложениями, эллипсис и др.

Грамматика кончается кратким заключением (с. 246—248) и перечнем проблем для последующего изучения халаджского языка (всего — 41); в конце приложен индекс морфологических показателей

(c. 253—258).

Как видно, Грамматика действительно охватывает все ярусы языка, представленный и проинтерпретированный в ней материал — большое достижение современной тюркологии и великая заслуга ученого, ее автора, вновь продемонстрировавшего высочайшую свою квалификацию.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> В этой работе, построенной на разнообразном диалектном материале татарского языка, дается ареальное системносинхронное описание категорий глагола, но их функциональный аспект не получает здесь четкого анализа.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

t. Doerfer G. Khalaj materials. Bloomington, 1971 (=Uralic and Atlaic Series. V. 115).

2. Doerfer G., Tezcan S. Wörterbuch des Chaladsch: Dialekt von Xarrab. Bp., 1980 (=Bibl. Orientalis Hungarica. XXVI).

3. Laude-Cirtautas I. Schriftenverzeichnis G. Doerfer // CAJ. 1985. V. 29. № 1-2. 4. Дёрфер Г. Махмуд Кашгари: аргу, халадж // СТ. 1987. № 1.

5. Дёрфер Г. Является ли халаджский язык диалектом азербайджанского? // CT. 1974. № 1.

в. Дёрфер Г. О трех количественных градациях гласных в тюркских языках // CT. 1976. № 4.

7. Дёрфер Г. O количественной градации

гласных в халаджском языке // СТ **1987**. № 5.

8. Рассадин В. И. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. М., 1978. С. 249--250.

9. Грамматика хакасского языка. М., 1975. C. 108.

10. Кормушин И. В. Система времен глагола в алтайских языках. М., 1984.

11. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Морфология. M., 1988. C. 410.

12. Johanson L. Aspekt im Türkischen.

Uppsala, 1971.

13. Юсупов Ф. Ю. Изучение татарского глагола. Казань, 1986. С. 287.

Насилов Д. М.

Typology of resultative constructions / Ed. by Nedjalkov V. P. English transled. by Comrie B. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins publishing company, 1988. XX + 573 p. (Typological studies in language. 12.)

В продолжающейся серии «Typological studies in language» вышел в свет неревод одной из наиболее значительных работ Ленинградской типологической школы -коллективной монографии «Типология результативных конструкций» [1]. К сожалению, языковой барьер не дает возможности многим зарубежным лингвистам, и в том числе типологам, следить за работой своих советских коллег. Отдельные статьи наших исследователей. опубликованные по-английски, фрагментарны и недостаточно информативны. Поэтому очень важно, что в переводе появилась одна из наших лучших книг по лингвистической типологии, последовательно и полно излагающая целую концепцию и насыщенная разнообразным нзыковым материалом. В предисловии к англоязычному изданию редактор мопографии В. П. Недялков выражает надежду, что оно будет способствовать сближению и лучшему взаимопониманию зацадных и советских лингвистов (с. XIII).

По сравнению с первым издапием, охватывающим 20 языков, монография пополнилась главами о результативе в алеутском (Е. В. Головко), эве (В. П. Литвинов, К. Агбоджо), догон (В. А. Плунгян) и тонганском (М. С. Полинская) языках. Главы, посвященные эскимосскому (Н. В. Вахтин), монгольскому (Г. С. Дугарова, Н. С. Яхонтова), узбекскому (Д. М. Насилов), индонезийскому (Агус Салим, А. К. Оглоблин, В. П. Недялков), норвежскому (В. П. Берков), литовском ч (Э. Ш. Генюшене, В. П. Недялков), армянскому (Н. А. Козинцева) и русскому (Ю. П. Князев) языкам, были полностью или частично переработаны, некоторые снабжены дополнительным материалом. Добавлены две теоретические главы, посвященные классификации результативов (С. Е. Яхонтов) и обзору полученных в монографии результатов (И. Ш. Козинский). Фактически речь идет не о новом издании, а о новой книге, увеличившейся почти на треть по сравнению со своим прототипом. В «Вопросах языкознания» была опубликована рецензия на первое издание [2], поэтому мы позволим себе несколько большее внимание уделить тому, что впервые появилось в англоязычной версии.

Основы теории результативных констружций, разработанной В. П. Недялковым и С. Е. Яхонтовым, были заложены еще в статьях А. А. Холодовича, В. П. Недялкова и Г. А. Отаиной [3, 4] и включают следующие основные положения. Результативом называется форма, имеющая значение состояния, регулярно образуемая от глаголов со значением действия Различаются собстили процесса. венно результативы, обозначающие состояние предмета, которое предполагает предшествующее действие, и стативы — формы, образованные от глаголов действия, но обозначающие только состояния (например, Деревня окружена ле

сом, откуда не следует: Лес окружил деревию). Ср. следующие предложения с акциональными глаголами совершендого вида и соответствующие им резульгативные конструкции: Рана воспалилась — Рана воспалена; Он открыл дверь— Дверь открыта. Оппозиция результативной и нерезультативной форм в различных языках выражает такие характерные типы противопоставленных значевий, как «сел» и «сидит», «надел шляпу» и «в шляпе», «повесил» и «висит», «схватил» и «держит». Результативы образуются обычно только от предельных глаголов, т. е. от таких, которые обозначают переход из одного состояния в другое или приобретение качества. Переводчик выбрал здесь удачный эквивалент — «terminalive», избегая привычного «telic», который в аспектологии имеет несколько иное значение [5].

По соответствию между субъектом состояния, и актантами предшествующего действия различается два основных диатезных типа результатива: субъектный (субъект состояния соответствует субъекту действия: Он простудился -- Он простужен) и объектный (субъект состояния соответствует объекту, например, Палку сломали — Палка сломана). Если субъектный результатив образуется от переходного глагола, объект чаще всего обозначает часть субъекта, нечто ему близкое или принадлежащее; такой результатив называется посессивным (например, русск. диал. Он надевши шапку, чему в литературном языке по смыслу может соответствовать лишь конъюнкция двух предложений: Он надел шапку и Он s manke).

В. П. Недялков и С. Е. Яхонгов выделили основные отличия результатива от перфекта. Последствия действия, обозначаемого перфектом, имеют очень общий характер и, в отличие от результатива, не обязательно привязаны к конкретному предмету или лицу. Далее, различие перфекта и результатива просматривается в сочетаемостных признаках большого числа языковых единиц. Так, форма перфекта может быть образована от всех глаголов, а результатив образуется с ограничениями. Обстоятельства со значением длительности (в течение двух часов, весь день) при нерфекте обозначают длительность действия, при результативе — длительность состояния; по-разному ведут себя при перфекте и результативе также обстоятельства момента (в семь часов) и обстоятельства

Отметим, впрочем, что без тщательной лексикографической разработки слов с временным значением аргументация, использующая поведение обстоятельств времени, неизбежно выглядит схематичной

и предварительной. На наш взгляд, здесь было бы нелишним решение нескольких вспомогательных задач. Во-первых, при чтении монографии ошущается отсутствие единой семантической классификации обстоятельств времени. Во-вторых, можно было бы дать хотя бы грубые и приблизительные толкования основных диагностических значений временных обстоятельств; иначе при изучении результативов во многих языках работа с этими обстоятельствами осложинется обилием дополнигельных значений; ср. в цезском языке наречие žin (≈«в момент времени Т2 Р имеет место, и в момент времени  $T_1 < T_2$  Р имеет место»), которов с обозначениями состояния переводится как «все еще», а с обозначениями действий и процессов — «еще раз»: žin ql'ida ičis «снова сел» (аорист), но žin ql'ida ičāsi «все еще сидит» (результатив). В-третьих, особой разработки требует проблема изменения сочетаемостных признаков обстоятельств при изменении временной или таксисной форм результатива. Например, в презенсе результатив, по-видимому, всегда относится к актуальному настоящему и может быть легко отделен от нерфекта с номощью кригериев актуального настоящего (несочетаемость с наречиями типа «потом», «только что» и др.); к результативным формам других времен такие критерии в общем случае неприменимы, ср. абхазский посессивный результатив в прошедшем времени wabrəz<sup>0</sup>əçəj'a ajma iš'açanə iman «только-что обувь надевши он-имел» («он только что был в обуви») при невозможности того же наречия в настоящем: \*wabrəz<sup>0</sup>əçəq'a ajma iš'açanə imowP, букв. «только-что обувь надевши он-имеет».

В монографии подробно описаны возможные способы маркирования, лексическое наполнение и семантические типы Различаются KOHKрезультативов. ретно-результативное («сварен», «связан» ит. п.) и общерезультативное («арестован», «уволен») зназрительно воспринимаемое (observable) изрительно не воспринимаемое (о нем см. ниже), обратимое («связан», «развязать») и необратимое состояния («сварен»). Особую группу составляют двухактантные результативы с локативной валентностью, образованные от трехактантных транзитивов: «постлано (на чем)», «воткнуто (где)», «сложено (где)» и т. п.

Семаптическая классификация результативов, на наш взгляд, нуждается в некоторых уточнениях. В соответствии с определением (с. 28), конкретно-результативное значение «...предполагает, что по наблюдаемому состоянию предмета или лица можно судить о приведшем к этому

состоянию действии». Отсюда как будто ледует, что некоторые обратимые значения типа «положен», «зажжен», «развязаны (о шнурках)» не являются конкретно-результативными, т. к. наблюдаемые состояния («лежит», «горит», «не завязаны») не имплицируют соответствующих действий. Однако почти все примеры на общие результативы, приводимые в мовографии, обозначают зрительно не наблюдаемые состояния. Это значит, что введенное разграничение конкретно-результативных и зрительно наблюдаемых значений практически не используется. Определения зрительной наблюдаемости (с. 29) не дается, однако здесь, наверное, следовало бы уточнить, что речь идет о наблюдаемости не самого объекта, а результатов действия «на объекте» (ср. «убит», «одобрен», и т. п.). В целом же в монографии предложена тонкая и глубокая семантическая классификация ре-ЗУЛЬТАТИВОВ.

Вторая часть монографии содержит описания результативов и стативов в конкретных языках. Описания невелики по объему, но благодаря сжатости изложения производит впечатление исчерпывающих, хотя полностью решить задачу, конечно, можно лишь с помощью монографического описания, ср., например [6]. Классификация, положенная в основу

порядка глав в книге, усложнена по сравнению с первым изданием. Учитывается не только наличие результатива и/или статива и совмещенность (совпадение поформе) с пассивом, но и новая классифирезультативов, предложенная С. Е. Яхонтовым. Эта классификация опирается на разграничение форм с общерезультативным значением и конкретнорезультативных или даже более узких по значению (например, обратимых) форм. С. Е. Яхонтов при этом объединяет конкретно-результативное значение со зрительно наблюдаемым результатом (о трудностях их разграничения см. выше). Результативные формы, построенные на основе перфективных причастий со связкой, почти всегда могут иметь общерезультативное значение; объектные результативы этого типа часто совпадают с пассивом (русский, английский, армянский, хинди). Напротив, у собственно результативных маркеров (китайский, монгольский, чукотский) преобладает конкретнорезультативное и даже еще более узкое значение. При наложении этого признака на формальную классификацию, которая опирается на тип диатезы, получаем восемь классов языков, из которых реально засвидетельствовано семь (с. 105; каждый язык охарактеризован в соответствии с признаками своих результативов):

	I Конкретно-резуль- тативный	II Общерезультативный
Общая форма для субъектного и объектного результатива	Китайский	Немецкий
Различные формы субъектного и объектного результатива	Алеутский	Литовский
Только объектный результатив	Эскимосский	Русский
Только субъектный результатив	Догон	3

Классификация С. Е. Яхонтова, на наш взгляд, может быть детализирована и дополнена следующим образом. В язымах с результативами II типа каждая отпричастная форма употребляется, как правило, лишь в част и результативных диатез, наследуя при этом залоговые характеристики причастий (грузинский, литовский, арабский, финский, по нашим данным — бежтинский, исключешие — армянский; для I (конкретно-результативного) типа, наоборот, характерно, что одна результативная морфема выступает во всех диатезах: ср. -чжэ

в китайском, -үмта (с фонетическими вариантами) в нивхском, -тва- в чукотском, -ча/чэ/чо- в эвенкийском, -āsi — по нашим данным — в цезском языке: surat biX-āsi «картина висит, повешена» (объектный результатив), uži ql'ida ičāsi «мальчик сидит, севший» (субъектный результатив), užā šapka er-āsi «мальчик шапку надевши» (посессивный результатив). Эти корреляции объясияются диахронически достаточно очевидным образом: общие результативы обычно пронисходят из причастий совершенного вида в предикативном употреблении и могут

длительное время сохранять присущие им свойства — способность образовываться от большинства глаголов, закрепленность за одной определенной диатезой, возможность атрибутивного употребления. Интересно, что при распространении причастного аффикса на все диатезы (т.е. при переходе результатива И типа в результатив И типа) в «новых» для него диатезах он обычно утрачивает атрибутивную функцию, ср. русск. диал. У него уехано «Он уехан» при невозможности фуеханый (с. 404).

И. Ш. Козинский в гл. XXVIII ставит ряд важных проблем теории результативов и предлагает возможные решения некоторых из них. Ему, на наш взгляд, удалось убедительно продемонстрировать важнейшее отличие перфекта от результатива: результатив предполагает наличие тривиального результата действия, т. е. такого, который неотделим от лексического значения соответствующего глагола, в то время как перфект предполагает наличие любого результата этого действия (с. 500). Труднее, однако, согласиться с И. Ш. Козинским, когда он выдвигает гипотезу о независимости двух параметров, отличающих реаультатив от перфекта: «наличие/отсутствие тривиального результата» и «действие vs. состояние»; значение последнего параметра определяется из сочетаемости с обстоятельствами времени. Возникает два вопроса: 1) может ли форма с типичвым для перфекта обозначением нетривиального результата действия обозначать состояние (т. е. сочетаться с обстоятельствами длительности типа все еще)?; 2) может ли быть акциональной (т. е. сочетающейся с соответствующими обстоятельствами времени) форма, предполагающая тривиальный результат?

На наш взгляд, отсутствуют надежные примеры как первого, так и второго типа. Что касается первого случая, то наличие обстоятельств длительности и форм континуалиса, по имеющимся данным, автоматически превращает перфект в типичный результатив с «тривиальным» результатом. Так, форма перфекта в тонганском языке, будучи континуальной, т. е. включающей показатель длительности результирующего состояния, по данным М. С. Полинской (с. 300), превращается из акциональной в статальную, tō «падать» — mo'u-tō-'a «остаться 'ã упавшим»; «просыпаться» — то' иā-'а «остаться проснувшимся» суффикс перфекта, mo'u- — префикс дуратива). В связи со вторым вопросом И. Ш. Козинский приводит пример: Этот мост построен до войны, где обязательность тривиального результата (существование моста в момент речи) совмещается с типично акциональным употреб-

лением обстоятельства времени. Однако В. П. Недялков, по-видимому, правильно оценивает такие примеры не как обозначение времени действия, свойственное перфекту, а как качественную характеристику субъекта состояния (с. 54 и там же аналогичные примеры из немецкого языка). Ср. с этим русск. РМузей открыт в два часа, сомнительное по крайней мере в результативном истолковании и Музей открыт в 1970 г., что допустимо, т. к. акциональное обстоятельство обозначает в данном случае постоянную характеристику субъекта. Отметим здесь и возможность употребления акциональных наречий мгновенного действия с несовмещенным (т. е. «заведомым») результативом: польск. W jednej sekundzie kartka byla podarta «В одну секунду записка была разорвана» (с. 367), нем. Іт Nu war auch der alte Hanfstengel niedergeschlagen «[В] одно мгновение и старый Ханфштенгель [был] сбит с ног» (с. 423).

И. III. Козинский рассматривает далее иерархию образования результативов: двухместные локативные > одноместные обратимые > необратимые наблюдаемые > ненаблюдаемые состояния. Если в языки имеется один ий перечисленных здесь классов результативой, то в нем есть и все классы, лежащие влево от него на этой иерархии. Предпочтение обратимых результативов автор объясняет их более важной текстовой функцией: обратимые состояния и их субъекты участвуют в большем количестве внутритекстовых связей. Предпочтение «наблюдаемых» результативов автор считает в об-

щем случае необъяснимым.

На наш взгляд, «наблюдаемый» результатив — лишь разновидность широко распространенного класса грамматических значений, которые содержат указание на то, что говорящий, не будучи свидетелем самого действия, извлек информацию о нем из его результата. Такая граммема может быть в акциональной форме, и тогда информация извлекается либо из тривиального, либо из нетривиального результата действия (сообщения других лиц, умозаключения и т.п.). Сюда относится, в частности, «перфект» в картвельских языках, ср. груз. žer ar dabrunda «еще не вернулся» (аорист) факт засвидетельствован самим говорящим, но žer ar dabrunebula «еще не вернулся» (перфект) — говорящий судит о событин по его любому (в том числе нетривиальному) результату, например, не получив ответа по телефону от человека, возвращение которого ожидается ит. п.; цез. qidoq surat biXi-n «на стену картину повесили» (перфект) — действие имело место в отсутствие говорящего, в он судит по результату, ср. qidoq surat biXi-s «на стену картину повесили» (аорист), действие произошло в присутствии говорящего; сюда же, по-видимому, относится и финитная форма на -miš в тюркских огузских языках и мн. др. Подобная же граммема может быть и в статальной форме, тогда информация о действии может быть извлечена говорящим лишь из тривиального результата, и перед нами конкретный, зрительно наблюдаемый результатив.

Привлекает внимание также разбор некоторых переходных результативов: здесь И. III. Козинский обнаруживает случаи «вдвойне предельных» глаголов, результативная форма от которых обозначает не одно, а два состояния: состояние субъекта и состояние объекта. Ср. в балкарском языке Директор заместителин къмстапом да «Директор уже уволил заместителя» (подразумевается, что не только заместитель уволен в момент речи, но я директор остается без заместителя).

Новый вариант рецензируемой монографии оставляет впечатление необычайной полноты, законченности и продуманности всей работы. Новые части орсанично вошли в монографию; описательные главы полностью согласованы с теоретической частью. Уровень единообразия языковых глав заставляет читателя буквально забыть, что перед ним коллективная монография: кажется, что эти тлавы написаны одним автором. Как Справедливо отмечает редактор перевода Б. Комри, сэта кинга соединяет тщательный анализ данных из широкого круга языков со сложным и тонким теоретическим аппаратом, на основе которого можно выделить наиболее существенные спитаксические и семантические параметры и сформулировать такие обобщения, которые наиболее важны с точки зрения межъязыкового сравнения (с. IX). Перед нами, несомненно, классический образец фундаментальной коллективной работы в области грамматической типологии. В завершение реценвин нам котелось бы указать на некоторые проблемы, требующие дополнительмого изучения.

Отметим один не учтенный в монографии важный критерий акциональности: способность акциональных форм, в отличие от статальных, менить порядок следования событий в зависимости от линейного расположения относительно сочнинтельного союза, ср. немецкие пассивные формы Das Fleisch wurde geschnitten und gebraten «Мясо было нарезано и (потом) зажарено» и Das Fleisch wurde gebraten und geschnitten «Мясо было зажарено и (потом) нарезано» (с обратным следованием действий) и результатившую форму Das Fleisch ist gebraten und geschnitten «Мясо было зажарено и нарезано», в которой последовательность действий в которой последовательность действий

при любом порядке сказуемых не фиксируется и речь идет лишь о двух одновременных состояниях. Интересным представляется также критерий дистрибутивности: множественное число субъектов состояния в результативе предполагает одновременность состояния, а в акциональной форме - одновременность либо разновременность, ср. русск. Окна закрыты и Окна были закрыты (в акциональном значении, возможно, имеется в виду, что они закрывались одно за другим); абхаз. acg°ə j<sub>ə</sub>ħənapək akx'ejt «Кошка двух мышей поймала» (перфект), т. е. одновременно либо в разное время. Ср., однако, посессивный результатив: абхаз. acgos joshenapek jakne jamowp «Кошна двух мышей поймавши имеет» (=держит одновременно).

Показательно, что уже после выхода в свет рецензируемой книги исследование материала изыков, с которыми авторы не работали, подтверждает адекватность предложенных ими синтаксических и семантических классификаций результативов. Можно лишь указать на некоторую неполноту классификации посессивных результативов, связанную с неясностью самого содержания посессивного отношения. Дело в том, что агенс во многих языках тривиальным образом оказывается посессором субъекта результирующего состояния (посессивная связь через предшествующее действие), ср. абхаз. sab adgur ijonə irgəlan imowp «Отец дом Адгура построил» (букв. «построивши имеет», но дом принадлежит Адгуру). Иногда субъект состояния находится в еще более сложных отношениях с агенсом-«посессором», ср. в эвенкийском: Омолги эвикэн-мэ табў дяю ча-ра-н «Мальчнк нгрушку там спрятанной имеет» (держит) (c. 252); абхаз. jara iph<sup>0</sup>əs dd<sup>0</sup>əlcanə di-mowp «Он жену выгнавши имеет» и т. п. Очевидно, в ряде случаев можно говорять о «негативно-посессивном» значенин, например, при глаголах со значеимем утраты, ср. в бежтинском языке: hugi kō'os balaj jeccak' Ra gej «Он нз рукъ кинжал выпустивши имеет» (= выпустил).

Интересно было бы подробно изучить особенности синтаксических статусов в двухактантных результативах (посессивнык и локативных). Так, по нашим данным, грузинский посессивный результатив, описанный в монографии на с. 272, нейтрален в отношении приоритетных статусов субъекта и объекта. В отличие от «пормальных» синтаксически аккузативных конструкций, типичных для языка, здесь и субъект, грузинского и объект могут контролировать сочинительное сокращение, ср. mamas teleponi gamortuli akus da ayar rekaus «Отец телефов выключивши имеет и не звонит» (имеется в виду отец или телефон — не ясно), ср.

обычную конструкцию с аористной формой сказуемого: maman teleponi gamorto da ayar rekavs «Отец телефон выключил и не звонит» (отец, но не •телефон), тде сочинительное сокращение однозначяю контролируется субъектом

При чтении глав монографии, посвященных результативу в тех языках, где он означает лишь зрительно наблюдаемое состояние, можно подметить ряд стратегий, применяемых к глаголам, не удовлетворяющим этому требованию. Во-первых, в некоторых языках от таких глаголов результативная форма просто не образуется (китайский, с. 116-117). Вовторых, может видоизмениться ческое значение глагола, оно «достраивается» так, чтобы имело место наблюдаемое состояние. Так, в алеутском языке значение глагола «уходить» «достраивается» таким образом, чтобы он включал в себя и значение «вернуться»; тогда результатив допустим и имеет значение «пошел и вернулся» (с. 192). В нивхском языке (с. 145) **и** в языке эве (с. 236) используется другой прием: к глаголу «достраивается» признак частичного, неполного действия, направленного на уничтожение объекта: нивх. hы леп uн'- $\gamma$ ыmа- $\partial'$ «Этот хлеб надъеден» (вм. •«съеден», что было бы ненаблюдаемым состоянием); эве El vovo «Запасы кончаются, на нсхоле» (вм. •«кончились»).

В принципе та же стратегия используется и в языке догон в том случае, когда требуется образовать результативную форму от непредельного глагола (ситуация в догон описана в В. А. Плунгяна [7]). Значение глагола усложияется таким образом, что под результирующим состоянием понимается состояние, как бы «накапливающееся» течение действия и наступающее не по завершении его, а начиная с некоторого неопределенного момента; можно согласиться с автором, что это значение уже нельзя считать результативным. Спорадически подобные формы встречаю≒ся н в других нзыках, ср. русск. Он заплакан или apab. huwa makdūdun «Он изможден» от kadda «трудиться» (с. 335). Отличительной особенностью языка догои

является грамматичность этой формы, тот факт, что она образуется от большинства глаголов например *Wo jò b-а wo* «Он бежави; как видно, бежал». Нам кажется, что эксплицитное описание в одном месте всех процессов «достранвания» глагольных значений было бы нелишним в рецензируемой монографии.

Отметим еще три малозначительных неточности: на с. 196 термин «вторичный посессивный результатив» употребляется явно не так, как это принято вначале (с. 25); определение диатезных типов ориентировано лишь на собственно результатив (с. 9), и применение соответствующих терминов к стативу нуждается в комментарии; часто употребляемый в монографии термин «совмещенный результатив» вызывает затруднения при чтении: следовало бы каждый раз оговаривать: «совмещенный с перфектом», совмещенный с пассивом» и т. д.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.

2. Козинский И. Ш. // ВЯ. 1985. № 5. Рец. на кн.: Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.

3. Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.

4. Недялков В. П., Отаина Г. А., Холодович, А. А. Циатезы и залоги в нивконом языке // Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л., 1974.

5. Dahl O. On the definition of the telicatelic (bounded — nonbounded) distinction // Syntax and semantics. 1981. V. 4.

 Litvinov V. P., Nedjalkov V. P. Resultativkonstruktionen im Deutschen // Studien zur deutschen Grammatik. Bd 34. Tübingen, 1988.

7. Плунган В. А. К определению результатива (универсальна ли связь результатива и предельности?) // ВЯ. 1989. № 6.

Тестелец Я.Г.

Ospen И. Паренесис Ефрема Сирина, К истории славянского перевода. Uppsala, 1989. 146 с. (Studia Slavica Upsaliensia. 26)

Рецензируемая книга Ирины Огрен еще одно научное обращение 1 к славянскому переводу сборника поучений Ефрема Сирина (306—373 гг)., известного в науке под названием Паренесис. Причины, обусловившие интерес автора к изученью славянского перевода сочинений Ефрема Сирина, изложены в 1-й гл.— «Славянский Паренесис. Содержание построение сборника». Общепризнанным является мнение, что Ефрем Сирин писал только на сирийском языке. До наших дней сохранилось большое количество поучений Ефрема Сирина, написанных не только на сирийском языке, но и в переводах на греческий и латинский языки.

Славинский перевод поучений Ефрема Сирина в Болгарии существовал на раннем этапе славянской письменности в эпоку царя Симеона (893—927 гг.). Свидетельство этому — найденный в 1845 г. В. И. Григоровичем в Рыльском монастыре глаголический листок, известный в науке под названием Македонский глаголический листок (МГЛ). К настоящему времени найдено восемь листов этого глаголического списка, шесть из них содержат отрывки различных поучений Ефрема Сирина. На основании изучения особенно-Стей языка исследователи датируют время написания исчезнувшей глаголической рукописи XI в.

Для И. Огрен толчком к изучению вопосса о славянском переводе сочинений Сфрема Сирина послужило то обстоятельство, что переводчик славянского з Наренесиса до сих пор не известен. Невыясненным остается и вопрос, представляет ли весь текст Паренесиса с точки зрения перевода одно целое или он был составлен из отдельных, меньших по объему переводов, сделанных разными переводчиками в разное время. Конкретного ответа на эти малоисследованные стороны истории славянского Паренесиса пока нет.

Автор излагает точки эрения на этот сопрос Ив. Гошева, А. Достала и соглащется с мнением, что Рыльские глаговические листки (РГЛ) являются отрывками рукописи, содержащей Паренесис Ефрема Сирина. Ко времени написания этого списка, т. е. к концу X — началу П в., Паренесис выглядел с точки эрещия содержания приблизительно так, как он сохранился до наших дней в поздних описках.

Большое влияние на ход рецензируемой работы оказало издание славянского Паренесиса под ред. Дж. Бойковского [1]. Исходным материалом для исследований И. Огрен послужил список Паренесиса древнерусского извода середины XVI в., который хранится в Институте славянских и балтийских языков Стокгольмского университета (СУ). Исследование значительно расширяется благода ря привлечению данных пяти поздних списков этого перевода 3, которые используются в издании славянского Паренесиса под ред. Дж. Бойковского. Доступный для автора материал охватывает опубликованные три тома этого издания, содержащие 79 поучений Паренесиса 4.

Исследователем тщательно и подробно проводится сравнение содержания и нумерации глав Паренсси: а по поздним рукописям с привлечением РГЛ. По мнению И. Огрен, к... пока не удалось найти полностью идентичный по содержанию и расположению глав греческий список, к которому восходят славянский перевод. И это может быть объяснено тем, что такого списка не существовало и составление, а следовательно, и нумерация глав славянского паренесиса было довольно длительным процессом, проходившим без сверки с греческими рукописями» (с. 43).

По мнению И. Огрен, без ответа остается вопрос, был ли перевод Паренесиса сделан только один раз или существовал и второй, более поздний перевод, сделанный независимо от первого. Сомнению подвергается и установившийся взгляд на время создания протографа перевода. «Есть все основания заключить,— пишет автор,— что отмеченные различия в славянских списках явились результатом позднего влияния греческих рукописей» (с. 44).

• Последние тома издания Дж. Бойковского вышли после завершения рецензируемой книги и не могли быть исполь-

зованы автором.

В Под термином «славянский» автором рецензируемой работы понимается полный перевод Паренесиса, сохранившийся в поэдних списках различных изводов.

Библиографические данные списков Паренесиса даются по книге И. Огрен. Рукопись собрания Погодина, древнерусского извода, № 71а (далее П), Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград; Рукопись собрания Фролова, древнерусского извода, № Ф I 45, XIV в., Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград; рукопись собрания Народной библиотеки, София, сербского извода, № 93, конец XIV — начало XV в. (далее С); рукопись собрания Академии наук Югославии, Загреб, сербского извода, № IIIb 12, середина XIV в. (далее 3); рукопись собрания Народной библиотеки, София, № 151, 1353 г., известна под названием Лесновский Паренесис (далее ЛП).

Во 2-й гл.— «Греческие и латинския тексты творений Ефрема Сприна. Источники славянского перевода» — автор пытается определить взаимоотношения славянского перевода поучений Ефрема Сирина и греческих текстов различных редакций. По мн нию исследователя, «.. вполне возможно выделить один гречсиисок, в котором мы наиболее часто отмечаем вариант, идентичный слав. переводу. Этим греч. списком библиотеки Ватикана является Соdех Vaticanus Graecus 440» (с. 68). В этой же главе рассматриваются причины появления ошибок в славянском переводе.

Достаточно критически подходит автор к исследованию Дж. Бойковского: «Проведенное сравнение данных греч. рукописей и слав. перевода с привлечением данных излания Ассемани показывает полную несостоятельность текстологического анализа слав. перевода Бойковского, который базируется на греч. тексте Ассемани. Заключения касательно испорченности слав. перевода, необоснованных добавлений или пропусков, ошибочного прослав. цереводчиком отдельных чтения греч. слов представляют собой только малообоснованные предположения, которые опровергаются с привлечением греч. текста той редакции, к которой восходит слав. перевод» (с. 72).

В 3-й гл. - «Текстологический анализ славянского перевода Паренесиса. Возможность использования текстов издания Ассемани» — И. Огрен сосредоточивается на определении текстологической близости как славянского перевода в целом, так и отдельных поздних списков к греческим и латинским текстам Ефрема Сирина издания Ассемани, что позволяет выделить количество и типы текстологических разночтений, зависящие от отличной редакции греческого текста, а также позволит определить действительную роль латинского текста в дальнейшей работе. Кроме того, внимание автора сосредоточено на определении текстологической близости поздних славянских списков между собой в различных частях перевода, выяснении возможной поздней редакционной правки текста отдельных рукописей по греческим спискам различных редакций. Для текстологического анализа привлекаются отрывки текста РГЛ.

Проведенный анализ различных частей славянского перевода Паренесиса с привлечением греческих и латинских текстов издания Ассемани [2] позволил автору сделать следующие выводы. В отличие от греческого текста, который очевидно, последовательно отражает более позданою редакцию сочинений Ефрема Сирина, латинский текст в некоторых произведениях имеет более древнюю редакцию текс-

та. Степень близости славянского и латинского переводов оказывается различной в различных произведениях. И только последовательный анализ позволит выпелить эти части.

По мнению исследователя, «... единогласные (совпадающие при текстологическом сопоставлении.— В. Л.) данные шести поздних славянских списков отражают вариант перевода, очень близкий к его протографу» (с. 104).

Причипу непоследовательного и варымрующегося отношения как в пределах каждого славянского списка, так и в их отношении между себой исследователь видит в том, что идентичных по содержанию и построению греческих списков имкогда не существовало. Отсутствие таких греческих рукописей исключает возможность того, что какой-либо славянский список мог быть правлен на протяжении всего текста по одной греческой рукописи определенной редакции. Правка славянского перевода могла быть только частичной, в зависимости от того, какими греческими рукописями располагали правщики текста на определенной территории. Многообразие греческих рукописей, различных как в редакции текста, так и в содержании, определило как степень правки славянских списков, так и те части, которые могли быть подвергнуты этой правке.

Среди поздних списков Паренесиса (ЛП, С и СУ), которые использовались автором на всех этапах проведенного анализа, рукопись ЛП представляется списком наименее редактированным, т. е. рукописью, которая в больших частях перевода может отражать нередактированный перевод, близкий в текстологическом отношении протографу.

В 4-й гл.— «Изменения в текстах славянских рукописей, возникшие без влияния греческого текста. Определение близости отдельных славянских рукописей, — автор останавливается на двух типах изменений в славянских рукописях: изменениях в области синтаксиса и лексики.

Тщательный анализ каждого из шести списков Паренесиса Ефрема Сирина, рукописи СУ в сопоставлении с РГЛ позволил автору прийти к общему выводу: исходный славянский перевод Паренесиса сохранился во всех поздних списках с изменениями. В области синтаксиса наиболее последовательно выделяются различия рукописей в порядке слов отдельных фраз и конструкций, наблюдаются вариации в использовании союза и в сложных союзов, различия в использовании частиц. Лексические изменения отраничиваются заменой близких по значению слов и выражений словообразовательных вариантов.

Паренесис XVI в. древнерусского извода (СУ) — исходный материал рецензируемого исследования, в котором дается подробное описание этой рукописи. Очень ценно, что в научный оборот вводится материал, ранее не известный текстологам, историкам языка древнейшего периода. Надписи на листах рукописи СУ рассказывают об ее истории: рукопись была собственностью Соловецкого монастыря. На л. 2 упоминается имя одного из основателей Соловецкого монастыря — Зосимы, умершего в 1478 г. Зосима был канонизирован собором 1547, и в 1566 г. его мощи были перенесены в соборный храм монастыря. В надписи Зосима называется соловецким чудотворцем. Можно заключить, что запись на листе была сделана после 1547 г. В рукописи 396 л., 50 тетрадей. На доступном исследователю материале проделана большая, кропотливая работа. Обращаясь к научной литературе по данному вопросу, автор достаточно критично ее использует в своем исследовании.

Анализируя материал славянских рукописей в определенной плоскости, И. Огрен одновременно вскрывает целый ряд проблем, которые заслуживают самостоятельного исследования: время создания протографа, перевода поучений Ефрема Сирина; был ли только один перевод или существовал второй, более поздний; влиярукописей на перевод; греческих существование идентичного славянскому переводу греческого списка. Все эти вопросы и есть стимул для исследователей: искать на них максимально правильные

Думается, книга И. Огрен имеет только большую научную ценность. Несомненно, что материалы исследования найдут широкое применение и в преподавательской практике.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bojkovsky G. Paraenesis. Die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Freiburg im Br. Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. 1984. T. XX: 1986. T. XXII (XX, 2); 1987. T. XXIV (XX.

2. Assemani J. S. Sancti Patris nostri Ephraem Syri opera omnia quae extant Graece, Syriace, Latina, in sex tomos

distributa. Rome, 1732-1746.

Владимирова Л. А.

## научная жизнь

## хроникальные заметки

23-26 октября 1990 г. в Ташкенте, в Узбекском педагогическом институте русского языка и литературы состоялась Республиканская научконференция, посвященная 100-летию CO **В Н Д** рождения великого лингвиста Е. Д. Поливанова (1891-1938). Это - первая конференция, посвященная памяти выдающегося языковеда. В ней, помимо ученых из Узбекистана, приняли участие лингвисты и литературоведы из Москвы, нинграда, Киева, Алма-Аты, Бишкека (Фрунзе), Душанбе, Казани, Тамбова, Твери, Воронежа, да, Иваново, Харькова, Чебоксар, Целиногра-Иваново, Ленинабада, Карачаевска, Курган-Тюбе и городов нашей страны. О представительном характере конференции свидетельствует тот факт, что в ее программу был включен 381 доклад, из которых на пленарном заседании и в 11 секциях было заслушано около 120<sup>1</sup>.

Созыв столь широкого научного форума в столице Узбекистана определялся тем обстоятельством, что с этой республикой связан плодотворный период научной и просветительской деятельности

Е. Д. Поливанова.

На конференции был обсужден весьма широкий круг вопросов, которые так или иначе соотносятся с исключительно многообразными научными интересами Е. Д. Поливанова, исследовавшего проблемы мингвистики, поэтики, методики преподавания родного и неродных языков и др.

В данном обзоре не ставится задача полного и всестороннего освещения работы конференции, а предполагается ознакомить читателя с ее основными направлениями и с кратким содержанием некоторых лингвистических докладов.

Большое внимание на конференции было уделено вопросам социолингвистики, как известно, занимающей важное место в научном наследии Е. Д. Поливанова. Его идеи о разнообразви в различ-

<sup>1</sup> Материалы конференции опубликованы, см. [1]. ных языках лексических средств выражения социального статуса коммуникантов легли в основу доклада В. И. Карасика (Москва), посвященного проблемам индексации этого статуса. В. Г. Кузнецов (Москва) остановился на проблемах социолингвистического аспекта отображения действительности в текстах массовой информации, обратив особое внимание на различие между концептуальной и языковой картинами мира. Зависимость терминотворческой деятельности от социальных факторов была показана в докладе Е. С. Анюшкина (Воронеж) «Развисоциолингвистических концепций Е. Д. Поливанова в исследовании терминологии».

Активно обсуждались вопросы сопоставительного и типологического языкознания. Большой интерес, в частности, И. Б. Мошеева вызвал доклад (Душанбе), посвященный проблеме аспектуальности в русском и таджикском языках. Типологическое сопоставление лексики разных языков было предметом анализа в докладах В. Б. Гольдберг (Тамбов), Л. В. Мазуркевич (Киев) и Т. В. Новиковой (Орел). М. Л. Макаров (Тверь) рассмотрел некоторые вопросы построения типологии языкового общения. Особое внимание он уделил иденм Е. Д. Поливанова о необходимости оценочного анализа языка в рамках широкого социально-деятельностного контекста и в его динамической, коммуникативной функции. О важной роли сопоставительных и типологических исследований для решения практических задач преподавания национальных языков республик и русского языка говорилось в докладе С. М. Исаева и Г. Т. Нуркиной (Алма-Ата). Х.Я.Якубова именем (Ташкент) отметила, OTP «C Е. Д. Поливанова связано возникновение сопоставительного изучения русского и узбекского языков», и указала на необходимость проведения дальнейших исследований в этой области.

Доклад М.Ю. Авдониной (Москва) «Экспериментальный сравнительный анализ характера и функций паузы при говорении на родном и иностранном языках» явился итогом сравнительного исследования характеристик реченопорождения и его продукта --текста на французском и русском языках, проведенного в Московском государственном лингвистическом университете. Эксперименты показали, что в «текстах» на иностранном языке совпадают семантический и прагматический планы, которые приводят «к снижению выразительности и воздейственности текста по сравнению с текстом на родном языке». В рамках особо исследования рассматриваются характер и функции паузы в речепорождении и выделяются ее различные функции (пауза эмоциональная, хезитации и др.).

Непосредственно с трудами Е. Д. Поливанова были связаны и прочитанные на конференции доклады по фонетике и фонологии. В докладе А.Б.Кошкарова (Алма-Ата), в частности, содержался анализ работ этого языковеда, в которых исследовались проблемы исторической фонетики японского языка и сравнительной фонетики тибето-китай-А. А. Залевская ских языков. (Тверь) в своем выступлении развивала идеи Е. Д. Поливанова о преломлении фактов языка через индивидуальное сознание его носителя, содержащиеся в таких его работах, как «Лекции по введению в языкознание и общей фонетике», «Субъективный принцип восприятия звуков языка» и др.

Ряд докладов был посвящен проблефразеологии. В.Д. Ушаков (Москва) в докладе «Коранические фразеобразования в сопоставлении с поэтическими и "бытовыми" фразсобразованиями арабского классического языка» отметил, что с именем Е. Д. Поливанова связана постановка вопроса о необходимости выделения фразеологии в самостоятельную лингвистическую дисциплину, которая бы охватывала широкий круг явлений лексико-семантической сочетаемости. В докладе изложены результаты внутринзыкового сопоставительного анализа речевых и языковых фразсобразований различных функциональных разновидностей арабского классического языка. Проведенное автором исследование позволило, в частности, выявить стилистическое своеобразие фразеологии Корана относительно некоранических фразеологических образований и определить ее роль в формировании художественым и идейных характеристик этого литературного памятника. В докладе Н. Е. Б ур о в о й (Иваново) были проанализированы важные для лексикографической практики и в то же время недостаточно разработанные в теории вопросы о «границах» фразеологических единиц, о соотношении словесного окружения и компонентов фразеологизма.

Большое внимание было уделено проблемам методики преподавания языков СССР, которые обсуждались на зассданиях четырех секций (в программу конференции был включен 121 доклад по методике). На специальной секции обсуждались вопросы литературоведения, поэтики и методики преподавания литера

туры.

Е. Д. Поливанов известен не только как выдающийся ученый — специалист по общему языкознанию, но и как востоковед, перу которого принадлежат многие работы по японскому, китайскому, корейскому, малайскому, турецкому в другим восточным языкам. К сожалению, деятельность Е. Д. Поливанова как востоковеда не нашла достаточного отражения на состоявшейся конференции. В этой связи хочется надеяться на то, что востоковедческие изыскания этого лингвиста будут освещены в соответствующих публикациях, обсуждены на тех или иных научных форумах и т. п.

Участники Тапкентской конференции приняли резолюцию, предусматривающую издание собрания сочинений Е. Д. Поливанова и проведение Поливановских чтений в различных городах страны. С целью увековечения памяти Е. Д. Поливанова было предложено присвоить его имя Узбекскому республиканскому педагогическому институту рус-

ского языка и литературы.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Язык и словесность. Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Е. Д. Поливанова (23—26 октября 1990 г.). Ч. I.—III. Ташкент, 1990.

Ушаков В. Д. (Москва)

19—21 марта 1990 г. в Звенигороде (Московская область) проходила Первая всесоюзная конференция по культуре русской речи, организованная отделом культуры речи Института русского языка АН СССР. В работе конференции приняли участие более 80 ученых из разных городов страны.

Конференция во многом носила организационно-установочный характер. Предстояло детально ознакомиться с работой, которая ведется в крупнейших исследовательских центрах страны для повышения речевой культуры говорящих на русском языке, сформулировать новые теоретические и прикладные задачи в условиях резкого повышения интереса к культуре речи в современном русском обществе.

В дискуссиях на пленарных, секционных заседаниях и «круглых столах» обсуждались проблемы нового теоретического обоснования науки о речевой культуре. При этом выступавшие отмечали необходимость тесной взаимосвязи и развития культуры речи как сложившегося комплекса исследовательской проблематики, риторики как возрождаемого учения о красноречии, типологии коммуникативных ситуаций и стилистики как разфункциональной лингвистики, а также поэтики как науки, занимающейся изучением творческой функции языка. Наряду с этим на трех тематических общих и трех секционных заседаниях об-Суждались вопросы орфографии и пунктуации, норм устной речи, лексических и грамматических норм, терминологии и соотношения культуры речи и риторики. Три «круглых стола», организованных на конференции, были посвящены общим вопросам культуры речи, роли культуры речив школе, опыту пропаганды культуры речи в средствах массовой информации.

Пленарное заседание Е. Н. Ширяев (Москва), который отметил необходимость рассмотрения понятия «культура владения родным языком» как важнейшего элемента в содержании понятия культуры в целом и призвал исследователей-теоретиков не забывать о практической работе в области пропаганды и развития культуры речи в обществе. В теоретических исследованиях, по его мнению, наряду с традиционной проблематикой нормативности и правильности речи должно найти место изучение культуры владения функциональными разновидностями речи с использованием опыта, накопленного риторикой.

На пленарное заседание было представлено восемь докладов.

В. П. Григорьев (Москва) говорил о культуре языка и культуре речи,

подчеркивая доминантную роль этического компонента в соотнешении между языком и речью, с одной стороны, и культурой — с другой. Докладчик коснулся проблематики культуры парламентской речи, указал на важность взаимодействия различных мнений и способности выслушать оппонента.

Е. М. В е р е щ а г и н (Москва) остановился на концепции языкового расширения, разработанной А. И. Солженицыным. Языковое расширение осуществляется с помощью совокупности приемов, среди которых — использование лексики, рассматривавшейся как устаревшая, актуализация потенциальных слов (ср. общеязыковое постлать и авторское восмать половицу в пол, пристлать к стене).

В докладе Н. А. Купиной (Свердловск) был продемонстрирован опыт систематизации подходов к культурно-речевой проблематике в современной лингвисти-

ческой науке.

Л. К. Граудина (Москва) указала на необходимость сбалансированного подхода, сочетающего интерес к теории коммуникации и проблемам эффективности общения с пристальным вниманием к традиционной для культуры речи сфере нормы и литературных стандартов, А. С. Герд (Ленинград) обратился к проблемам профессиональных коммуникаций, предложив типологию коммуникативных форм (письменной, устной, человеко-машинной), видов (обще-, межи внутридисциплинарные/отраслевые коммуникации) и конкретных типов их реализации (монографии, статьи, диспуты. патентная документация и т. п.).

И. Г. М и л о с л а в с к и й (Москва) отметил, что не следует сводить культуру речи лишь к ортологии, т. к. при этом упускают из виду содержательный аспект языка. Необходимо уделять внимание в первую очередь воспитанию культуры мышления: часто за безупречными с ортологической точки зрения словесными конструкциями скрывается либо полное отсутствие положительного смысла, либо преднамеренное его затемнение.

Б. С. III в а р ц к о п ф (Москва) акцентировал внимание на понятии «колебания нормы», выделив три существенных момента: органическую связь понятия «колебание» с процессом реализации языковой системы, возникновение новых качеств в процессе функционирования языковой системы и неосознанного, стихийного накопления языковых изменевий, органическую связь колебаний с асимметрией языкового знака (вариантнесть внутриединичную).

Е. Н. Ширяев дал определение культуры речи (культуры владения языком) как такого выбора и организация

языковых средств, которые в конкретной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибслыший эффект в достижении поставлееных коммуникативных задач.

Секционное заседание «Типология коммуникативных ситуаций. Стилистика и культура речи» включало 10 докладов. Китайгородская ква) посвятила выступление культуре парламентской речи, предложив в качестве примера недостатка такой культуры из депутатских выступлений. С. И. Виноградов (Москва) подчеркнул ориентированность коммуникантов и текстов-коммуникатов на структурные нормы, указал на единство нормативного и коммуникативно-прагматического аспектов культуры речи. Т. В. Г убаева (Казань) остановилась на подходах к типологии юридических текстовкоммуникатов. Т. И. Ерофеева (Пермь) представила вниманию слушателей анализ диалога «врач-пациент» остановилась на функционировании некоторых форм диалектного языка и городского просторечия в различных коммуникативных ситуациях. Л. Ю. И ва нов (Москва) предложил способ описания одного из типов коммуникативных ситуаций — научной дискуссии — с опорой на понятийные категории и с выделением особых изменений дискутивного (персонологического, локативного, персуазивного и др.). С. П. Лопушанская (Волгоград) посвятила свое выступление древнерусским традициям культуры публичного выступления, проаналинекоторые положения трактата Георгия Хуровска «Об образех». О. А. Крылова (Орехово-Зуево) предложила разделение текстов на два типа: моноструктурные и полиструктурные в зависимости от соответствия коммуникативного задания отдельных предложений коммуникативному заданию текста. В полиструктурных текстах такое соответствие может отсутствовать. Л. М. Грановская (Баку) рассмотизменение стилистических норм и втором поколениях первом ской эмиграции, сопоставив изменения в «эмигрантском языке» с языковыми процессами в России в 20—30-е годы. Если первое поколение было настроено консервативно и резко выступало против всяческих новаций, то второе, «поколение покаяния и искупления», ориентировалось на новации, порой народируя стилистический консерватизм и языковую строгость «старших». М. П. К о т ю р о-(Пермь) остановилась на соотношении стилистики и культуры научной речи, подчеркнув, что стилистика позволяет построить типологию и дать объяснение

существованию различных типов научных текстов, а культура ориентирована в пер вую очередь на создание новых релевантных научных текстов. Ю. А. Б е л ь ч и к о в (Москва) акцентировал внимание на стабилизирующей роли стилистических норм, отметив, что они, с одной стороны, регламентируют использование вариантных средств литературного языка, а с другой, способствуют «одитературнованию» пополнений из внелитературносферы языка и нормализации индивидуальных образований.

На заседании секции «Нормы устной речи» было прослушано десять докладов, которые по тематике можно разделить на

иять групп.

Первая — доклады, посвященные пронормативной характеристики речи. О.Б.Сиротинина устной (Саратов) показала, что различные виды устной речи (разговорная, научная, публичная) должны различаться характером нормы. То, что типично и допустимо в разговорной речи, не характерно для публичной и научной речи. В свою очередь, и два последних вида имеют между собой не только сходство, но и определенные различия. Е. Н. Голанова (Мосвыступление посвятила свойств публичной лекции, вытекающих монологичности — доминантной рактеристики этого жанра.

Проблемы радио- и телевизионной речв освещены в другой группе докладов Ф. Л. Агеенко (Москва) проанализировала ряд типичных отклонений от традиционных норм, допускаемых диктокомментаторами, журналистами, обозревателями. Отмечая, что в настоящее время значительно расширен круг лиц, допущенных к эфиру, автор выразиобеспокоенность снижением общего культуры владения Л. Н. Кузнецова (Москва) говорила о необходимости предъявлять к произносительной стороне передач радис жесткие требования и предложила анализ передач первой программы Всесоюзного радио с точки зрения произноше-

Сценической речи посвятила доклад Т. А. Рочко (Москва), предложив описание орфоэпических вариантов, участвующих в создании нейтрального произносительного фона, и рассмотрев варианты, которые могут получать стилистическую нагрузку.

Н. Н. Розанова (Москва) затронула проблемы ортологии и предложила развивать в данной области новое направление, исходя из условий произношения не изолированного слова, а слова, включенного в конкретный речевой контекст. В связи с этим были выделены уровни описания произносительных норм:

уровень слова, словосочетания и фразовый (текстовый).

Трудные для нормализаторской работы вопросы, связанные с профессионализмами, принципами их выделения. объемом относящегося сюда языкового материала, рассмотрены в докладе В. Л. Воронцовой (Москва). В докладах С. Н. Боруновой (Москва) осве-С. Н. Дмитренко щены проблемы выбора орфоэпического варианта и орфоэнической адаптации заимствований в русском языке. Подготовке новых нормативных словарей, в частности, словаря «Трудности ударения», уделила внимание О. С. И ссерс

(OMCK). Ряд докладов на совместном заседании секций «Терминология и культура речи» и «Диалектология и культура речи» вызвал заинтересованное внимание и дискуссионные выступления присутствовавших. Сложным проблемам нормы в языке для специальных целей (ЯСЦ) посвятила доклад В. П. Даниленко (Москва). Она выделила и охарактеризовала шесть основных признаков ЯСЦ, которые дают возможность четко определить его функпиональное предназначение, a также специфику нормы данной разновидности литературного национального Л. А. Морозова (Москва) остановилась на проблеме построения определений в жанре документальной терминографии - ГОСТах и предложила считать иерархически организованные дефиниции родо-видовых связей с жестко заданным дефинитивной порядком компонентов нормой. Проблемам нормативной оценки языковых новаций был посвящен доклад Н. В. Новиковой (Москва), в котором вопросы о месте и роли заимствований в современном русском языке были связаны с их оценкой в культурно-нормативном отношении. Докладчица также социально-исторический затронула этический аспекты современной языковой политики. Э. И. Ханпира (Москва) рассказал о процессе подготовки словарясправочника архивиста, в котором должны быть отражены более 4000 названий архивных документов, чинов и учреждений с комментариями и историческими справками. Т. С. Коготкова ква) отметила противопоставленность и постоянное взаимодействие литературнонормализованного языка и диалектов в нормативно-кодификационном аспекте и дала характеристику диахроническим изменениям социолингвистических взглядов на диалектный субстрат. В. Е. Гольдин (Саратов) остановился на анализе культурно-речевой проблематики применительно к диалектам, у носителей которых также имеется представление о соответствии/несоответствии

речи диалектному узусу, типичным для данного диалекта структурным формам реализации. В докладе Н. В. Н о в и нс к о й (Астрахань) внимание было обращено на термины-эпонимы, занимающие обособленное место в системе языка науки.

В связи с проблематикой культуры речв рассматривались вопросы орфографии в пунктуации. В докладе В. Ф. И в а н ов ой (Москва) были очерчены зоны сильного и слабого орфографического варьирования в современном русском языке, определены границы приемлемости/неприемлемости орфографических вариантов. (Москва) представи-Б. З. Букчина ла широкую картину орфографических разночтений в современных норматив-ных словарях, отметив, что изучение разночтений - путь к усовершенствованию действующих правил орфографии. Л. К. Чельцова (Москва) предложила классификацию вопросов по орфографии, поступающих в справочную службу русского языка, отметив, что материал службы дает представление об орфографической культуре общества и определяет некоторые направления работы по усовершенствованию действующих правил орфографии. Б. С. III варцкои ф охарактеризовал два аспекта современной русской пунктуационной нормы: собственно употребление пунктуационного знака в тексте, механизмы членения текста и контекстные коррективы к основным закономерностями реализации пунктуационной системы. Н. С. Валгина (Москва) указала на усиление пунктуационной нерегламентированности в современной практике печати как объективный результат развития русской пунктуации, обслуживающей постоянно изменяющийся русский язык. Акимова (Ленинград) остановилась на характеристике связей современной пунктуационной нормы с функциональными стилями, отметив, что эта связь проявляется прежде всего в использовании книжными формами письменной речи грамматического и, отчасти, смыслового принципов пунктуации. А. Н. Наумович (Минск) охарактеризовала использование приема усиления разделяющего или выделяющего пунктуаолонного знака для конкретизации отнесенности компонентов предложения в ситуации, где возможна двусторонняя смысловая связь с левым и правым центрами подчинения.

Заседание секции «Нормы в лексике и грамматике» открыл И.С. Улуханов (Москва), доклад которого был посвящен анализу севокупности факторов, определяющих норму в грамматике (фонематические, семантические, лексикосистемные, словообразовательные и др. факторы). Е.М. Лазутки на (Мос

ква) выделила три аспекта нормы, релевантные для деятельностного подхода к языку: правила построения «грамматики говорящего», согласно которым каждое употребление рассматривается как «функция-форма-значение»; вопрос о синтаксической и стилистической синонимии: правила в «грамматике В. Й. Виночитателя/слушателя». градова (Москва) остановилась на рассмотрении понятий системы и нормы применительно к словообразованию, показав стилистическую ценность и стилистическую маркированность ряда элемен-TOB словообразовательной системы. М. В. Шульга (Москва) указала на несоответствие некоторых современных нормативных рекомендаций закономерностям исторического развития морфологической системы русского языка. Сообщение Л.И.Игнатьевой (Рига) касалось особенностей вариантности словосочетаний и сложносокращенных слов в условиях латышско-русского двуязычия. Л. П. Калакуцкая (Moсква) на основании анализа нормативной ориентации словарей различных типов показала изменения, происшедшие в языковом сознании общества второй половины ХХв. Н. А. Еськова (Москва), говоря о пометах в нормативном словаре, указала на необходимость создания определенной шкалы нормативности, на необходимость фиксации в нормативном словаре вариантов, свойственных особым сферам функционирования языка. Г. Н. Скляревская (Ленинград) предложила описание функционально-стилистической дифференциации лексики нового академического словаря с точки зрения успешности реализации в словаре кодификаторских задач.

На секционном заседании «Культура речи и риторика» выступили с докла-дами и сообщениями восемь человек. А. П. Сковородников (Красноярск) посвятил свое выступление анализу понятия риторической этики, ее принципов и правил, которые осуществляются или, наоборот, нарушаются на всех основных этанах риторической разработки и реализации текста. В. И. А и и у шкин (Москва) предложил взгляд на риторику как на всеобъемлющую дис-

циплину, которая должна включать в свою сферу классическую стилистику и культуру речи в самом широком понимании. Л. К. Граудина остановилась на бытовании современных форм гражданской (митинговой) и парламентской речи, их особенностях и взаимовлиянии, подчеркнув связь поисков новых средств и форм выражения в указанных разновидностях речи с теми языковыми нормами, которые опираются на запросы развивающегося массового ораторского искусства. Л. Г. Смирнова ленск) рассмотрела лингвистическую организацию устного публичного выступления как необходимое основание эффективвоздействия на ного слушателей. А. Х. Никитина (Иркутск) остановилась на роли и месте синтаксической антиципации в арсенале риторических фигур, определяя ее как отчетливо интонированное синтаксическое единство с выдвинутым в пропозицию дейктическим компонентом, предвосхищающим содержание своего бинарно противопоставленного коррелята. Н. Н. Василькова (Москва) коснулась вопросов терминообразования в риторике, подчеркнув насущную потребность разработки риторической терминосистемы, в которой традиционной терминологии элементы органично сочетались бы с современными номинациями. А. А. Шунейко (Москва) посвятил сообщение связи оценок речи и языковой критики оценок в различных типах речевых ситуаций, подлежащих интерпретации в аспекте культуры речи.

Три заседания «круглого стола», организованные на конференции, были посвящены культуре речи в школе и вузе, культуре речи в массовой коммуникации, а также культуре русской речи в иноязыковом окружении - в разных республиках и регионах страны.

В резолюции конференции отмечена необходимость активизации и углубления исследований по культуре русской речи и определены направления практической работы по повышению речевой

культуры общества.

Иванов Л. Ю., Новикова Н. В. (Москва)

# Технический редактор Беляева Н. Н.

Сдано в набор 28.04.91 Подписано к печати 01.07.91 Формат бумаги 70×1001/14 Офсетная печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 49,9 тыс. Уч.-изд. л. 14,4 Бум. л. 5,0 Тираж 3770 экз. Зак. 1390 Цена 2 р. 30 к.